УИЛЬЯМ
ФОЛКНЕР

Шум и ярость



ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ

АЗБУКА-КЛАССИКА

Шум и ярость
Уильям Фолкнер

Аннотация
Уильям Фолкнер. ШУМ И ЯРОСТЬ
7 апреля 1928 года
2 июня 1910 года
6 апреля 1928 года
8 апреля 1928 года
ПОСЛЕСЛОВИЕ.
«ХОЗЯИН И ВЛАДЕЛЕЦ ЙОКНАПАТОФ»

Аннотация

Уильям Фолкнер — крупнейший американский писатель, получивший в 1949 году Нобелевскую премию "за значительный и с художественной точки зрения уникальный вклад в развитие современного американского романа". Всемирную славу и известность писателю принесли его романы "Свет в августе", "Авессалом, Авессалом!", "Святилище", "Осквернитель праха", трилогия "Деревушка" — "Город" — "Особняк" и, конечно, вошедший в настоящее издание роман "Шум и ярость", роман, который Фолкнер называл самым трудным в своей творческой биографии.

Роман поделен на четыре части — первая, третья и четвертая описывают три дня перед пасхой 1928 г., вторая часть — день из 1910 г.

Первая часть ведется от лица идиота Бенджи, одного из трех братьев, сыновей Джейсона и Кэролайн Компсон. Вторая часть — от лица Квентина Компсона, самого утонченного из трех братьев. Третья часть по контрасту — от лица третьего брата, Джейсона, прагматичного и озлобленного. Четвертую часть

ведет голос автора.

Основная сюжетная линия повествует об увядании одного из старейших и наиболее влиятельных семейств южной Америки — Компсонов. В течение примерно 30 лет, связанных в романе, семья сталкивается с финансовым крахом, теряет уважение в городе, а многие члены семейства трагически заканчивают свою жизнь.

Уильям Фолкнер
ШУМ И ЯРОСТЬ

7 апреля 1928 года

Через забор, в просветы густых завитков, мне было видно, как они бьют. Идут к флажку, и я пошел забором. Ластер ищет в траве под деревом в цвету. Вытащили флажок, бьют. Вставили назад флажок, пошли на гладкое, один ударил, и другой ударил. Пошли дальше, и я пошел. Ластер подошел от дерева, и мы идем вдоль забора, они стали, и мы тоже, и я смотрю через забор, а Ластер в траве ищет.

— Подай клюшки, кэдди[1]! — Ударил. Пошли от нас лугом. Я держусь за забор и смотрю, как уходят.

— Опять занюнил, — говорит Ластер. — Хорош младенец, тридцать три годочка. А я еще в город таскался для тебя за тортом. Кончай вытье. Лучше помоги искать монету, а то как я на артистов пойду вечером.

Они идут по лугу, бьют нечасто. Я иду забором туда, где флажок. Его треплет среди яркой травы и деревьев.

— Пошли, — говорит Ластер. — Мы там уже

---

[1] КОММЕНТАРИИ: 1

Кэдди — мальчик, таскающий за игроками набор клюшек для гольфа.

искали. Они сейчас не придут больше. Идем у ручья поищем, пока прачки не подняли.

Он красный, его треплет среди луга. Подлетела птица косо, села на него. Ластер швырнул. Флажок треплет на яркой траве, на деревьях. Я держусь за забор.

— Кончай шуметь, — говорит Ластер. — Не могу же я вернуть игроков, раз ушли. Замолчи, а то мэмми не устроит тебе именин. Замолчи, а то знаешь что сделаю? Съем весь торт. И свечки съем. Все тридцать три свечки. Пошли спустимся к ручью. Надо найти эту монету. Может, из мячиков каких каких-нибудь подберем. Смотри, где они. Вон там, далеко-далеко. — Подошел к забору, показал рукой: — Видишь? Сюда не придут больше. Идем.

Мы идем забором и подходим к огороду. На заборе огородном наши тени. Моя выше, чем у Ластера. Мы лезем в пролом.

— Стой, — говорит Ластер. — Опять ты за этот гвоздь зацепился. Никак не можешь, чтоб не зацепиться.

Кэдди отцепила меня, мы пролезли. «Дядя Мори велел идти так, чтобы никто нас не видел. Давай пригнемся, — сказала Кэдди. — Пригнись, Бенджи. Вот так, понял?» Мы пригнулись, пошли

через огород, цветами. Они шелестят, шуршат об нас. Земля твердая. Мы перелезли через забор, где хрюкали и дышали свиньи. «Наверно, свиньям жалко ту, что утром закололи», — сказала Кэдди. Земля твердая, в комках и ямках.

«Спрячь-ка руки в карманы, — сказала Кэдди. — Еще пальцы, отморозишь. Бенджи умный, он не хочет обморозиться на рождество».

— На дворе холод, — сказал Верш. — Незачем тебе туда.

— Что это он, — сказала мама.

— Гулять просится, — сказал Верш.

— И с богом, — сказал дядя Мори.

— Слишком холодно, — сказала мама. — Пусть лучше сидит дома. Прекрати, Бенджамин.

— Ничего с ним не случится, — сказал дядя Мори.

— Бенджамин, — сказала мама. — Будешь бякой — отошлю на кухню.

— Мэмми не велела водить его в кухню сегодня, — сказал Верш. — Она говорит, ей и так не управиться со всей этой стряпней.

— Пусть погуляет, — сказал дядя Мори. — Расстроит тебя, сляжешь еще, Кэролайн.

— Я знаю, — сказала мама. — Покарал меня господь ребенком. А за что — для меня загадка.

— Загадка, загадка, — сказал дядя Мори. — Тебе надо поддержать силы. Я тебе пуншу сделаю.

— Пунш меня только больше расстроит, — сказала мама. — Ты же знаешь.

— Пунш тебя подкрепит, — сказал дядя Мори. — Закутай его, братец, хорошенько и погуляйте немного.

Дядя Мори ушел. Верш ушел.

— Замолчи же, — сказала мама. — Оденут, и сейчас тебя отправим. Я не хочу, чтобы ты простудился.

Верш надел мне боты, пальто, мы взяли шапку и пошли. В столовой дядя Мори ставит бутылку в буфет.

— Погуляй с ним полчасика, братец, — сказал дядя Мори. — Только со двора не пускай.

— Слушаю, сэр, — сказал Верш. — Мы его дальше двора никуда не пускаем.

Вышли во двор. Солнце холодное и яркое.

— Ты куда? — говорит Верш. — Ушлый какой — в город, что ли, собрался? — Мы идем, шуршим по листьям. Калитка холодная. — Руки-то спрячь в карманы, — говорит Верш. — Примерзнут к железу, тогда что будешь делать? Как будто в доме нельзя тебе ждать. — Он сует мои руки в карманы. Он шуршит по листьям. Я слышу запах

холода. Калитка холодная.

— На вот орехов лучше. Ух ты, на дерево сиганула. Глянь-ка, Бенджи, — белка!

Руки не слышат калитки совсем, но пахнет ярким холодом.

— Лучше спрячь руки обратно в карманы.

Кэдди идет. Побежала. Сумка мотается, бьет позади.

— Здравствуй, Бенджи, — говорит Кэдди. Открыла калитку, входит, наклонилась. Кэдди пахнет листьями. — Ты встречать меня вышел, да? — говорит она. — Встречать Кэдди? Почему у него руки такие холодные, Верш?

— Я говорил ему: в карманы спрячь, — говорит Верш. — Вцепился в калитку, в железо.

— Ты встречать Кэдди вышел, да? — говорит Кэдди и трет мне руки. — Ну что? Что ты хочешь мне сказать? — От Кэдди пахнет деревьями и как когда она говорит, что вот мы и проснулись.

«Ну что ты воешь, — говорит Ластер. — От ручья их опять будет видно. На. Вот тебе дурман». Дал мне цветок. Мы пошли за забор, к сараю.

— Ну что же, что? — говорит Кэдди. — Что ты хочешь Кэдди рассказать? Они его услали из дому — да, Верш?

— Да его не удержишь, — говорит Верш. — Во-

пил, пока не выпустили, и прямо к воротам: смотреть на дорогу.

— Ну что? — говорит Кэдди. — Ты думал, я приду из школы и сразу будет рождество? Думал, да? А рождество послезавтра. С подарками, Бенджи, с подарками. Ну-ка, бежим домой греться. — Она берет мою руку, и мы бежим, шуршим по ярким листьям. И вверх по ступенькам, из яркого холода в темный. Дядя Мори ставит бутылку в буфет. Он позвал: «Кэдди». Кэдди сказала:

— Веди его к огню, Верш. Иди с Вершем, — сказала Кэдди. — Я сейчас.

Мы пошли к огню. Мама сказала:

— Он замерз, Верш?

— Нет, мэм, — сказал Верш.

— Сними с него пальто и боты, — сказала мама. — Сколько раз тебе велено снимать прежде боты, а потом входить.

— Да, мэм, — сказал Верш. — Стой смирно.

Снял с меня боты, расстегнул пальто. Кэдди сказала:

— Погоди, Верш. Мама, можно, Бенджи еще погуляет? Я его с собой возьму.

— Не стоит его брать, — сказал дядя Мори. — Он уже сегодня нагулялся.

— Не ходите оба никуда, — сказала мама. —

Дилси говорит, что на дворе становится еще холоднее.

— Ах, мама, — сказала Кэдди.

— Пустяки, — сказал дядя Мори. — Весь день сидела в школе, надо же ей подышать свежим воздухом. Беги гуляй, Кэндейси.

— Пусть и он со мной, мама, — сказала Кэдди. — Ну пожалуйста. Иначе он ведь плакать будет.

— А зачем было при нем упоминать о гулянье? — сказала мама. — Зачем тебе надо было входить сюда? Чтобы дать ему повод опять меня терзать? Ты сегодня достаточно была на воздухе. Лучше сядь с ним здесь и поиграйте.

— Пусть погуляют, Кэролайн, — сказал дядя Мори. — Морозец им не повредит. Не забывай, что тебе надо беречь силы.

— Я знаю, — сказала мама. — Никому не понять, как страшат меня праздники. Никому. Эти хлопоты мне не по силам. Как бы я хотела быть крепче здоровьем — ради Джейсона и ради детей.

— Ты старайся не давать им волновать тебя, — сказал дядя Мори. — Ступайте-ка оба, ребятки. Только ненадолго, чтобы мама не волновалась.

— Да, сэр, — сказала Кэдди. — Идем, Бенджи. Гулять идем! — Она застегнула мне пальто, и мы пошли к дверям.

— Значит, ты ведешь малютку во двор без ботиков, — сказала мама. — Полон дом гостей, а ты хочешь его простудить.

— Я забыла, — сказала Кэдди. — Я думала, он в ботах.

Мы вернулись.

— Надо думать, что делаешь, — сказала мама. *Да стой ты смирно,* сказал Верш. Надел мне боты. — Вот не станет меня, и тогда придется тебе о нем заботиться. — *Теперь топни,* сказал Верш. — Подойди поцелуй маму, Бенджамин.

Кэдди подвела меня к маминому креслу, мама обхватила мне лицо руками и прижала к себе.

— Бедный мой малютка, — сказала она. Отпустила. — Вы с Вершем хорошенько смотрите за ним, милая.

— Да, мэм, — сказала Кэдди. Мы вышли. Кэдди сказала: — Можешь не ходить с нами, Верш. Я с ним сама погуляю.

— Ладно, — сказал Верш. — В такой холод выходить не больно интересно. — Он пошел, а мы стали в передней. Кэдди присела, обняла меня, прижалась ярким и холодным лицом к моему. Она пахла деревьями.

— Никакой ты не бедный малютка. Правда, не бедный? У тебя есть Кэдди. У тебя твоя Кэдди.

«Размычался, расслюнявился», говорит Ластер. И не стыдно тебе подымать такой рев". Мы проходим сарай, где шарабан. У него колесо новое.

— Садись и сиди тихо, жди маму, — сказала Дилси. Она подпихнула меня в шарабан. У Ти-Пи в руках вожжи. — Непонятно мне, почему Джейсон не покупает новый, — сказала Дилси. — Дождется, что этот развалится под вами на кусочки. Одни колеса чего стоят.

Вышла мама, вуаль опустила. Держит цветы.

— А где Роскус? — сказала мама.

— Роскуса сегодня разломило, рук не поднять, — сказала Дилси. — Ти-Пи тоже хорошо правит.

— Я боюсь, — сказала мама. — Видит бог, я прошу от вас немногого: раз в неделю мне нужен кучер, и даже этой малости не могу допроситься.

— Вы не хуже меня знаете, мис Кэлайн, что Роскуса скрутило ревматизмом, — сказала Дилси. — Идите садитесь. Ти-Пи не хуже Роскуса вас довезет.

— Я боюсь, — сказала мама. — За малютку боюсь.

Дилси поднялась на крыльцо.

— Хорош малютка, — сказала она. Взяла маму за руку. — Считай, ровесник моему Ти-Пи. Идемте же, когда хотите ехать.

— Я боюсь, — сказала мама. Они сошли с крыльца, и Дилси усадила маму. — Что ж, впрочем, так оно и лучше будет для всех нас.

— И не стыдно вам такое говорить, — сказала Дилси. — Будто не знаете, какая Квини смирная. Чтоб она понесла, нужно пугало пострашней восемнадцатилетнего негра. Да ей больше годочков, чем ему и Бенджи, вместе взятым. А ты не озоруй, Ти-Пи, вези тихо, слышишь? Пусть только мис Кэлайн мне пожалуется, Роскус тобой займется. У него еще не вовсе отнялись руки.

— Да, мэм, — сказал Ти-Пи.

— Добром это не кончится, я знаю, — сказала мама. — Прекрати, Бенджамин.

— Дайте ему цветок, — сказала Дилси. — Он хочет держать цветок.

Протянула руку к цветам.

— Нет, нет, — сказала мама. — Ты их все растреплешь.

— А вы придержите, — сказала Дилси. — Мне только один вытянуть. — Дала цветок мне, и рука ушла.

— Теперь трогайте, пока Квентина не увидела и не захотела тоже с вами, — сказала Дилси.

— Где она? — сказала мама.

— Возле дома у меня там, с Ластером играет, —

сказала Дилси. — Трогай, Ти-Пи. Правь, как учил тебя Роскус.

— Слушаю, мэм, — сказал Ти-Пи. — Н-но, Квини!

— За Квентиной, — сказала мама. — Смотри за…

— Да уж будьте спокойны, — сказала Дилси.

Шарабан трясется аллеей, скрипит по песку.

— Я боюсь оставлять Квентину, — говорит мама. — Лучше вернемся, Ти-Пи.

Выехали за ворота, уже не трясет. Ти-Пи стегнул Квини кнутом.

— Что ты делаешь, Ти-Пи! — сказала мама.

— Надо же ее взбодрить, — сказал Ти-Пи. — Чтоб не спала на ходу.

— Поворачивай обратно, — сказала мама. — Я боюсь за Квентину.

— Здесь не повернешь, — сказал Ти-Пи.

Доехали, где шире.

— А здесь ведь можно, — сказала мама.

— Ладно, — сказал Ти-Пи. Стали поворачивать.

— Что ты делаешь, Ти-Пи! — сказала мама, хватаясь за меня.

— Надо ж как-то повернуть, — сказал Ти-Пи. — Тпру, Квини.

Мы стали.

— Ты нас перевернешь, — сказала мама.

— Так что же вы хотите? — сказал Ти-Пи.

— Не поворачивай, я боюсь, — сказала мама.

— Н-но, Квини, — сказал Ти-Пи. Мы едем дальше.

— Я знаю, Дилси недосмотрит без меня и с Квентиной что-нибудь случится, — сказала мама. — Нам нужно поскорее возвращаться.

— Н-но, Квини, — сказал Ти-Пи. Стегнул Квини.

— Ти-Пи-и-и, — сказала мама, хватаясь за меня. Слышны копыта Квини, и яркие пятна плывут гладко с обоих боков, и тени от них плывут у Квини на спине. Все время плывут, как яркие верхушки у колес. Потом застыли с того бока, где белая тумба с солдатом наверху. А с другого бока все плывут, но не так быстро.

— Что вам угодно, мамаша? — говорит Джейсон. У него руки в карманах и за ухом карандаш.

— Мы едем на кладбище, — говорит мама.

— Пожалуйста, — говорит Джейсон. — Я как будто не препятствую. Это все, зачем вы меня звали?

— Ты не поедешь с нами, я знаю, — говорит мама. — С тобою я бы не так боялась.

— Боялись чего? — говорит Джейсон. — Отец и

Квентин вас не тронут.

Мама прикладывает платок под вуалью.

— Перестаньте, мамаша, — говорит Джейсон. — Вы хотите, чтобы этот остолоп развылся среди площади? Трогай, Ти-Пи.

— Н-но, Квини, — сказал Ти-Пи.

— Покарал меня господь, — сказала мама. — Но скоро и меня не станет.

— Останови-ка, — сказал Джейсон.

— Тпру, — сказал Ти-Пи. Джейсон сказал:

— Дядя Мори просит пятьдесят долларов с вашего счета. Дать?

— Зачем ты меня спрашиваешь? — сказала мама. — Ты хозяин. Я стараюсь не быть обузой для тебя и Дилси. Скоро уж меня не станет, и тогда тебе…

— Трогай, Ти-Пи, — сказал Джейсон.

— Н-но, Квини, — сказал Ти-Пи. Опять поплыли яркие. И с того бока тоже, быстро и гладко, как когда Кэдди говорит, что засыпаем.

«Рева», говорит Ластер. «И не стыдно тебе». Мы проходим сарай. Стойла раскрыты. «Нет у тебя теперь пегой лошадки», говорит Ластер. Пол сухой и пыльный. Крыша провалилась. В косых дырах толкутся желтые пылинки. «Куда пошел? Хочешь, чтоб тебе башку там отшибли

мячом?»

— Спрячь-ка руки в карманы, — говорит Кэдди. — Еще пальцы отморозишь. Бенджи умный, он не хочет обморозиться на рождество.

Идем кругом сарая. В дверях большая корова и маленькая, и слышно — в стойлах переступают Принс, Квини и Фэнси.

— Было бы теплей — прокатились бы на Фэнси, — говорит Кэдди. — Но сегодня нельзя, слишком холодно. — Уже видно ручей, и дым стелется. — Там свинью обсмаливают, — говорит Кэдди. — Обратно пойдем той дорогой, поглядим. — Спускаемся с горы.

— Хочешь — неси письмо, — говорит Кэдди. — На, неси. — Переложила письмо из своего кармана в мой. — Это рождественский сюрприз от дяди Мори. Нам нужно отдать миссис Паттерсон, чтобы никто не видел. Не вынимай только рук из карманов.

Пришли к ручью.

— Ручей замерз, — сказала Кэдди. — Смотри. — Она разбила воду сверху и приложила кусочек мне к лицу. — Лед. Вот как холодно. — За руку перевела меня, мы всходим на гору. — Даже папе и маме не велел говорить. По-моему, знаешь, про что в этом письме? Про подарки маме, и папе,

и мистеру Паттерсону тоже, потому что мистер Паттерсон присылал тебе конфеты. Помнишь, прошлым летом.

Забор. Цветы сухие вьются, и ветер шуршит ими.

— Только не знаю, почему дядя Мори Верша не послал. Верш не разболтал бы. — В окно смотрит миссис Паттерсон. — Подожди здесь, — сказала Кэдди. — Стой на месте и жди. Я сейчас же вернусь. Дай-ка письмо. — Она достала письмо из моего кармана. — А рук не вынимай. — С письмом в руке перелезла забор, идет, шуршит бурыми цветами. Миссис Паттерсон ушла к дверям, отворила, стоит на пороге.

Мистер Паттерсон машет тяпкой в зеленых цветах. Перестал и смотрит на меня. Миссис Паттерсон бежит ко мне садом. Я увидел ее глаза и заплакал. «Ох ты, идиотина», говорит миссис Паттерсон. «Я же сказала ему, чтобы не присылала больше тебя одного. Дай сюда. Скорее». Мистер Паттерсон идет к нам с тяпкой, быстро. Миссис Паттерсон тянется рукой через забор. Хочет перелезть. «Дай сюда», говорит миссис. «Дай же сюда». Мистер Паттерсон перелез забор. Взял письмо. У миссис платье зацепилось за забор. Я опять увидал ее глаза и побежал с горы.

— Там, кроме домов, ничего нету, — говорит Ластер. — Пошли теперь к ручью.

У ручья стирают, хлопают. Одна поет. Дым ползет через воду. Пахнет бельем и дымом.

— Вот тут и будь, — говорит Ластер. — Нечего тебе туда. Там тебя мячом по башке.

— А чего он хочет?

— Будто он знает чего, — говорит Ластер. — Ему наверх надо, где в гольф играют. Сядь здесь и играйся с цветком. А смотреть — смотри, как ребята купаются. Веди себя как люди.

Я сажусь у воды, где полощут и веет синим дымом.

— Тут монету никто не подымал? — говорит Ластер.

— Какую монету?

— Какая у меня утром была. Двадцать пять центов, — говорит Ластер. — Посеял где-то из кармана. В прореху выпала, вот в эту. Если не найду, не на что будет вечером купить билет.

— А где ты ее взял, монету? Небось у белого в кармане?

— Где взял, там теперь нету, а после еще будет, — говорит Ластер. — А пока что мне эту надо найти. Вы никто не видали?

— Мне только монеты искать. У меня своих

дел хватает.

— Иди-ка сюда, — говорит Ластер. — Помоги мне искать.

— Да ему что монета, что камешек.

— Все равно пусть помогает, — говорит Ластер. — А вы идете вечером на артистов?

— Не до того мне. Пока управлюсь с этим корытом, устану так, что и руки не поднять, а не то чтоб на этих артистов идти.

— А спорим, пойдете, — говорит Ластер. — Спорим, вчера уже были. Только откроют там, сразу все пойдете в ту палатку.

— Туда и без меня набьется негров. Хватит, что вчера ходила.

— Небось те же деньги плотим, что и белые.

— Белый плотит негру деньги, а сам знает: приедет другой белый с музыкой и все их себе прикарманит до цента, и опять иди, негр, зарабатывай.

— Никто тебя туда на представление не гонит.

— Пока еще не гонят. Не додумались.

— Дались тебе белые.

— Дались не дались. Я иду своей дорогой, а они своей. Больно нужно мне это представление.

— У них один там на пиле играет песни. Прямо как на банджо.

— Вы вчера, — говорит Ластер, — а я сегодня пойду. Только вот монету найти.

— И его, значит, возьмешь с собой?

— Ага, — говорит Ластер. — Как же. Чтоб он мне там развылся.

— А что ты делаешь, когда развоется?

— Порю его, вот что я делаю, — говорит Ластер. Сел, закатал штаны. В воде играют дети.

— А шариков Бенджиных никто не находил? — говорит Ластер.

— Ты, парень, скверных слов не говори. Узнает твоя бабушка — не поздоровится тебе.

Ластер вошел в ручей, где дети. Ищет вдоль берега.

— Когда утром здесь ходили, монета еще была у меня, — говорит Ластер.

— Где ж ты ее посеял?

— Из кармана выпала, вот в эту дырку, — говорит Ластер. Они ищут в ручье. Потом все сразу разогнулись, стоят, с плеском кинулись, затолкались. Ластер схватил, присели в воде, смотрят на гору через кусты.

— Где они? — говорит Ластер.

— Еще не видать.

Ластер положил его себе в карман. Те спустились с горы.

— Тут мяч упал — не видели, ребята?

— Не иначе, в воду шлепнулся. Вы не слышали?

— Тут ничего не шлепалось, — сказал Ластер. — Вон там об дерево стукнулось что-то. А куда полетело, не знаю.

Смотрят в ручей.

— Черт. Поищи-ка в ручье. Он здесь упал. Я видел.

Идут берегом, смотрят. Пошли обратно на гору.

— А не у тебя ли мяч? — сказал тот мальчик.

— На что он мне сдался? — сказал Ластер. — Не видел я никакого мяча.

Мальчик вошел в ручей. Пошел по воде. Повернулся, опять смотрит на Ластера. Пошел вниз по ручью.

Взрослый позвал с горы: «Кэдди!» Мальчик вышел из воды и пошел на гору.

— Опять завел? — говорит Ластер. — Замолчи.

— С чего это он?

— А кто его знает с чего, — говорит Ластер. — Ни с чего. Все утро воет. С того, что сегодня его день рождения.

— А сколько ему?

— Тридцать три исполнилось, — говорит Ластер. — Ровно тридцать лет и три года.

— Скажи лучше — ровно тридцать лет, как ему три года.

— Что мне мэмми сказала, то и я вам, — говорит Ластер. — Я только знаю, что тридцать три свечки зажгут. А тортик куцый. Еле уместятся. Да замолчи. Иди сюда. — Он подошел, схватил меня за руку. — Ты, придурок старый, — говорит. — Хочешь, чтоб выпорол?

— Слабо тебе его выпороть.

— Не раз уже порол. Замолчи ты, — говорит Ластер. — Сколько тебе толковать, что туда нельзя. Там тебе мячами голову сшибут. Иди сюда, — потянул меня назад. — Садись. — Я сел, он снял с меня ботинки, закатал штаны. — Вон туда ступай, в воду, играй себе и чтоб не выть и слюней не пускать.

Я замолчал и пошел в воду, *и пришел Роскус, зовет ужинать, а Кэдди говорит: «Еще рано ужинать. Не пойду».*

Она мокрая. Мы играли в ручье, и Кэдди присела в воду, замочила платьице, а Верш говорит:

— Замочила платье, теперь твоя мама тебя выпорет.

— А вот и нет, — сказала Кэдди.

— Откуда ты знаешь, что нет? — сказал Квентин.

— А вот и знаю, — сказала Кэдди. — А ты откуда знаешь, что да?

— Мама говорила, что накажет, — сказал Квентин. — И потом, я старше тебя.

— Мне уже семь лет, — сказала Кэдди. — Я сама все знаю.

— А я еще старше, — сказал Квентин. — Я школьник. Правда, Верш?

— И я пойду в школу в будущем году, — сказала Кэдди. — Как только начнется. Правда, Верш?

— Сама знаешь, за мокрое платье пороть будут, — сказал Верш.

— Оно не мокрое, — сказала Кэдди. Встала в воде, смотрит на платье. — Я сниму, оно и высохнет.

— А вот и не снимешь, — сказал Квентин.

— А вот и сниму, — сказала Кэдди.

— Лучше не снимай, — сказал Квентин.

Кэдди подошла к Вершу и ко мне, повернулась спиной.

— Расстегни мне, Верш, — сказала Кэдди.

— Не смей, Верш, — сказал Квентин.

— Твое платье, сама и расстегивай, — сказал Верш.

— Расстегни, Верш, — сказала Кэдди. — А то скажу Дилси, что ты вчера сделал. — И Верш

расстегнул.

— Попробуй сними только, — сказал Квентин. Кэдди сняла платье и бросила на берег. На ней остались лифчик и штанишки, больше ничего, и Квентин шлепнул ее, она поскользнулась, упала в воду. Поднялась и стала брызгать на Квентина, а Квентин стал брызгать на нее. И Верша и меня забрызгало. Верш поднял меня, вынес на берег. Он сказал, что расскажет про Кэдди и Квентина, и они стали брызгать на Верша. Верш ушел за куст.

— Я скажу про вас мэмми, — сказал Верш.

Квентин вылез на берег, хотел поймать Верша, но Верш убежал, и Квентин не догнал. Квентин вернулся, тогда Верш остановился и крикнул, что расскажет. И Кэдди крикнула ему, что если не расскажет, то может вернуться. И Верш сказал, что не расскажет, и пошел к нам.

— Радуйся теперь, — сказал Квентин. — Теперь нас высекут обоих.

— Пускай, — сказала Кэдди. — Я убегу из дому.

— Убежишь ты, как же, — сказал Квентин.

— Убегу и никогда не вернусь, — сказала Кэдди. Я заплакал, Кэдди обернулась и сказала: — Не плачь. — И я перестал. Потом они играли в воде. И Джейсон тоже. Он отдельно, дальше по ручью.

Верш вышел из-за куста, внес меня в воду опять. Кэдди вся мокрая и сзади грязная, и я заплакал, и она подошла и присела в воде.

— Не плачь, — сказала Кэдди. — Я не стану убегать.

И я перестал. Кэдди пахла как деревья в дождь.

«Что с тобой такое?» говорит Ластер. «Кончай вытье, играй в воде, как все».

«Забрал бы ты его домой. Ведь тебе не велят водить его со двора».

«А он думает — луг ихний, как раньше», говорит Ластер. «И все равно сюда от дома не видать».

«Но мы-то его видим. А на дурачка глядеть — приятного мало. Да и примета нехорошая».

Пришел Роскус, зовет ужинать, а Кэдди говорит, ужинать еще рано.

— Нет, не рано, — говорит Роскус. — Дилси велела, чтоб вы шли домой. Веди их, Верш.

Роскус ушел на гору, там корова мычит.

— Может, пока дойдем до дома, обсохнем, — сказал Квентин.

— А все ты виноват, — сказала Кэдди. — Вот и пускай нас высекут.

Она надела платье, и Верш ей застегнул.

— Им не дознаться, что вы мокрые, — сказал Верш. — Оно незаметно. Если только мы с Джей-

соном не скажем.

— Не скажешь, Джейсон? — спросила Кэдди.

— Про кого? — сказал Джейсон.

— Он не скажет, — сказал Квентин. — Правда, Джейсон?

— Вот увидишь, скажет, — сказала Кэдди. — Бабушке.

— Как он ей скажет? — сказал Квентин. — Она ведь больна. Мы пойдем медленно, стемнеет — и не заметят.

— Пускай замечают, — сказала Кэдди. — Я сама возьму и расскажу. Ему здесь не взойти самому, Верш.

— Джейсон не расскажет, — сказал Квентин. — Помнишь, Джейсон, какой я тебе лук сделал и стрелы?

— Он уже поломался, — сказал Джейсон.

— Пускай рассказывает, — сказала Кэдди. — Я не боюсь нисколечко. Возьми Мори на спину, Верш.

Верш присел, я влез к нему на спину.

«Ну пока, до вечера, до представления», говорит Ластер. «Пошли, Бенджи. Нам еще монету искать надо».

— Если идти медленно — пока дойдем, стемнеет, — сказал Квентин.

— Не хочу медленно, — сказала Кэдди. Мы пошли на гору, а Квентин не пошел. Уже запахло свиньями, а он все еще у ручья. Они хрюкали в углу и дышали в корыто. Джейсон шел за нами, руки в карманы. Роскус доил корову в сарае у двери.

Из сарая метнулись навстречу коровы.

— Давай, Бенджи, — сказал Ти-Пи. — Заводи опять. Я подтяну. У-ух! — Квентин опять пнул Ти-Пи. Толкнул в свиное корыто, и Ти-Пи упал туда. — Ух ты какой! — сказал Ти-Пи. — Ловко он меня. Видали, как этот белый меня пнул. У-ух ты!

Я не плачу, но не могу остановиться. Я не плачу, но земля не стоит на месте, и я заплакал. Земля все лезет кверху, и коровы убегают вверх. Ти-Пи хочет встать. Опять упал, коровы бегут вниз. Квентин держит мою руку, мы идем к сараю. Но тут сарай ушел, и пришлось нам ждать, пока вернется. Я не видел, как сарай вернулся. Он вернулся сзади нас, и Квентин усадил меня в корыто, где дают коровам. Я держусь за корыто. Оно тоже уходит, а я держусь. Опять коровы побежали — вниз, мимо двери. Я не могу остановиться. Квентин и Ти-Пи качнулись вверх, дерутся. Ти-Пи поехал вниз. Квентин тащит его кверху. Квентин

ударил Ти-Пи. Я не могу остановиться.

— Подымись, — говорит Квентин. — И сидите в сарае. Не выходите, пока не вернусь.

— Мы с Бенджи теперь обратно на свадьбу, — говорит Ти-Пи. — У-ух!

Квентин опять ударил Ти-Пи. Трясет его и стукает об стенку. Ти-Пи смеется. Каждый раз, как его стукают об стенку, он хочет сказать «у-ух» и не может от смеха. Я замолчал, но не могу остановиться. Ти-Пи упал на меня, и дверь сарая убежала. Поехала вниз, а Ти-Пи дерется сам с собой и опять упал. Он смеется, а я не могу остановиться, и хочу встать, и падаю обратно, и не могу остановиться. Верш говорит:

— Ну, показал же ты себя. Нечего сказать. Да перестань вопить.

Ти-Пи все смеется. Барахтается на полу, смеется.

— У-ух! — говорит Ти-Пи. — Мы с Бенджи обратно на свадьбу. Попили саспрелевой — и обратно!

— Тихо ты, — говорит Верш. — А где вы ее брали?

— В погребе, — говорит Ти-Пи. — У-ух!

— Тихо! — говорит Верш. — А где в погребе?

— Да везде, — говорит Ти-Пи. Опять смеется. — Там сто бутылок. Миллион. Отстань, парень. Я

петь буду.

Квентин сказал:

— Подыми его.

Верш поднял меня.

— Выпей, Бенджи, — сказал Квентин.

В стакане горячее.

— Замолчи, — сказал Квентин. — Пей лучше.

— Пей саспрелевую, — сказал Ти-Пи. — Дай я выпью, мистер Квентин.

— Заткнись, — сказал Верш. — Мало еще получил от мистера Квентина.

— Поддержи его, Верш, — сказал Квентин.

Они держат меня. Подбородком течет горячее и по рубашке. «Пей», — говорит Квентин. Они держат мне голову. Мне горячо внутри, и я заплакал. Я плачу, а внутри у меня что-то делается, и я сильнее плачу, а они меня держат, пока не прошло. И я замолчал. Опять все кружится, и вот яркие пошли. «Верш, открой ларь». Медленно плывут яркие. «Стели эти мешки на пол». Поплыли быстрей, почти как надо. «Ну-ка, за ноги берись». Слышно, как Ти-Пи смеется. Гладко плывут яркие. Я плыву с ними наверх по яркому склону.

Наверху Верш ссадил меня на землю. — Квентин, идем! — позвал, смотрит с горы вниз. Квентин все стоит там у ручья. Камешки кидает в тени,

где вода.

— Пускай трусишка остается, — сказала Кэдди. Взяла мою руку, идем мимо сарая, в калитку. Дорожка выложена кирпичом, на ней лягушка посредине. Кэдди переступила через нее, тянет меня за руку.

— Пошли, Мори, — сказала Кэдди. Лягушка все сидит, Джейсон пнул ее ногой.

— Вот вскочит бородавка, — сказал Верш. Лягушка упрыгала.

— Пошли, Верш, — сказала Кэдди.

— У вас там гости, — сказал Верш.

— Откуда ты знаешь? — сказала Кэдди.

— Все лампочки горят, — сказал Верш. — Во всех окнах.

— Как будто без гостей нельзя зажечь, — сказала Кэдди. — Захотели и включили.

— А спорим, гости, — сказал Верш. — Идите лучше черной лестницей и наверх, в детскую.

— И пускай гости, — сказала Кэдди. — Я прямо к ним в гостиную войду.

— А спорим, тогда твой папа тебя выпорет, — сказал Верш.

— Пускай, — сказала Кэдди. — Прямо в гостиную войду. Нет, прямо в столовую и сяду ужинать.

— А где ты сядешь? — сказал Верш.

— На бабушкино место, — сказала Кэдди. — Ей теперь в постель носят.

— Есть хочу, — сказал Джейсон. Перегнал нас, побежал дорожкой, руки в карманах, упал. Верш подошел, поднял его.

— Руки в карманах, вот и шлепаешься, — сказал Верш. — Где тебе, жирному, успеть их вынуть вовремя и опереться.

У кухонного крыльца — папа.

— А Квентин где? — сказал он.

— Идет там по дорожке, — сказал Верш. Квентин идет медленно. Рубашка пятном белым.

— Вижу, — сказал папа. Свет падает с веранды на него.

— А Кэдди с Квентином друг на дружку брызгались, — сказал Джейсон.

Мы стоим ждем.

— Вот как, — сказал папа. Квентин подошел, и папа сказал: — Сегодня ужинать будете в кухне. — Замолчал, поднял меня на руки, и сразу свет с веранды упал на меня тоже, и я смотрю сверху на Кэдди, Джейсона, на Квентина и Верша. Папа повернулся всходить на крыльцо. — Только не шуметь, — сказал он.

— А почему, папа? — сказала Кэдди. — У нас

гости?

— Да, — сказал папа.

— Я говорил, что гости, — сказал Верш.

— Совсем и нет, — сказала Кэдди. — Это я говорила. И что пойду…

— Тихо, — сказал папа. Замолчали, и папа открыл дверь, и мы прошли веранду, вошли в кухню. Там Дилси, папа посадил меня на стульчик, закрыл передок, подкатил к столу, где ужин. От ужина пар.

— Чтоб слушались Дилси, — сказал папа. — Не позволяй им шуметь, Дилси.

— Хорошо, — сказала Дилси. Папа ушел.

— Так помните: слушаться Дилси, — сказал за спиной у нас. Я наклонился к ужину. Пар мне в лицо.

— Папа, пускай меня сегодня слушаются, — сказала Кэдди.

— Я тебя не буду слушаться, — сказал Джейсон. — Я Дилси буду слушаться.

— Если папа велит, будешь, — сказала Кэдди. — Папа, вели им меня слушаться.

— А я не буду, — сказал Джейсон. — Не буду тебя слушаться.

— Тихо, — сказал папа. — Так вот, все слушайтесь Кэдди. Когда поужинают, проведешь их,

Дилси, наверх черным ходом.

— Хорошо, сэр, — сказала Дилси.

— Ага, — сказала Кэдди. — Теперь будешь меня слушаться.

— А ну-ка тише, — сказала Дилси. — Сегодня вам нельзя шуметь.

— А почему? — сказала Кэдди шепотом.

— Нельзя — и все, — сказала Дилси. — Придет время, узнаете почему. Господь просветит.

Поставила мою мисочку. От нее пар идет и щекочет лицо.

— Поди сюда, Верш.

— Дилси, а как это — просветит? — сказала Кэдди.

— Он по воскресеньям в церкви просвещает, — сказал Квентин. — Даже этого не знаешь.

— Тш-ш, — сказала Дилси. — Мистер Джейсон не велел шуметь. Ешьте давайте. На, Верш, возьми его ложку. — Рука Верша окунает ложку в мисочку. Ложка поднимается к моим губам. Пар щекочет во рту. Перестали есть, молча смотрим друг на друга и вот услышали опять, и я заплакал.

— Что это? — сказала Кэдди. Положила руку на мою.

— Это мама, — сказал Квентин. Ложка подня-

лась к губам, я проглотил, опять заплакал.

— Перестань, — сказала Кэдди. Но я не перестал, и она подошла, обняла меня. Дилси пошла, закрыла обе двери, и не стало слышно.

— Ну, перестань, — сказала Кэдди. Я замолчал и стал есть. Джейсон ест, а Квентин — нет.

— Это мама, — сказал Квентин. Встал.

— Сядь сейчас же на место, — сказала Дилси. — У них там гости, а ты в этой грязной одеже. И ты сядь, Кэдди, и кончайте ужинать.

— Она там плакала, — сказал Квентин.

— Это пел кто-то, — сказала Кэдди. — Правда, Дилси?

— Ешьте лучше тихонько, как велел мистер Джейсон, — сказала Дилси. — Придет время — узнаете.

Кэдди пошла, села на место.

— Я говорила — у нас званый ужин, — сказала Кэдди.

Верш сказал:

— Он уже все съел.

— Подай мне его мисочку, — сказала Дилси. Мисочка ушла.

— Дилси, — сказала Кэдди. — А Квентин не ест. А ему велели меня слушаться.

— Кушай, Квентин, — сказала Дилси. — Кон-

чайте и уходите из кухни.

— Я больше не хочу, — сказал Квентин.

— Раз я велю, ты должен кушать, — сказала Кэдди. — Правда, Дилси?

Пар идет от мисочки в лицо, рука Верша окунает ложку, и от пара щекотно во рту.

— Я не хочу больше, — сказал Квентин. — Какой же званый ужин, когда бабушка больна.

— Ну и что ж, — сказала Кэдди. — Гости внизу, а она может выйти и сверху глядеть. Я тоже надену ночную рубашку и выйду на лестницу.

— Это мама плакала, — сказал Квентин. — Правда, Дилси?

— Не докучай мне, голубок, — сказала Дилси. — Вот вас покормила, а теперь еще ужин готовить для всей компании.

Скоро даже Джейсон кончил есть. И заплакал.

— Твоего голоска не хватало, — сказала Дилси.

— Он каждый вечер хнычет — с тех пор как бабушка больна и ему нельзя у нее спать, — сказала Кэдди. — Хныкалка.

— Вот я расскажу про тебя, — сказал Джейсон.

Плачет.

— Ты уже и так рассказал, — сказала Кэдди. — А больше тебе нечего рассказывать.

— Спать вам пора, вот что, — сказала Дилси.

Подошла, спустила меня на пол и теплой тряпкой вытерла мне рот и руки. — Верш, проводи их наверх черным ходом, только тихо. А ты, Джейсон, перестань хныкать.

— Еще не пора спать, — сказала Кэдди. — Мы никогда так рано не ложимся.

— А сегодня ляжете, — сказала Дилси. — Папа велел вам идти спать сразу, как поужинаете. Сами слышали.

— Папа велел меня слушаться, — сказала Кэдди.

— А я не буду тебя слушаться, — сказал Джейсон.

— Еще как будешь, — сказала Кэдди. — Теперь идемте все и слушайтесь меня.

— Только чтоб без шума, Верш, — сказала Дилси. — Сегодня, дети, будьте тише воды, ниже травы.

— А почему? — сказала Кэдди.

— Мама ваша нездорова, — сказала Дилси. — Идите все за Вершем.

— Я говорил, мама плакала, — сказал Квентин. Верш поднял меня на спину, открыл дверь на веранду. Мы вышли, и Верш закрыл дверь. Темно, только плечи и запах Верша. «Не шумите. — Мы еще погуляем. — Мистер Джейсон велел сразу

наверх. — Он велел меня слушаться. — А я не буду тебя слушаться. — Он всем велел. И тебе Квентин.» Я чувствую затылок Верша, слышу всех нас. «Правда, Верш? — Правда. — Вот и слушайтесь. Сейчас пойдем немножко погуляем во дворе. Идемте». Верш открыл дверь, мы вышли.

Сошли по ступенькам.

— Давайте отойдем подальше, к Дилсиному дому. Оттуда нас не слышно будет, — сказала Кэдди. Верш спустил меня на землю. Кэдди взяла мою руку, и мы пошли по кирпичной дорожке.

— Идем, — сказала Кэдди. — Лягушка ускакала. Она давно уже в огороде. Может, нам другая встретится.

Роскус несет ведра с молоком. Пронес мимо. Квентин не пошел с нами. Сидит на ступеньках кухни. Мы идем к дому, где Верш живет. Я люблю, как там пахнет. *Горит огонь. Ти-Пи присел — рубашка подолом до полу, — подкладывает, чтобы сильней горело.*

Потом я встал, Ти-Пи одел меня, мы пошли на кухню, поели. Дилси стала петь, и я заплакал, и она замолчала.

— Иди гуляй с ним, только подальше от дома, — сказала Дилси.

— Туда нам нельзя, — говорит Ти-Пи.

Мы играем в ручье.

— Туда нельзя, — говорит Ти-Пи. — Слышал, мэмми не велела.

В кухне Дилси поет, я заплакал.

— Тихо, — говорит Ти-Пи. — Идем. Пошли к сараю.

У сарая Роскус доит. Он доит одной рукой и охает. Птицы сели на дверь, смотрят. Одна на землю села, ест с коровами. Я смотрю, как Роскус доит, а Ти-Пи кормит Квини и Принса. Теленок в свиной загородке. Тычется мордой в проволоку, мычит.

— Ти-Пи, — позвал Роскус. Ти-Пи отозвался из сарая: «Да». Фэнси выставила голову из стойла, потому что Ти-Пи еще не кормил ее. — Скорей управляйся там, — сказал Роскус. — Придется тебе додоить. Правая рука совсем уже не действует.

Ти-Пи пришел, сел доить.

— Почему ты к доктору не сходишь? — сказал Ти-Пи.

— Доктор тут не поможет, — сказал Роскус. — Место у нас такое.

— Какое-такое? — сказал Ти-Пи.

— Злосчастное тут место, — сказал Роскус. — Ты кончил — впусти теленка.

«Злосчастное тут место», сказал Роскус. Позади него и Верша огонь вставал, падал, скользил

по их лицам. Дилси уложила меня. Постель пахла Ти-Пи. Хорошо пахла.

— Что ты в этом смыслишь? — сказала Дилси. — Озаренье тебе было, знак был даден, что ли?

— Не надо озаренья, — сказал Роскус. — Вот он, знак, в постели лежит. Пятнадцать лет, как люди видят этот знак.

— Ну и что? — сказала Дилси. — Ни тебе, ни твоим вреда он никакого не принес. Верш работает, Фрони замуж выдана, Ти-Пи подрастет — заступит тебя, как вовсе ревматизмом скрутит.

— Двоих уже взял господь у них, — сказал Роскус. — Третий на очереди. Знак ясный, сама не хуже меня видишь.

— В ту ночь сова ухала, — сказал Ти-Пи. — Еще с вечера. Налил я Дэну похлебки — так и не подошел пес. Ближе сарая ни в какую. А только стемнело — завыл. Вот Верш тоже слышал.

— Все мы на той очереди, — сказала Дилси. — Покажи мне человека, чтобы вечно жил.

— Не в одних только смертях дело, — сказал Роскус.

— Знаю я, о чем ты, — сказала Дилси. — Вот будет тебе злосчастье, как скажешь ее имя вслух — сам будешь сидеть с ним, успокаивать.

— Злосчастное тут место, — сказал Роскус. — Я с

самого его рожденья заприметил, а как сменили ему имя, понял окончательно.

— Хватит, — сказала Дилси. Выше укрыла меня одеялом. Оно пахло Ти-Пи. — Помолчите, пусть заснет.

— Знак ясный, — сказал Роскус.

— Ага, знак, что придется Ти-Пи всю твою работу делать за тебя, — сказала Дилси. *«Ти-Пи, забери его и Квентину, пусть там у дома с Ластером играют. Фрони за ними присмотрит. А сам иди отцу помоги».*

Мы кончили есть. Ти-Пи взял Квентину на руки, и мы пошли к дому, где Ти-Пи живет. Ластер сидит на земле, играет. Ти-Пи посадил Квентину, она тоже стала играть. У Ластера катушки, Квентина — отнимать, забрала. Ластер заплакал, пришла Фрони, дала Ластеру жестянку играть, а потом я взял катушки, Квентина стала драться, и я заплакал.

— Уймись, — сказала Фрони. — Не совестно тебе у маленькой игрушку отымать. — Взяла катушки, отдала Квентине.

— Уймись, — сказала Фрони. — Цыц, говорят тебе.

— Замолчи, — сказала Фрони. — Порку хорошую, вот что тебе надо. — Взяла Ластера и

Квентину на руки. — Идем, — сказала Фрони. Мы пошли к сараю. Ти-Пи доит корову. Роскус сидит на ящике.

— Чего он там еще накуролесил? — спросил Роскус.

— Да вот привела его вам, — сказала Фрони. — Обижает маленьких опять. Отымает игрушки. Побудь здесь с Ти-Пи и не реви.

— Выдаивай чисто, — сказал Роскус. — Прошлую зиму довел, что у той молодой пропало молоко. Теперь еще эту испортишь, совсем без молока останемся.

Дилси поет.

— Туда не ходи, — говорит Ти-Пи. — Знаешь ведь, что мэмми не велела.

Там поют.

— Пошли, — говорит Ти-Пи. — Поиграем с Квентиной и Ластером. Идем.

Квентина с Ластером играют на земле перед домом, где Ти-Пи живет. В доме встает и падает огонь, перед огнем сидит Роскус — черным пятном на огне.

— Вот и третьего господь прибрал, — говорит Роскус. — Я еще в позапрошлом году предрекал. Злосчастное место.

— Так переселялся б на другое, — говорит Дил-

си. Она раздевает меня. — Только Верша сбил с толку своим карканьем. Если б не ты, не уехал бы Верш от нас в Мемфис.

— Пусть для Верша в этом будет все злосчастье, — говорит Роскус.

Вошла Фрони.

— Кончили уже? — сказала Дилси.

— Ти-Пи кончает, — сказала Фрони. — Мис Кэлайн зовет — Квентину спать укладывать.

— Вот управлюсь и пойду, — сказала Дилси. — Пора б ей знать, что у меня крыльев нету.

— То-то и оно, — сказал Роскус. — Как месту не быть злосчастным, когда тут имя собственной дочери под запретом.

— Будет тебе, — сказала Дилси. — Хочешь его разбудоражить?

— Чтоб девочка росла и не знала, как звать ее маму, — сказал Роскус.

— Не твоя печаль, — сказала Дилси. — Я всех их вырастила, и эту уж как-нибудь тоже. А теперь помолчите. Дайте ему заснуть.

— Подумаешь, разбудоражить, — сказала Фрони. — Будто он различает имена.

— Еще как различает, — сказала Дилси. — Ты ему это имя во сне скажи — услышит.

— Он знает больше, чем люди думают, — сказал

Роскус. — Он все три раза чуял, когда их время приходило, — не хуже нашего пойнтера. И когда его самого время придет, он тоже знает, только сказать не может. И когда твое придет. И мое когда.

— Мэмми, переложите Ластера от него в другую постель, — сказала Фрони. — Он на Ластера порчу наведет.

— Типун тебе на язык, — сказала Дилси. — Умнее не придумала? Нашла кого слушать — Роскуса. Ложись, Бенджи.

Подтолкнула меня, и я лег, а Ластер уже лежал там и спал. Дилси взяла длинный дерева кусок и положила между Ластером и мной.

— На Ластерову сторону нельзя, — сказала Дилси. — Он маленький, ему будет больно.

«Еще нельзя туда», сказал Ти-Пи. «Обожди».

Мы смотрим из-за дома, как отъезжают шарабаны.

— Теперь можно, — сказал Ти-Пи. Взял Квентину на руки, и мы побежали, стали в конце забора, смотрим, как едут. — Вон там его везут, — сказал Ти-Пи. — Вон в том, с окошками который. Смотри. Вон он лежит. Видишь?

«Пошли», говорит Ластер. «Отнесем домой, чтоб не потерялся. Ну нет, ты этот мячик не

получишь. Они увидят у тебя, скажут — украл. Замолчи. Тебе нельзя его. Зачем тебе? Тебе мячики-шарики ни к чему».

Фрони и Ти-Пи играют у порога на земле. У Ти-Пи светляки в бутылке.

— Разве вам еще разрешили гулять? — сказала Фрони.

— Там гости, — сказала Кэдди. — Папа велел меня сегодня слушаться. Значит, тебе и Ти-Пи тоже нужно меня слушаться.

— А я не буду, — сказал Джейсон. — И Фрони с Ти-Пи совсем не нужно тебя слушаться.

— Вот велю им — и будут слушаться, — сказала Кэдди. — Только, может, я еще не захочу велеть.

— Ти-Пи никого не слушается, — сказала Фрони. — Что, похороны уже начались?

— А что такое похороны? — сказал Джейсон.

— Ты забыла: мэмми не велела говорить им, — сказал Верш.

— Похороны — это когда голосят, — сказала Фрони. — У тетушки Бьюлы Клэй на похоронах два дня голосили.

В Дилсином доме голосят. Дилси. Заголосила, и Ластер сказал нам: «Тихо», и мы сидим тихо, потом я заплакал и Серый завыл под крыльцом. Дилси замолчала, и мы тоже.

— Нет, — сказала Кэдди. — Это у негров. А у белых не бывает похорон.

— Фрони, — сказал Верш. — Нам же не велели говорить им.

— Про что не велели? — сказала Кэдди.

Дилси голосила, и когда мы услыхали, я заплакал, а Серый завыл под крыльцом, «Ластер», сказала Фрони из окна. «Уведи их к сараю. Мне надо стряпать, а я из-за них не могу. И этого пса тоже. Убери их отсюда».

«Я к сараю не пойду», сказал Ластер. «Еще дедушка привидится. Он вчера вечером мне из сарая руками махал».

— А почему не говорить? — сказала Фрони. — Белые тоже умирают. Ваша бабушка умерла — все равно как любая негритянка.

— Это собаки умирают, — сказала Кэдди. — Или лошади — как тогда, когда Нэнси упала в ров и Роскус ее пристрелил, и прилетели сарычи, раздели до костей.

Под луной круглятся кости из рва, где темная лоза и ров черный, как будто одни яркие погасли, а другие нет. А потом и те погасли, и стало темно. Я замолчал, чтоб вдохнуть, и опять, и услышал маму, и шаги уходят быстро, и мне слышно запах. Тут комната пришла, но у меня глаза закрылись.

Я не перестал. Мне запах слышно. Ти-Пи отстегивает на простыне булавку.

— Тихо, — говорит он. — Тш-ш.

Но мне запах слышно. Ти-Пи посадил меня в постели, одевает быстро.

— Тихо, Бенджи, — говорит Ти-Пи. — Идем к нам. Там у нас дома хорошо, там Фрони. Тихо. Тш-ш.

Завязал шнурки, надел шапку мне, мы вышли. В коридоре свет. За коридором слышно маму.

— Тш-ш, Бенджи, — говорит Ти-Пи. — Сейчас уйдем.

Дверь открылась, и запахло совсем сильно, и выставилась голова. Не папина. Папа лежит там больной.

— Уведи его во двор.

— Мы и так уже идем, — говорит Ти-Пи. Взошла Дилси по лестнице.

— Тихо, Бенджи, — говорит Дилси. — Тихо. Веди его к нам, Ти-Пи. Фрони постелет ему. Смотрите там за ним. Тихо, Бенджи. Иди с Ти-Пи.

Пошла туда, где слышно маму.

— У вас там пусть и остается. — Это не папа. Закрыл дверь, но мне слышно запах.

Спускаемся. Ступеньки в темное уходят, и Ти-Пи взял мою руку, и мы вышли через темное в

дверь. Во дворе Дэн сидит и воет.

— Он чует, — говорит Ти-Пи. — И у тебя, значит, тоже на это чутье?

Сходим с крыльца по ступенькам, где наши тени.

— Забыл надеть тебе куртку, — говорит Ти-Пи. — А надо бы. Но назад вертаться не стану.

Дэн воет.

— Замолчи, — говорит Ти-Пи. Наши тени идут, а у Дэна ни с места, только воет, когда Дэн воет.

— Размычался, — говорит Ти-Пи. — Как же тебя к нам вести. Раньше хоть этого баса жабьего у тебя не было. Идем.

Идем кирпичной дорожкой, и тени наши тоже. От сарая пахнет свиньями. Около стоит корова, жует на нас. Дэн воет.

— Ты весь город на ноги подымешь своим ревом, — говорит Ти-Пи. — Перестань.

У ручья пасется Фэнси. Подходим, на воде блестит луна.

— Ну нет, — говорит Ти-Пи. — Тут слишком близко. Еще дальше отойдем. Пошли. Ну и косолапый — чуть не по пояс в росе. Идем.

Дэн воет.

Трава шумит, и ров открылся в траве. Из черных лоз круглятся кости.

— Ну вот, — сказал Ти-Пи. — Теперь ори сколько влезет. Вся ночь твоя и двадцать акров луга.

Ти-Пи лег во рву, а я сел, смотрю на кости, где сарычи клевали Нэнси и взлетали из рва тяжело и темно.

«Когда мы ходили тут утром, монета была», говорит Ластер. «Я еще показывал тебе. Помнишь? Мы стоим вот здесь, я вынул из кармана и показываю».

— Что ж, по-твоему, и бабушку разденут сарычи? — сказала Кэдди. — Глупости какие.

— Ты бяка, — сказал Джейсон. Заплакал.

— Глупая ты, — сказала Кэдди. Джейсон плачет. Руки в карманах.

— Джейсону богатым быть, — сказал Верш. — Все время за денежки держится.

Джейсон плачет.

— Вот, додразнили, — сказала Кэдди. — Не плачь, Джейсон. Разве сарычам пробраться к бабушке? Папа их не пустит. Ты маленький — и то не дался б им. Не плачь.

Джейсон замолчал.

— А Фрони говорит, что это похороны, — сказал Джейсон.

— Да нет же, — сказала Кэдди. — Это у нас званый ужин. Ничегошеньки Фрони не знает. Он

светляков подержать хочет. Дай ему, Ти-Пи.

Ти-Пи дал мне бутылку со светляками.

— Пошли обойдем кругом дома и в окно заглянем в гостиную, — сказала Кэдди. — Вот тогда увидите, кто прав.

— Я и так знаю, — сказала Фрони. — Мне и заглядывать не надо.

— Ты лучше молчи, Фрони, — сказал Верш. — А то получишь порку от мэмми.

— Ну, что ты знаешь? — сказала Кэдди.

— Что знаю, то знаю, — сказала Фрони.

— Идемте, — сказала Кэдди. — Пошли смотреть в окно.

Мы пошли.

— А светляков вернуть забыли? — сказала Фрони.

— Пусть он еще подержит — можно, Ти-Пи? — сказала Кэдди. — Мы принесем.

— Не вы их ловили, — сказала Фрони.

— А если я разрешу вам идти с нами, тогда можно, чтоб еще подержал? — сказала Кэдди.

— Нам с Ти-Пи никто не велел тебя слушаться, — сказала Фрони.

— А если я скажу, что вам не нужно меня слушаться, тогда можно, чтоб еще подержал? — сказала Кэдди.

— Ладно, — сказала Фрони. — Пусть подержит, Ти-Пи. Мы зато посмотрим, как там голосят.

— Там совсем не голосят, — сказала Кэдди. — Говорят же тебе, там званый ужин. Правда, Верш?

— Отсюда не видать, что у них там, — сказал Верш.

— Ну, так пошли, — сказала Кэдди. — Фрони и Ти-Пи можно меня не слушаться. А остальным всем слушаться. Подыми его, Верш. Уже темно почти.

Верш взял меня на спину, мы пошли к крыльцу и дальше кругом дома.

Мы выглянули из-за дома — два огня едут к дому аллеей. Ти-Пи вернулся к погребу, открыл дверь.

«А знаешь, что там внизу стоит?» сказал Ти-Пи. Содовая. Я видел, мистер Джейсон нес оттуда бутылки в обеих руках. Постой минутку здесь".

Ти-Пи пошел, заглянул в двери кухни. Дилси сказала: «Ну, чего заглядываешь? А где Бенджи?»

«Он здесь во дворе», сказал Ти-Пи.

«Иди смотри за ним», сказала Дилси. «Чтоб в дом не шел».

«Хорошо, мэм», сказал Ти-Пи. «А что, уже началось?»

«Ты иди, знай гуляй с ним подальше от глаз»,

сказала Дилси. «У меня и без того полны руки».

Из-под дома выползла змея. Джейсон сказал, что не боится змей, а Кэдди сказала, он боится, а она вот нет, и Верш сказал, они оба боятся, и Кэдди сказала, не шумите, папа не велел.

«Нашел когда реветь», говорит Ти-Пи. «Глотни лучше этой саспрелевой».

Она щекочет мне нос и глаза.

«Не хочешь — дай я выпью», говорит Ти-Пи. «Вот так, раз — и нету. Теперь за новой бутылкой сходить, пока никто нам не мешает. Да замолчи ты».

Мы стали под деревом, где окно в гостиную. Верш посадил меня в мокрую траву. Холодно. Свет во всех окнах.

— Вон за тем окном бабушка, — сказала Кэдди. — Она теперь все дни больна. А когда выздоровеет, у нас будет пикник.

— Что я знаю, то знаю, — сказала Фрони.

Деревья шумят и трава.

— А рядом комнатка, где мы болеем корью, — сказала Кэдди. — Фрони, а вы с Ти-Пи где болеете корью?

— Да где придется, — сказала Фрони.

— Там еще не началось, — сказала Кэдди.

«Сейчас начнут», сказал Ти-Пи. «Ты стой здесь,

а я пойду ящик приволоку, с него будет видно в окно. Сперва только бутылку кончим. Ух ты, от нее прямо хочется совой заухать».

Мы допили. Ти-Пи втолкнул бутылку через решетку под дом и ушел. Мне слышно их в гостиной, я руками вцепился в стену. Ти-Пи тащит ящик. Упал, засмеялся. Лежит и смеется в траву. Встал, тащит ящик под окно. Удерживается, чтоб не смеяться.

— Жуть, как горланить охота, — говорит Ти-Пи. — Залазь на ящик, посмотри, не началось там?

— Еще не началось, — сказала Кэдди. — Музыкантов еще нет.

— И не будет музыкантов, — сказала Фрони.

— Много ты знаешь, — сказала Кэдди.

— Что я знаю, то знаю, — сказала Фрони.

— Ничего ты не знаешь, — сказала Кэдди. Подошла к дереву. — Подсади меня, Верш.

— Твой папа не велел тебе лазить на дерево, — сказал Верш.

— Это давно было, — сказала Кэдди. — Он уже забыл. И потом, он велел сегодня меня слушаться. Что, разве неправда?

— А я не буду тебя слушаться, — сказал Джейсон. — И Фрони с Ти-Пи тоже не будут.

— Подсади меня, Верш, — сказала Кэдди.

— Ладно, — сказал Верш. — Тебя будут пороть, не меня.

Подошел, подсадил Кэдди на дерево, на нижний сук. У нее штанишки сзади грязные. А теперь ее не видно. Трещат и качаются ветки.

— Мистер Джейсон говорил, что выпорет, если сломаешь дерево, — сказал Верш.

— А я тоже про нее скажу, — сказал Джейсон.

Дерево перестало качаться. Смотрим на тихие ветки.

— Ну, что ты там увидела? — Фрони шепотом.

Я увидел их. Потом увидел Кэдди, в волосах цветы, и длинная вуаль, как светлый ветер. Кэдди. Кэдди.

— Тихо! — говорит Ти-Пи. — Они ж услышат! Слазь быстрей. — Тянет меня. Кэдди. Я цепляюсь за стену. Кэдди. Ти-Пи тянет меня.

— Тихо, — говорит Ти-Пи. — Тихо же. Пошли быстрей отсюда. — Дальше меня тащит. Кэдди… — Тихо, Бенджи. Хочешь, чтоб услыхали. Идем, выпьем еще и вернемся — если замолчишь. Идем возьмем еще бутылку, пока вдвоем не загорланили. Скажем, что это Дэн их выпил. Мистер Квентин все говорит, какая умная собака, — скажем, она и вино умеет пить.

Свет от луны по ступенькам в погреб. Пьем еще.

— Знаешь, чего мне хочется? — говорит Ти-Пи. — Чтоб сюда в погреб медведь пришел. Знаешь, что я ему сделаю? Прямо подойду и плюну в глаза. Дай-ка бутылку — заткнуть рот, а то загорланю сейчас.

Ти-Пи упал. Засмеялся, дверь погреба и свет луны метнулись, и я ударился.

— Тихо ты, — говорит Ти-Пи и хочет не смеяться. — Они же услышат. Вставай, Бенджи. Подымайся на ноги, скорей. — Барахтается и смеется, а я хочу подняться. Ступеньки из погреба кверху идут, на них луна. Ти-Пи упал в ступеньки, в лунный свет, я набежал на забор, а Ти-Пи бежит за мной и: «Тихо, тихо». Упал в цветы, смеется, я на ящик набежал. Хочу залезть, но ящик отпрыгнул, ударил меня по затылку, и горло у меня сказало: «Э-э». Опять сказало, и я лежу тихо, но в горле не перестает, и я заплакал. Ти-Пи тащит меня, а горло не перестает. Все время не перестает, и я не знаю, плачу или нет. Ти-Пи упал на меня, смеется, а в горле не перестает, и Квентин пнул Ти-Пи, а Кэдди обняла меня, и светлая вуаль, но деревьями Кэдди не пахнет больше, и я заплакал.

«Бенджи», сказала Кэдди. «Бенджи». Обняла

меня опять руками, но я ушел. — Из-за чего ты, Бенджи? Из-за этой шляпки? — Сняла шляпку, опять подошла, я ушел.

— Бенджи, — сказала она. — Из-за чего же тогда? Чем Кэдди провинилась?

— Да из-за этого платья, — сказал Джейсон. — Думаешь, что ты уже большая, да? Думаешь, ты лучше всех, да? Расфуфырилась.

— Ты, гаденький, прикуси себе язык, — сказала Кэдди. — Что же ты плачешь, Бенджи?

— Если тебе четырнадцать, так думаешь — уже большая, да? — сказал Джейсон. — Большая цаца, думаешь, да?

— Тихо, Бенджи, — сказала Кэдди. — А то маму растревожишь. Перестань.

Но я не перестал, она пошла от меня, я за ней, она стала, ждет на лестнице, я тоже стал.

— Из-за чего ты, Бенджи? — сказала она. — Скажи Кэдди, и Кэдди исправит. Ну, выговори.

— Кэндейси, — сказала мама.

— Да, мэм, — сказала Кэдди.

— Зачем ты его дразнишь? — сказала мама. — Поди с ним сюда.

Мы вошли в мамину комнату, мама лежит там, а на лбу болезнь — белой тряпкой.

— Что опять с тобой такое, Бенджамин? — ска-

зала мама.

— Бенджи, — сказала Кэдди. Подошла опять, но я ушел.

— Это он из-за тебя, наверно, — сказала мама. — Зачем ты его трогаешь, зачем не даешь мне полежать спокойно. Достань ему коробку и, пожалуйста, уйди, оставь его в покое.

Кэдди достала коробку, поставила на пол, открыла. В ней полно звезд. Я стою тихо — и они тихо. Я шевельнусь — они играют искрами. Я замолчал.

Потом услышал, как уходит Кэдди, и опять заплакал.

— Бенджамин, — сказала мама. — Поди сюда, — пошел к дверям. — Тебе говорят, Бенджамин, — сказала мама.

— Что тут у вас? — сказал папа. — Куда ты направился?

— Сведи его вниз, Джейсон, и пусть там кто-нибудь за ним присмотрит, — сказала мама. — Ты ведь знаешь, как я нездорова, и все же ты…

Мы вышли, и папа прикрыл дверь.

— Ти-Пи! — сказал он.

— Да, сэр, — сказал Ти-Пи снизу.

— К тебе Бенджи спускается, — сказал папа. — Побудешь с Ти-Пи.

Я слушаю воду.

— Бенджи, — сказал Ти-Пи снизу.

Слышно воду. Я слушаю.

— Бенджи, — сказал Ти-Пи снизу.

Я слушаю воду.

Вода перестала, и Кэдди в дверях.

— А, Бенджи! — сказала она. Смотрит на меня, я подошел, обняла меня. — Все-таки нашел Кэдди, — сказала она. — А ты думал, я сбежала? — Кэдди пахла деревьями.

Мы пошли в Кэддину комнату. Она села к зеркалу. Потом перестала руками, повернулась ко мне.

— Что же ты, Бенджи. Из-за чего ты? Не надо плакать. Кэдди никуда не уходит. Погляди-ка, — сказала она. Взяла бутылочку, вынула пробку, поднесла мне к носу. — Как пахнет! Понюхай. Хорошо как!

Я ушел и не перестал, а она держит бутылочку и смотрит на меня.

— Так вон оно что, — сказала Кэдди. Поставила бутылочку, подошла, обняла меня. — Так вот ты из-за чего. И хотел ведь сказать мне, и не мог. Хотел и не мог ведь. Конечно же, Кэдди не будет духами душиться. Конечно, не будет. Вот только оденусь.

Кэдди оделась, взяла опять бутылочку, и мы пошли на кухню.

— Дилси, — сказала Кэдди. — Бенджи тебе делает подарок. — Кэдди нагнулась, вложила бутылочку в руку мне. — Подай теперь Дилси ее. — Протянула мою руку, и Дилси взяла бутылочку.

— Нет, ты подумай! — сказала Дилси. — Дитятко мое духи мне дарит. Ты только глянь, Роскус.

Кэдди пахнет деревьями.

— А мы с Бенджи не любим духов, — сказала Кэдди.

Кэдди пахла деревьями.

— Ну, вот еще, — сказала Дилси. — Большой уже мальчик, надо спать в своей постельке. Тебе уже тринадцать лет. Будешь спать теперь один, в дяди Мориной комнате, — сказала Дилси.

Дядя Мори нездоров. У него глаз нездоров и рот. Верш понес ему ужин на подносе.

— Мори грозится застрелить мерзавца, — сказал папа. — Я посоветовал ему потише, а то как бы этот Паттерсон не услыхал. — Папа выпил из рюмки.

— Джейсон, — сказала мама.

— Кого застрелить, а, папа? — сказал Квентин. — Застрелить за что?

— За то, что дядя Мори пошутил, а тот не понимает шуток, — сказал папа.

— Джейсон, — сказала мама. — Как ты можешь так? Чего доброго, Мори убьют из-за угла, а ты будешь сидеть и посмеиваться.

— Пусть держится подальше от углов, — сказал папа.

— А кого застрелить? — сказал Квентин. — Кого дядя Мори застрелит?

— Никого, — сказал папа. — Пистолета у меня нет.

Мама заплакала.

— Если тебе в тягость оказывать Мори гостеприимство, то будь мужчиной и скажи ему в лицо, а не насмехайся заглазно при детях.

— Что ты, что ты, — сказал папа. — Я восхищаюсь Мори. Он безмерно укрепляет во мне чувство расового превосходства. Я не променял бы его на упряжку каурых коней. И знаешь, Квентин, почему?

— Нет, сэр, — сказал Квентин.

— Et ego in Arcadia…[2] забыл, как по-латыни «сено», — сказал папа. — Ну, не сердись, — сказал

---

[2] КОММЕНТАРИИ: 2

И я в Аркадии… — латинская эпитафия, воспроизведенная на картинах Пуссена, Рейнольдса и других художников, со значением «и я когда-то пережил счастливое время».

папа. — Это все ведь шутки. — Выпил, поставил рюмку, подошел к маме, положил ей руку на плечо.

— Неуместные шутки, — сказала мама. — Наш род ни на йоту не хуже вашего, компсоновского. И если у Мори слабое здоровье, то…

— Разумеется, — сказал папа. — Слабое здоровье — первопричина жизни вообще. В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. Верш!

— Сэр, — сказал Верш за моим стулом.

— Ступай-ка наполни графин.

— И скажи Дилси, пусть отведет Бенджамина наверх и уложит, — сказала мама.

— Ты уже большой мальчик, — сказала Дилси. — Кэдди умаялась спать с тобой. Ну замолчи и спи.

Комната ушла, но я не замолчал, и комната пришла обратно, и Дилси пришла, села на кровать, смотрит на меня.

— Так не хочешь быть хорошим и заснуть? — сказала Дилси. — Никак не хочешь? А минуту обождать ты можешь?

Ушла. В дверях пусто. Потом Кэдди в дверях.

— Тс-с, — говорит Кэдди. — Иду, иду.

Я замолчал, Дилси отвернула покрывало, и Кэд-

ди легла на одеяло под покрывало. Она не сняла купального халата.

— Ну вот, — сказала Кэдди. — Вот и я.

Пришла Дилси еще с одеялом, укрыла ее, подоткнула кругом.

— Он — минута и готов, — сказала Дилси. — Я не стану гасить у тебя свет.

— Хорошо, — сказала Кэдди. Примостила голову рядом с моей на подушке. — Спокойной ночи, Дилси.

— Спокойной ночи, голубка, — сказала Дилси. На комнату упала чернота. *Кэдди пахла деревьями.*

Смотрим на дерево, где Кэдди.

— Что ей там видно, а, Верш? — Фрони шепотом.

— Тс-с-с, — сказала Кэдди с дерева.

— А ну-ка спать! — сказала Дилси. Она вышла из-за дома. — Папа велел идти наверх, а вы сюда прокрались за моей спиной? Где Кэдди и Квентин?

— Я говорил ей, чтоб не лезла на дерево, — сказал Джейсон. — Вот расскажу про нее.

— Кто, на какое дерево? — сказала Дилси. — Подошла, смотрит на дерево вверх. — Кэдди! — сказала Дилси. Опять ветки закачались.

— Ты, сатана! — сказала Дилси. — Слазь на землю.

— Тс-с, — сказала Кэдди. — Ведь папа не велел шуметь.

Кэддины ноги показались. Дилси дотянулась, сняла ее с дерева.

— А у тебя есть разум? Зачем ты разрешил им сюда? — сказала Дилси.

— А что я мог с ней поделать, — сказал Верш.

— Вы-то почему здесь? — сказала Дилси. — Вам-то кто разрешил?

— Она, — сказала Фрони. — Она позвала нас.

— Да кто вам велел ее слушаться? — сказала Дилси — А ну, марш домой! — Фрони с Ти-Пи уходят. Их не видно, но слышно еще.

— Ночь на дворе, а вы бродите, — сказала Дилси. Взяла меня на руки, и мы пошли к кухне.

— За спиной моей прокрались, — сказала Дилси. — И ведь знают, что давно пора в постель.

— Тс-с, Дилси, — сказала Кэдди. — Тише разговаривай. Нам не велели шуметь.

— Так цыц и не шуми, — сказала Дилси. — А где Квентин?

— Он злится, что ему велели меня слушаться, — сказала Кэдди. — И нам еще надо отдать Ти-Пи бутылку со светляками.

— Обойдется Ти-Пи без светляков, — сказала Дилси. — Иди, Верш, ищи Квентина. Роскус видел, он к сараю шел. — Верш уходит. Верша не видно.

— Они там ничего не делают в гостиной, — сказала Кэдди. — Просто сидят на стульях и глядят.

— Вашей, видно, помощи ждут, — сказала Дилси. Мы повернули кругом кухни.

«Ты куда повернул?» говорит Ластер. «Опять на игроков смотреть? Мы там уже искали. Постой-ка. Обожди минуту. Будь здесь и чтоб ни с места, пока я сбегаю домой за тем мячом. Я одну штуку надумал».

В окне кухни темно. Деревья чернеют в небе. Из-под крыльца Дэн вперевалку, небольно хватает за ногу. Я пошел за кухню, где луна. Дэн за мной.

— Бенджи! — сказал Ти-Пи в доме.

Дерево в цветах у окна гостиной не чернеет, а толстые деревья черные все. Трава под луной стрекочет, по траве идет моя тень.

— Эй, Бенджи! — сказал Ти-Пи в доме. — Куда ты пропал? Во двор подался. Я знаю.

Вернулся Ластер. «Стой», говорит. «Не ходи. Туда нельзя. Там в гамаке мис Квентина с кавалером. Пройдем здесь. Поворачивай назад, Бенджи!»

Под деревьями темно. Дэн не пошел. Остался, где луна. Стало видно гамак, и я заплакал.

«Вернись лучше, Бенджи», говорит Ластер. «А то мис Квентина разозлится».

В гамаке двое, потом один. Кэдди идет быстро, белая в темноте.

— Бенджи! — говорит она. — Как это ты из дому убежал? Где Верш?

Обняла меня руками, я замолчал, держусь за платье, тяну ее прочь.

— Что ты, Бенджи? — сказала Кэдди. — Ну зачем? Ти-Пи, — позвала она.

Тот, в гамаке, поднялся, подошел, я заплакал, тяну Кэдди за платье.

— Бенджи, — сказала Кэдди. — Это Чарли. Ты ведь знаешь Чарли.

— А где нигер, что смотрит за ним? — сказал Чарли. — Зачем его пускают без присмотра?

— Тс-с, Бенджи, — сказала Кэдди. — Уходи, Чарли. Ты ему не нравишься. — Чарли ушел, я замолчал. Тяну Кэдди за платье.

— Ну, что ты, Бенджи? — сказала Кэдди. — Неужели мне нельзя посидеть здесь, поговорить с Чарли?

— Нигера позови, — сказал Чарли. Опять подходит. Я заплакал громче, тяну Кэдди за платье.

— Уходи, Чарли, — сказала Кэдди. Чарли подошел, берется за Кэдди руками. Я сильнее заплакал.

Громко.

— Нет, нет, — сказала Кэдди. — Нет. Нет.

— Он все равно немой, — сказал Чарли. — Кэдди.

— Ты с ума сошел, — сказала Кэдди. Задышала. — Немой, но не слепой. Пусти. Не надо. — Кэдди вырывается. Оба дышат. — Прошу тебя, прошу, — Кэдди шепотом.

— Прогони его, — сказал Чарли.

— Ладно, — сказала Кэдди. — Пусти!

— А прогонишь? — сказал Чарли.

— Да, — сказала Кэдди. — Пусти. — Чарли ушел. — Не плачь, — сказала Кэдди. — Он ушел. — Я замолчал. Она дышит громко, и грудь ее ходит.

— Придется отвести его домой, — сказала Кэдди. Взяла мою руку. — Я сейчас, — шепотом.

— Не уходи, — сказал Чарли. — Нигера позовем.

— Нет, — сказала Кэдди. — Я вернусь. Идем, Бенджи.

— Кэдди! — Чарли громко шепотом. Мы уходим. — Вернись, говорю! — Мы с Кэдди бегом. — Кэдди! — Чарли вслед. Вбежали под луну, бежим к кухне.

— Кэдди! — Чарли вслед.

Мы с Кэдди бежим. По ступенькам на веранду,

и Кэдди присела в темноте, обняла меня. Она слышно дышит, грудь ее ходит об мою.

— Не буду, — говорит Кэдди. — Никогда не буду больше. Бенджи, Бенджи. — Заплакала, я тоже, мы держим друг друга. — Тихо, Бенджи, — сказала Кэдди. — Тихо. Никогда не буду больше. — И я перестал. Кэдди встала, и мы вошли в кухню, зажгли свет, и Кэдди взяла кухонное мыло, моет рот под краном, крепко трет. Кэдди пахнет деревьями.

«Сколько раз тебе сказано было, нельзя сюда», говорит Ластер. В гамаке привстали быстро. Квентина прическу руками. На нем галстук красный.

«Ах ты, противный идиот несчастный», говорит Квентина. «А ты его нарочно за мной повсюду водишь. Я сейчас Дилси скажу, она тебя ремнем».

— Да что я мог поделать, когда он прется, — говорит Ластер. — Поворачивай, Бенджи.

— Мог, мог, — говорит Квентина. — Только не хотел. Вдвоем за мной подсматривали. Это бабушка вас подослала шпионить? — Соскочила с гамака. — Только не убери его сию минуту, только сунься с ним сюда еще раз, и я пожалуюсь, и Джейсон тебя выпорет.

— Мне с ним не справиться, — говорит Ластер. —

Попробовали б сами, тогда б говорили.

— Заткнись, — говорит Квентина. — Вы уберетесь отсюда или нет?

— Да пускай себе, — говорит тот. На нем галстук краснеет. На галстуке — солнце. — Эй, Джек! Глянь сюда! — Зажег спичку и в рот себе. Вынул изо рта. Она еще горит. — А ну-ка ты попробуй так! — говорит он. Я подошел. — Открой рот! — Я открыл. Квентина ударила спичку рукой, ушла спичка.

— Ну тебя к чертям! — говорит Квентина. — Хочешь, чтоб он развылся? Ему ведь только начать — и на весь день. Я сейчас на них Дилси пожалуюсь. — Ушла, убежала.

— Вернись, крошка, — говорит тот. — Не ходи. Мы его дрессировать не станем.

Квентина бежит к дому. За кухню завернула.

— Ай-ай, Джек, — говорит тот. — Натворил ты дел.

— Да он не понимает, что вы ему сказали, — говорит Ластер. — Он глухонемой.

— Да ну, — говорит тот. — И давно это?

— Ровно тридцать три сегодня стукнуло, — говорит Ластер. — Он с рожденья дурачок. А вы не артист будете?

— А что? — говорит тот.

— Да я вас вроде раньше в нашем городе не видал, — говорит Ластер.

— Ну и что? — говорит тот.

— Ничего, — говорит Ластер. — Я сегодня на представление пойду.

Тот смотрит на меня.

— А вы не тот самый будете, что на пиле играет? — говорит Ластер.

— Купишь билет — узнаешь, — говорит тот. На меня смотрит. — Такого надо взаперти держать, — говорит. — Чего ты с ним сюда приперся?

— Я тут ни при чем, — говорит Ластер. — Мне с ним не справиться. Я вот хожу и монету ищу — потерял, и не на что теперь билет купить. Прямо хоть оставайся дома. — Смотрит на землю. — У вас не найдется случайно четверть доллара? — говорит Ластер.

— Нет, — говорит тот. — Не найдется случайно.

— Придется искать ту монету, — говорит Ластер. Сунул руку в карман. — А мячик купить тоже не хочете?

— Какой мячик? — говорит тот.

— Для гольфа, — говорит Ластер. — Всего за четверть доллара.

— На что он мне? — говорит тот. — Что я с ним

буду делать?

— Так я и думал, — говорит Ластер. — Пошли, башка ослиная, — говорит он. — Пошли смотреть, как мячики гоняют. Гляди, я тебе игрушку нашел. На, держи вместе с дурманом. — Ластер поднял, дал мне. Она блестит.

— Где ты взял эту коробочку? — говорит тот. Галстук краснеет на солнце.

— Под кустом тут, — говорит Ластер. — Я подумал, твоя монета.

Тот подошел, забрал.

— Не реви, — говорит Ластер. — Он посмотрит и отдаст.

— «Агнесса», «Мейбл», «Бекки»,[3] — говорит тот. На дом поглядел.

— Тихо, — говорит Ластер. — Он сейчас отдаст.

Тот отдал мне, я замолчал.

— Кто у нее тут был вчера? — говорит тот.

— Не знаю, — говорит Ластер. — Они тут каждый вечер, когда ей можно из окна по дереву спуститься. Их не уследишь.

— Один все ж оставил следок, — говорит тот. На дом посмотрел. Пошел лег в гамак. — Топайте

---

[3] КОММЕНТАРИИ: 3

Агнесса", «Мейбл», «Бекки» — название мужских презервативов, продававшихся в жестяных коробках. Крышку от такой коробки и поднял с земли Ластер.

отсюда. Не действуйте на нервы.

— Пошли, — говорит Ластер. — Наделал ты делов. Пошли, пока мис Квентина на тебя там жалуется.

Идем к забору, смотрим в просветы цветов. Ластер ищет в траве.

— Вот в этом кармане лежала, — говорит он. Флажок полощется, и солнце косо на широкий луг.

— Сейчас пройдет кто-нибудь здесь, — говорит Ластер. — Да не те — те игроки прошли уже. Нука, помоги искать.

Идем вдоль забора.

— Кончай выть, — говорит Ластер. — Раз не идут, не заставишь же их силой! Обождать надо минуту. Глянь-ка. Вон показались.

Я иду вдоль забора к калитке, где с сумками проходят школьницы.

— Эй, Бенджи! — говорит Ластер. — Назад!

«Ну, что толку торчать там, глядеть на дорогу», сказал Ти-Пи. «Мис Кэдди далеко теперь от нас. Вышла замуж и уехала. Что толку держаться за калитку там и плакать? Она же не услышит».

«Чего ему надо?» сказала мама. «Поразвлекай его, Ти-Пи, пусть замолчит».

«Да он к воротам хочет, глядеть на дорогу», сказал Ти-Пи.

«Вот этого как раз нельзя», сказала мама. «На дворе дождь. Неужели ты не можешь поиграть с ним, чтобы он замолчал? Прекрати, Бенджамин».

«Не замолчит он ни за что», сказал Ти-Пи. «Он думает, если стоять у калитки, то мис Кэдди вернется».

«Вздор какой», сказала мама.

Мне слышно, как они разговаривают. Я вышел за дверь, и их уже не слышно, и я иду к калитке, где с сумками проходят школьницы. Быстро проходят, смотрят на меня, повернув лица. Я сказать хочу, но они уходят, я иду забором и хочу сказать, а они все быстрей. Вот бегом уже, а забор кончился, мне дальше некуда идти, я держусь за забор, смотрю вслед и хочу выговорить.

— Бенджи! — говорит Ти-Пи. — Ты зачем из дома убегаешь? Захотел, чтоб Дилси выпорола?

— Что толку тебе выть там и мычать через забор, — говорит Ти-Пи. — Детишек только напугал. Видишь, на ту сторону от тебя перебежали.

«Как это он открыл калитку?» сказал папа. «Неужели ты, Джейсон, не запер на щеколду за собой, когда входил?»

«Конечно, запер», сказал Джейсон. "Что я, дурак? Или, по-вашему, я хотел, чтобы такое стряслось? В нашей семье и без того веселые дела. Я так и знал — добром не кончится. Теперь-то вы уж, я думаю, отошлете его в Джексон.[4] Если только миссис Берджес его раньше не пристрелит..."

«Замолчи ты», сказал папа.

«Я так и знал все время», сказал Джейсон.

Я тронул калитку — не заперта, и я держусь за нее, смотрю в сумерки, не плачу. Школьницы проходят сумерками, и я хочу, чтоб все на место. Я не плачу.

— Вон он.

Остановились.

— Ему за ворота не выйти. И потом — он смирный. Пошли!

— Боюсь. Я боюсь. Пойду лучше той стороной.

— Да ему за ворота не выйти.

Я не плачу.

— Тоже еще зайчишка-трусишка. Пошли!

Идут сумерками. Я не плачу, держусь за калитку. Подходят небыстро.

— Я боюсь.

---

[4] КОММЕНТАРИИ: 4

отошлете его в Джексон. — В столице штата Миссисипи городе Джексоне находился государственный сумасшедший дом.5

— Он не тронет. Я каждый день тут прохожу. Он только вдоль забора бегает.

Подошли. Открыл калитку, и они остановились, повернулись. Я хочу сказать, поймал ее, хочу сказать, но закричала, а я сказать хочу, выговорить, и яркие пятна перестали, и я хочу отсюда вон. Сорвать с лица хочу, но яркие опять поплыли. Плывут на гору и к обрыву, и я хочу заплакать. Вдохнул, а выдохнуть, заплакать не могу и не хочу с обрыва падать — падаю — в вихрь ярких пятен.

«Гляди сюда, олух!» говорит Ластер. «Вон подходят. Кончай голосить, подбери слюни».

Они подошли к флажку. Вытащил, ударили, назад вставил флажок.

— Мистер! — сказал Ластер.

Тот обернулся.

— Что? — говорит.

— Вы не купите мячик для гольфа? — говорит Ластер.

— Покажи-ка, — говорит тот. Подошел, и Ластер подал ему мяч через забор.

— Ты где взял? — говорит тот.

— Да нашел, — говорит Ластер.

— Что нашел — понятно, — говорит тот. — Только где нашел? У игроков в сумке?

— Он во дворе у нас валялся, — говорит Ластер. — Я за четверть доллара продам.

— Чужой мяч — продавать? — говорит тот.

— Я его нашел, — говорит Ластер.

— Валяй находи снова, — говорит тот. Положил в карман, уходит.

— Мне на билет нужно, — говорит Ластер.

— Вот как? — говорит тот. Пошел на гладкое. — В сторонку, Кэдди, — сказал. Ударил.

— Тебя не разберешь, — говорит Ластер. — Нету их — воешь, пришли — тоже воешь. А заткнуться ты не мог бы? Думаешь, приятно тебя слушать целый день? И дурман свой уронил. На! — Поднял, отдал мне цветок. — Уже измусолил, хоть новый иди срывай. — Мы стоим у забора, смотрим на них.

— С этим белым каши не сваришь, — говорит Ластер. — Видал, как мячик мой забрал? — Уходят. Мы идем вдоль забора. Дошли до огорода, дальше нам некуда идти. Я держусь за забор, смотрю в просветы цветов. Ушли.

— Ну, чего ты голосишь? — говорит Ластер. — Кончай. Вот мне так есть с чего реветь, а тебе не с чего. На! Зачем роняешь свою травку? Сейчас еще о ней завоешь. — Отдал мне цветок. — Куда поперся?

На траве наши тени. Идут к деревьям впереди нас. Моя дошла первая. Потом и мы дошли, и теней больше нет. В бутылке там цветок. Я свой цветок — туда тоже.

— Взрослый дылда, — говорит Ластер. — С травками в бутылочке играешься. Вот помрет мис Кэлайн — знаешь, куда тебя денут? Мистер Джейсон сказал, отвезут тебя куда положено, в Джексон. Сиди себе там с другими психами, держись хоть весь день за решетки и слюни пускай. Весело тебе будет.

Ластер ударил рукой по цветам, упали из бутылки.

— Вот так тебя в Джексоне, попробуешь только завыть там.

Я хочу поднять цветы. Ластер поднял, и цветы ушли. Я заплакал.

— Давай, — говорит Ластер, — реви! Беда только, что нет причины. Ладно, сейчас тебе будет причина. Кэдди! — шепотом. — Кэдди! Ну, реви же, Кэдди!

— Ластер! — сказала из кухни Дилси. Цветы вернулись.

— Тихо! — говорит Ластер. — Вот тебе твои травки. Смотри! Опять все в точности как было. Кончай!

— Ла-астер! — говорит Дилси.

— Да, мэм, — говорит Ластер. — Сейчас идем! А все из-за тебя. Вставай же. — Дернул меня за руку, я встал. Мы пошли из деревьев. Теней наших нет.

— Тихо! — говорит Ластер. — Все соседи смотрят. Тихо!

— Веди его сюда, — говорит Дилси. Сошла со ступенек.

— Что ты еще ему сделал? — говорит она.

— Я ничего ему не сделал, — говорит Ластер. — Он так просто, ни с чего.

— Нет уж, — говорит Дилси. — Что-нибудь да сделал. Где вы с ним ходили?

— Да там, под деревьями, — говорит Ластер.

— До злобы довели Квентину, — говорит Дилси. — Зачем ты его водишь туда, где она? Ведь знаешь, она не любит этого.

— Занята она больно, — говорит Ластер. — Небось Бенджи ей дядя, не мне.

— Ты, парень, брось нахальничать! — говорит Дилси.

— Я его не трогал, — говорит Ластер. — Он игрался, а потом вдруг взял и заревел.

— Значит, ты его могилки разорял, — говорит Дилси.

— Не трогал я их, — говорит Ластер.

— Ты мне, сынок, не лги, — говорит Дилси. Мы взошли по ступенькам в кухню. Дилси открыла дверцу плиты, поставила около стул, я сел. Замолчал.

«Зачем вам было ее будоражить?» сказала Дилси. «Зачем ты с ним туда ходила?»

«Он сидел тихонько и на огонь смотрел», сказала Кэдди. «А мама приучала его отзываться на новое имя. Мы вовсе не хотели, чтоб она расплакалась».

«Да уж хотели не хотели», сказала Дилси. «Тут с ним возись, там-с ней. Не пускай его к плите, ладно? Не трогайте тут ничего без меня».

— И не стыдно тебе дразнить его? — говорит Дилси. Принесла торт на стол.

— Я не дразнил, — говорит Ластер. — Он играл своими травками в бутылке, вдруг взял и заревел. Вы сами слыхали.

— Скажешь, ты цветов его не трогал, — говорит Дилси.

— Не трогал, — говорит Ластер. — На что мне его травки. Я свою монету искал.

— Потерял-таки ее, — говорит Дилси. Зажгла свечки на торте. Одни свечки тонкие. Другие толстые, кусочками куцыми. — Говорила я тебе,

спрячь. А теперь, значит, хочешь, чтоб я другую выпросила для тебя у Фрони.

— Хоть Бенджи, хоть разбенджи, а на артистов я пойду, — говорит Ластер. — Мало днем, так, может, еще ночью с ним возись.

— На то ты к нему приставлен, — говорит Дилси. — Заруби себе это на носу, внучек.

— Да я и так, — говорит Ластер. — Что он захочет, все делаю. Правда, Бендя?

— Вот так-то бы, — говорит Дилси. — А не доводить его, чтоб ревел на весь дом, досаждал мис Кэлайн. Давайте лучше ешьте торт, пока Джейсон не пришел. Сейчас привяжется, даром что я этот торт купила на собственные деньги. Попробуй спеки здесь, когда он каждому яичку счет ведет. Не смей дразнить его тут без меня, если хочешь пойти на артистов.

Ушла Дилси.

— Слабо тебе свечки задуть, — говорит Ластер. — А смотри, как я их. — Нагнулся, надул щеки. Свечки ушли. Я заплакал. — Кончай, — говорит Ластер. — Вон смотри, какой в плите огонь. Я пока торт нарежу.

Слышно часы, и Кэдди за спиной моей, и крышу слышно. «Льет и льет», сказала Кэдди. «Ненавижу дождь. Ненавижу все на свете». Голова ее легла

мне на колени. Кэдди плачет, обняла меня руками, и я заплакал. Потом опять смотрю в огонь, опять поплыли плавно яркие. Слышно часы, и крышу, и Кэдди.

Ем кусок торта. Ластера рука пришла, взяла еще кусок. Слышно, как он ест. Смотрю в огонь. Длинная железка из-за плеча у меня протянулась к дверце, и огонь ушел. Я заплакал.

— Ну, чего завыл? — говорит Ластер. — Глянька. — Огонь опять на месте. Я молчу. — Сидел бы себе, на огонь глядя, и молчал бы, как мэмми велела, так нет, — говорит Ластер. — И не стыдно тебе. На. Вот тебе еще кусок.

— Ты что ему тут сделал? — говорит Дилси. — Зачем ты его обижаешь?

— Да я же стараюсь, чтоб он замолчал и не досаждал мис Кэлайн, — говорит Ластер. — Он опять ни с чего заревел.

— Знаю я это твое ни с чего, — говорит Дилси. — Вот приедет Верш, он тебя поучит палкой, чтоб не озоровал. Ты с утра сегодня палки просишь. Водил его к ручью?

— Нет, мэм, — говорит Ластер. — Мы весь день со двора никуда, как было велено.

Рука его пришла за новым куском. Дилси по руке ударила.

— Протяни опять попробуй, — говорит Дилси. — Я ее вот этим резаком оттяпаю. Он, верно, ни куска еще не съел.

— Еще как съел, — говорит Ластер. — Я себе один, ему два. Пускай сам скажет.

— Попробуй только взять еще, — говорит Дилси. — Протяни только руку.

«Так, так», сказала Дилси. «Теперь, верно, мой черед расплакаться. Надо же и мне похлюпать над бедным Мори».

«Его Бенджи теперь зовут», сказала Кэдди.

«А зачем?» сказала Дилси. «Что, старое, родимое его имя сносилось уже, не годится?»

«Бенджамин — это из Библии»[5], сказала Кэдди. «Оно ему лучше подходит, чем Мори».

«А чем оно лучше?» сказала Дилси.

«Мама сказала, что лучше».

«Придумали тоже», сказала Дилси. «Новое имя ему не поможет. А старое не навредит. Имена

---

[5] КОММЕНТАРИИ: 5

Бенджамин — это из Библии… — Имеется в виду Вениамин, младший сын Иакова и единоутробный брат Иосифа. Здесь и далее обыгрывается библейская легенда об Иосифе, проданном братьями в Египет и ставшем ближайшим советником фараона. Когда в голодный год все братья Иосифа, кроме Вениамина, оставшегося с отцом, пришли в «землю Египетскую за хлебом», не узнанный ими Иосиф отослал их обратно в Ханаан за Вениамином, задержав одного из братьев, Симеона, как заложника. Через некоторое время братья привели Вениамина, и Иосиф открылся им: «И пал он на шею Вениамину, брату своему, и плакал; и Вениамин плакал на шее его».

менять — счастья не будет. Дилси я родилась, и так оно и останется Дилси, когда меня давно уж позабудут все».

«Как же оно останется, когда тебя позабудут, а, Дилси?» сказала Кэдди.

«Оно, голубка, в Книге останется»[6], сказала Дилси. «Там записано».

«А ты же не умеешь читать», сказала Кэдди.

«Мне читать не надо будет», сказала Дилси. "За меня прочтут. Мне — только отозваться: «Здесь я».

Из-за плеча к дверце опять длинная железка, и огонь ушел. Я заплакал.

Дилси с Ластером дерутся.

— Ну нет, попался! — говорит Дилси. — Ну уж нет, я видела! — Вытащила Ластера из угла, трясет его. — Так вот оно какое — твое ни с чего! Погоди, приедет твой отец. Была б я помоложе, я б тебе уши с корнем оторвала. Вот запру в погреб на весь вечер, будет тебе вместо артистов. Увидишь, запру.

— Ой, мэмми! — говорит Ластер. — Ой, мэмми!

Я тяну руку туда, где был огонь.

---

[6] КОММЕНТАРИИ: 6

в Книге останется... — то есть в Книге Жизни, согласно записям в которой должны судить мертвых на Страшном суде. Тех, кто не записан в книгу, ожидает вторая смерть.

— Не пускай его! — сказала Дилси. — Пальцы сожжет!

Моя рука отдернулась, я в рот ее. Дилси схватила меня. Когда нет моего голоса, мне и сейчас часы слышно. Дилси повернулась к Ластеру, хлоп его по голове. Мой голос опять громко и опять.

— Соду подай! — говорит Дилси. Вынула мне руку изо рта. Голос мой громко. Дилси сыплет соду на руку мне.

— Там на гвозде в кладовке тряпка, оторви полосу, — говорит она. — Тш-ш-ш. А то мама опять заболеет от твоего плача. Гляди-ка лучше на огонь. Дилси руку полечит, рука в минуту перестанет. Смотри, огонь какой! — Открыла дверцу плиты. Я смотрю в огонь, но рука не перестает, и я тоже. Руке в рот хочется, но Дилси держит.

Обвязала руку тряпкой. Мама говорит:

— Ну, что тут опять с ним? И болеть не дадут мне спокойно. Двое взрослых негров не могут за ним присмотреть, я должна вставать с постели и спускаться к нему успокаивать.

— Уже все прошло, — говорит Дилси. — Он сейчас замолчит. Просто обжег немного руку.

— Двое взрослых негров не могут погулять с ним, чтобы он не орал в доме, — говорит мама. — Вы знаете, что я больна, и нарочно его заставляете

плакать. — Подошла ко мне, стоит. — Прекрати, — говорит. — Сию минуту прекрати. Ты что, потчевала его этим?

— В этом торте Джейсоновой муки нету, — говорит Дилси. — Я его на свои в лавке купила. Именины Бенджи справила.

— Ты его отравить захотела этим лавочным дешевым тортом, — говорит мама. — Не иначе. Будет ли у меня когда-нибудь хоть минута покоя?

— Вы идите обратно к себе наверх, — говорит Дилси. — Рука сейчас пройдет, он перестанет. Идемте, ляжете.

— Уйти и оставить его вам здесь на растерзание? — говорит мама. — Разве можно спокойно там лежать, когда он здесь орет? Бенджамин! Сию минуту прекрати.

— А куда с ним денешься? — говорит Дилси. — Раньше хоть на луг, бывало, уведешь, пока не весь был проданный. Не держать же его во дворе у всех соседей на виду, когда он плачет.

— Знаю, знаю, — говорит мама. — Во всем моя вина. Скоро уж меня не станет, без меня и тебе будет легче, и Джейсону. — Она заплакала.

— Ну, будет вам, — говорит Дилси, — не то опять расхвораетесь. Идемте лучше, ляжете. А его

я с Ластером отправлю в кабинет, пусть там себе играют, пока я ему ужин сготовлю.

Дилси с мамой ушли из кухни.

— Тихо! — говорит Ластер. — Кончай. А то другую руку обожгу. Ведь не болит уже. Тихо!

— На вот, — говорит Дилси. — И не плачь. — Дала мне туфельку, я замолчал. — Иди с ним в кабинет. И пусть только я опять услышу его плач — своими руками тебя выпорю.

Мы пошли в кабинет. Ластер зажег свет. Окна черные стали, а на стену пришло то пятно, высокое и темное, я подошел, дотронулся. Оно как дверь, но оно не дверь.

Позади меня огонь пришел, я подошел к огню, сел на пол, держу туфельку. Огонь вырос. Дорос до подушечки в мамином кресле.

— Тихо ты, — говорит Ластер. — Хоть ненамного замолчи. Вон я тебе огонь разжег, а ты и смотреть не хочешь.

«Тебя теперь Бенджи зовут», сказала Кэдди. «Слышишь? Бенджи. Бенджи».

«Не коверкай его имя», сказала мама. «Подойди с ним ко мне».

Кэдди обхватила меня, приподняла.

«Вставай, Мо… то есть Бенджи», сказала она.

«Не смей его таскать», сказала мама. «За руку

взять и к креслу подвести — на это у тебя уже не хватает соображения».

«Я его и на руках могу», сказала Кэдди. — Можно, Дилси, я его на руках снесу наверх?

— Еще чего, крохотка, — сказала Дилси. — Да тебе и блохи не поднять туда. Идите тихонько, как велел мистер Джейсон.

На лестнице наверху свет. Там папа в жилетке стоит. На лице у него: «Тихо!» Кэдди шепотом:

— Что, мама нездорова?

Верш спустил меня на пол, мы пошли в мамину комнату. Там огонь — растет и падает на стенах. А в зеркале другой огонь. Пахнет болезнью. Она у мамы на лбу — тряпкой белой. На подушке мамины волосы. До них огонь не дорастает, а на руке горит, и прыгают мамины кольца.

— Идем, спокойной ночи скажешь маме, — сказала Кэдди. Мы идем к кровати. Огонь ушел из зеркала. Папа встал с кровати, поднял меня к маме, она положила руку мне на голову.

— Который час? — сказала мама. Глаза ее закрыты.

— Без десяти семь, — сказал папа.

— Его еще рано укладывать, — сказала мама. — Опять он проснется чуть свет, и повторится как сегодня, и это меня доконает.

— Полно тебе, — сказал папа. Дотронулся до маминого лица.

— Я знаю, что я только в тягость тебе, — сказала мама. — Но скоро уж меня не станет, и ты вздохнешь свободно.

— Ну перестань, — сказал папа. — Я сойду с ним вниз. — Взял меня на руки. — Пошли, старина, посидим пока внизу. Только не шуметь: Квентин готовит уроки.

Кэдди подошла, наклонилась лицом над кроватью, и мамина рука пришла, где огонь. Играют ее кольца на спине у Кэдди.

«Мама нездорова», сказал папа. «Дилси вас уложит. А где Квентин?»

«Верш пошел за ним», сказала Дилси.

Папа стоит и смотрит, как мы проходим. Слышно маму там, в маминой комнате. «Тс-с», говорит Кэдди. Джейсон еще идет по лестнице. Руки в карманах.

— Ведите себя хорошо, — сказал папа. — Не шумите, не тревожьте маму.

— Мы не будем шуметь, — сказала Кэдди. — Нельзя шуметь, Джейсон, — сказала она. Мы идем на цыпочках.

Слышно крышу. Огонь видно и в зеркале. Кэдди опять подняла меня.

— Идем, поднесу тебя к маме, — сказала. — А после вернемся к огню. Не плачь.

— Кэндейси, — сказала мама.

— Не плачь, Бенджи, — сказала Кэдди. — Мама зовет на минутку. Ты же хороший мальчик. А потом вернемся.

Опустила меня, я перестал.

— Пусть он посидит тут, мама, — сказала Кэдди. — Насмотрится на огонь, а уж после можно будет вам и учить его.

— Кэндейси, — сказала мама. Кэдди нагнулась, подняла меня. Мы шатнулись. — Кэндейси, — сказала мама.

— Не плачь, — сказала Кэдди. — Тебе и сейчас огонь видно. Не плачь.

— Веди его сюда, — сказала мама. — И не смей брать на руки. Он слишком тяжел. Еще позвоночник себе повредишь. Женщины в нашем роду всегда гордились своей осанкой. Хочешь сутулой быть, как прачка.

— Он не тяжелый, — сказала Кэдди. — Я его и на руках могу носить.

— А я запрещаю тебе, — сказала мама. — Пятилетнего ребенка на руках таскать. Нет, нет. Только не на колени мне. Поставь его на пол.

— На колени к маме, тогда он замолчал бы, —

сказала Кэдди. — Тс-с, — сказала она. — Сейчас вернемся к огню. Погляди-ка. Вот подушечка твоя на кресле. Видишь?

— Прекрати, Кэндейси, — сказала мама.

— Пусть смотрит — плакать перестанет, — сказала Кэдди. — Приподымитесь чуточку, я вытяну ее. Вот она, Бенджи, смотри!

Я на подушечку смотрю, не плачу.

— Вы ему чересчур потакаете, — сказала мама. — Ты и отец твой. Вы не хотите сознавать, что последствия лягут всей тяжестью на меня. Вот так же бабушка избаловала Джейсона, и пришлось его целых два года отучать. А для Бенджамина у меня уже нет сил.

— Да вы не бойтесь, — сказала Кэдди. — Я люблю с ним нянчиться. Правда, Бенджи?

— Кэндейси, — сказала мама. — Я ведь запретила тебе коверкать его имя. С меня достаточно того, что отец упорно называет тебя этой твоей глупой кличкой, а Бенджамина не позволю. Уменьшительные имена вульгарны. Они в ходу лишь у простонародья. Бенджамин, — сказала мама.

— На меня смотри, — сказала мама.

— Бенджамин, — сказала мама. Взяла мое лицо руками, повернула к себе.

— Бенджамин, — сказала мама. — Убери эту

подушку Кэндейси.

— Он плакать будет, — сказала Кэдди.

— Я сказала: убери подушку, — сказала мама. — Его надо научить слушаться.

Подушечка ушла.

— Тс-с, Бенджи, — сказала Кэдди.

— Отойди от него, сядь вон там, — сказала мама. — Бенджамин. — Держит мое лицо близко к своему. — Прекрати, — сказала. — Замолчи.

Но я не замолчал, мама обняла меня, заплакала, и я плачу. Вернулась подушечка, Кэдди подняла ее над маминой головой, подложила, притянула маму за плечо, и мама легла в кресло, плачет на красной и желтой подушечке.

— Не плачьте, мама, — сказала Кэдди. — Идите лягте в постель и болейте себе там спокойно. Я пойду Дилси позову. — Подвела меня к огню. Смотрю, как гладко плывут яркие. Огонь слышно и крышу.

Папа взял меня на руки. От него пахло дождем.

— Ну как, Бенджи? — сказал папа. — Хорошим был сегодня мальчиком?

Кэдди и Джейсон в зеркале дерутся.

— Кэдди! — сказал папа.

Они дерутся. Джейсон заплакал.

— Кэдди! — сказал папа. Джейсон плачет. Он

больше не дерется, а Кэдди в зеркале дерется, и папа спустил меня с рук, вошел в зеркало и тоже начал. Поднял Кэдди с пола. Она вырывается. Джейсон на полу лежит и плачет. У него в руке ножницы. Папа держит Кэдди.

— Он все Бенджины куклы изрезал, — сказала Кэдди. — Я его самого сейчас изрежу.

— Кэндейси! — сказал папа.

— Вот увидите, — сказала Кэдди. — Вот увидите. — Вырывается. Папа ее держит. Кэдди ногами достать хочет Джейсона. Он откатился в угол, вон из зеркала. Пана к огню пошел с Кэдди. Теперь в зеркале никого, только огонь. Как будто дверь, и огонь за порогом.

— Нельзя драться, — сказал папа. — Вы ведь не хотите, чтобы мама заболела.

Кэдди перестала.

— Он все куклы на кусочки — все, что мы с Мо… с Бенджи из бумаги понаделали. Он это назло.

— Я не назло, — сказал Джейсон. Уже не лежит, сидит на полу, плачет. — Я не знал, что это его куклы. Я думал, просто старые бумажки.

— Еще как знал, — сказала Кэдди. — Ты назло, назло.

— Тише, — сказал папа. — Джейсон, — сказал папа.

— Я тебе другие завтра сделаю, — сказала Кэдди. — Много сделаю кукол. Гляди, вот и подушечка твоя.

Джейсон вошел.

«Сколько раз говорено тебе, кончай!» говорит Ластер.

«Почему шум?» говорит Джейсон.

— Это он просто так, — говорит Ластер. — Он весь день сегодня плачет.

— А ты поменьше лезь к нему, — говорит Джейсон. — Не умеешь успокоить, так ступайте в кухню. Мы не можем все, как матушка, запереться от него по комнатам.

— Мэмми не велела водить его в кухню, пока не кончит ужин стряпать, — говорит Ластер.

— Тогда играй с ним, и пусть будет тихо, — говорит Джейсон. — Целый день гнешь горб, придешь с работы — и тебя встречает сумасшедший дом. — Раскрыл газету, читает.

«Смотри себе в огонь, и в зеркало, и на подушечку тоже», сказала Кэдди. «Не нужно даже ждать до ужина — вот она, твоя подушечка». Слышно крышу. И как Джейсон громко плачет за стеной.

Дилси говорит:

— Садитесь, Джейсон, ужинать. Ты что, обижал тут Бенджи?

— Что вы, мэм! — говорит Ластер.

— А где Квентина? — говорит Дилси. — Я сейчас подам на стол.

— Не знаю, мэм, — говорит Ластер. — Ее здесь не было.

Дилси ушла.

— Квентина! — сказала она в коридоре. — Квентина! Ужинать иди.

Нам слышно крышу. От Квентина тоже пахнет дождем. "А что Джейсон сделал?", сказал Квентин.

«Все куклы Бенджины изрезал», сказала Кэдди.

«Мама велела говорить — Бенджамин», сказал Квентин. Сидит на ковре с нами. «Скорей бы дождь кончился», сказал Квентин. «А то сиди в комнате без дела».

«Ты дрался с кем-то», сказала Кэдди. «Скажешь, нет?»

«Да нет, слегка только» — сказал Квентин.

«Так тебе и поверили», сказала Кэдди. «Папа все равно увидит».

«Ну и пусть», сказал Квентин. «И когда этот дождь кончится».

— Дилси звала меня ужинать? — говорит в дверях Квентина.

— Да, мэм, — говорит Ластер. Джейсон посмот-

рел на Квентину. Опять газету читает. Квентина вошла. — Мэмми сказала, сейчас на стол подаст, — сказал Ластер. Квентина села с размаху в мамино кресло. Ластер сказал:

— Мистер Джейсон.

— Что тебе? — говорит Джейсон.

— Вы мне двадцать пять центов не дадите? — говорит Ластер.

— Зачем тебе? — говорит Джейсон.

— На артистов сегодня, — говорит Ластер.

— Я слышал, Дилси собиралась взять у Фрони тебе на билет, — говорит Джейсон.

— Да она взяла, — говорит Ластер. — Только я потерял монету. Мы с Бенджи целый день проискали. Хоть у Бенджи спросите.

— Вот у него и займи, — говорит Джейсон. — Мне деньги даром не даются. — Читает газету. Квентина смотрит в огонь. Огонь в ее глазах и на губах. Губы красные.

— Это он сам пошел к гамаку, я не пускал, — говорит Ластер.

— Заткнись, — говорит Квентина. Джейсон смотрит на нее.

— Ты забыла, что я обещал сделать, если опять тебя увижу с этим типом из балагана? — говорит Джейсон. Квентина смотрит в огонь. — Может

быть, ты не расслышала?

— Расслышала, — говорит Квентина. — Что же вы не делаете?

— Не беспокойся, — говорит Джейсон.

— И не думаю, — говорит Квентина. Джейсон опять читает газету.

Слышно крышу. Папа нагнулся, смотрит на Квентина.

«Поздравляю», сказал папа. «И кто же победил?»

— Никто, — сказал Квентин. — Нас разняли. Учителя.

— А кто он? — сказал папа. — Если не секрет.

— Все было по-честному, — сказал Квентин. — Он как я ростом.

— Рад слышать, — сказал папа. — А из-за чего у вас, можно узнать?

— Да так, — сказал Квентин. — Он сказал, что положит ей лягушку в стол, а она не высечет его, побоится.

— Вот как, — сказал папа. — Она. И потом, значит…

— Да, сэр, — сказал Квентин. — Потом я его двинул.

Слышно крышу, и огонь, и за дверью сопенье.

— А где бы он в ноябре достал лягушку? — ска-

зал папа.

— Не знаю, сэр, — сказал Квентин.

Опять слышно.

— Джейсон, — сказал папа. Нам слышно Джейсона.

— Джейсон, — сказал папа. — Входи и не сопи там. Нам слышно крышу, и огонь, и Джейсона.

— Перестань, — сказал папа. — Не то опять накажу.

Поднял Джейсона, посадил в кресло рядом. Джейсон всхлипнул. Огонь слышно и крышу. Джейсон всхлипнул погромче.

— Еще только разок посмей, — сказал папа. Слышно огонь и крышу.

«Ну вот», сказала Дилси. «А теперь входите ужинать».

От Верша пахло дождем. И собаками тоже. Слышно огонь и крышу.

Слышно, как Кэдди идет быстро. Папа и мама смотрят на открытую дверь. Кэдди мимо идет быстро. Не смотрит. Быстро идет.

— Кэндейси, — сказала мама. Кэдди перестала идти.

— Да, мама, — сказала.

— Не надо, Кэролайн, — сказал папа.

— Поди-ка сюда, — сказала мама.

— Не надо, Кэролайн, — сказал папа. — Оставь ее в покое.

Кэдди подошла, стала в дверях, смотрит на папу и маму. Потом глаза Кэддины на меня и сразу от меня. Я заплакал. Громко заплакал и встал. Кэдди вошла, стала у стены, смотрит на меня. Я к ней, плача, она прижалась спиной к стене, я увидел ее глаза, заплакал еще громче, тяну за платье. Она упирается руками, а я тяну. Глаза ее бегут от меня.

Верш сказал: "Тебя теперь Бенджамин звать. А зачем это, можешь ты, мне сказать? Из тебя хотят синедёсного сделать.[7] *Мэмми говорит, в старину дед твой одному негру тоже переменил имя, и тот проповедником сделался, а после смотрят — у него и десны синие. Хотя раньше были как у всех. А стоит только чтоб беременная какая синедёсному в глаза поглядела в полнолунье — и ее ребенок тоже будет синедёсный. И когда тут по усадьбе уже с дюжину синедёсных ребятишек бегало, как-то вечером тот проповедник не вернулся домой. Рожки да ножки от него охотники в лесу нашли. А кто его слопал, угадай. Те ребятишки синедёсные".*

---

[7] КОММЕНТАРИИ: 7

синедёсного сделать. — В негритянском фольклоре на Юге США человек с синими деснами — это либо колдун, либо оборотень.

Мы в коридоре. Кэдди все смотрит на меня. Руку держит у рта, а глаза мне видно, и я плачу. Идем по лестнице наверх. Опять стала к стене, смотрит, я плачу, пошла дальше, я за ней, плачу, она к стене прижалась, смотрит на меня. Открыла дверь в комнату к себе, но я тяну ее за платье, и мы идем к ванной, она у двери стала, смотрит на меня. Потом лицо рукой закрыла, а я толкаю ее плача к умывальнику.

«Опять он у тебя плачет», говорит Джейсон. «Зачем ты к нему лезешь?»

«Да я не лезу», говорит Ластер. «Он сегодня весь день так. Ему порку хорошую надо».

«Его надо в Джексон отослать», говорит Квентина. «Просто невозможно жить в этом доме».

«Вам, мадемуазель, у нас не нравится — не живите», говорит Джейсон.

«А я и не собираюсь», говорит Квентина. «Не беспокойтесь».

Верш сказал:

— Посторонись, дай ноги обсушить, — Подвинул меня от огня — И не подымай тут рева. Тебе так тоже видно. Только и делов у тебя, что на огонь смотреть. Под дождем тебе-то мокнуть не приходится Ты и не знаешь, каким счастливчиком родился. — На спину лег перед огнем.

— А знаешь, почему тебе имя сменили? — сказал Верщ. — Мэмми говорит, твоя мамаша слишком гордая, ты ей в стыд.

— Да тише ты, дай ноги обсушить, — сказал Верш. — А то знаешь что сделаю? Успокою ремнем по заднице.

Огонь слышно, и крышу, и Верша.

Верш сел быстро и ноги отдернул. Папа сказал:

— Ну, Верш, приступай.

— Можно, я его сегодня покормлю, — сказала Кэдди. — Он у Верша плачет иногда за ужином.

— Отнеси этот поднос мисс Кэлайн, — сказала Дилси. — И скорей назад — Бенджи кормить.

— А хочешь, тебя Кэдди покормит? — сказала Кэдди.

«И обязательно ему надо эту грязную старую туфлю на стол класть», говорит Квентина. «Как будто нельзя его кормить в кухне. С ним за столом сидеть — все равно что со свиньей».

«Не нравится, как мы едим, — не садись с нами», говорит Джейсон.

От Роскуса пар. Он сидит у плиты. Дверца духовки раскрыта, там Роскуса ноги. От моей мисочки пар. Кэдди мне ложку в рот легко так. Внутри мисочки чернеет щербинка.

«Ну, не злись», говорит Дилси. «Он тебе не будет

больше досаждать».

Суп уже опустился за щербинку. Вот и пустая мисочка. Ушла.

— Он голодный какой, — сказала Кэдди. Мисочка вернулась, щербинки не видно. А теперь видно. — Прямо изголодался сегодня, — сказала Кэдди. — Подумать, сколько съел.

«Как же, не будет он», говорит Квентина. «Все вы тут подсылаете его за мной шпионить. Ненавижу все здесь. Убегу отсюда».

— Дождь на всю ночь зарядил, — сказал Роскус.

«Ты все убегаешь, убегаешь, однако каждый раз к обеду возвращаешься», говорит Джейсон.

«А вот увидите», говорит Квентина.

— Тогда мне и вовсе беда, — сказала Дилси. — Нога разнылась, просто отымается. Весь вечер я по этой лестнице вверх-вниз.

«Что ж, этим ты меня не удивишь», говорит Джейсон. «От таких можно ожидать чего угодно».

Квентина бросила салфетку на стол.

«Помолчите-ка, Джейсон», говорит Дилси. Подошла, обняла Квентину за плечи. «Садись, голубка. И не стыдно ему чужой виной тебе глаза колоть».

— Что она, опять у себя в спальне дуется? — сказал Роскус.

— Помалкивай, — сказала Дилси.

Квентина отпихнула Дилси. Смотрит на Джейсона. У нее губы красные. Смотрит на Джейсона, подняла свой стакан с водой, замахнула назад руку. Дилси руку поймала. Дерутся. Стакан об стол разбился, вода потекла в стол. Квентина убегает.

— Опять мама больна, — сказала Кэдди.

— Еще бы, — сказала Дилси. — Эта погода хоть кого в постель уложит. Когда же ты есть-то кончишь, парень?

«У, проклятый», говорит Квентина. «Проклятый». Слышно, как она бежит по лестнице. Мы в кабинет идем.

Кэдди дала мне подушечку, и можно смотреть на подушечку, и в зеркало, и на огонь.

— Только чур не шуметь, Квентин готовит уроки, — сказал папа. — Ты чем там занят, Джейсон?

— Ничем, — сказал Джейсон.

— Выйди-ка оттуда, — сказал папа.

Джейсон вышел из угла.

— Что у тебя во рту? — сказал папа.

— Ничего, — сказал Джейсон.

— Он опять жует бумагу, — сказала Кэдди.

— Поди сюда, Джейсон, — сказал папа.

Джейсон бросил в огонь. Зашипела, развернулась, чернеть стала. Теперь серая. А теперь ничего не осталось. Кэдди, папа и Джейсон сидят в мамином кресле. Джейсон глаза припухлые жмурит, двигает губами, как жует. Кэддина голова на плече у папы. Волосы ее как огонь, и в глазах огня крупинки, и я пошел, папа поднял меня тоже в кресло, и Кэдди обняла. Она пахнет деревьями.

Она пахнет деревьями. В углу темно, а окно видно. Я присел там, держу туфельку. Мне туфельку не видно, а рукам видно, и я слышу, как ночь настает, и рукам видно туфельку, а мне себя не видно, но рукам видно туфельку, и я на корточках слушаю, как настает темнота.

«Вот ты где», говорит Ластер. «Гляди, что у меня!» Показывает мне. «Угадай, кто дал эту монету? Мис Квентина. Я знал, что все равно пойду на представление. А ты чего здесь прячешься? Я уже хотел во двор идти тебя искать. Мало сегодня навылся, так еще сюда в пустую комнату пришел бормотать и нюнить. Идем уложу спать, а то на артистов опоздаю. Сегодня у меня тут нету времени с тобой возиться. Только они

в трубы затрубят, и я пошел».

Мы не в детскую пришли.

— Здесь мы только корью болеем, — сказала Кэдди. — А почему сегодня нельзя в детской?

— Как будто не все вам равно, где спать, — сказала Дилси. Закрыла дверь, села меня раздевать. Джейсон заплакал. — Тихо, — сказала Дилси.

— Я с бабушкой хочу спать, — сказал Джейсон.

— Она больна, — сказала Кэдди. — Вот выздоровеет, тогда спи себе. Правда, Дилси?

— Тихо! — сказала Дилси. Джейсон замолчал.

— Тут и рубашки наши, и все, — сказала Кэдди. — Разве нас насовсем сюда?

— Вот и надевайте их быстрей, раз они тут, — сказала Дилси. — Расстегивай Джейсону пуговки.

Кэдди расстегивает. Джейсон заплакал.

— Ой, выпорю, — сказала Дилси. Джейсон замолчал.

«Квентина», сказала мама в коридоре.

«Что?» сказала за стеной Квентина. Слышно, как мама закрыла дверь на ключ. Заглянула в нашу дверь, вошла, нагнулась над кроватью, меня в лоб поцеловала.

«Когда уложишь Бенджамина, сходишь узнаешь у Дилси, не затруднит ли ее приготовить мне

грелку», говорит мама. «Скажешь ей, что если затруднит, то я обойдусь и без грелки. Я просто хочу знать».

«Слушаю, мэм», говорит Ластер. «Ну, давай штаны скидай».

Вошли Квентин и Верш. Квентин лицо отворачивает.

— Почему ты плачешь? — сказала Кэдди.

— Тш-ш-ш! — сказала Дилси. — Раздевайтесь поживей. А ты, Верш, иди теперь домой.

Я раздетый, посмотрел на себя и заплакал. «Тихо!» говорит Ластер. «Нету их у тебя, хоть смотри, хоть не смотри. Укатились. Перестань, а то не устроим, тебе больше именин». Надевает мне халат. Я замолчал, а Ластер вдруг стал, повернул к окну голову. Пошел к окну, выглянул. Вернулся, взял меня за руку. «Гляди, как она слазит», говорит Ластер. «Только тихо». Подошли к окну, смотрим. Из Квентинина окна вылезло, перелезло на дерево. Ветки закачались вверху, потом внизу. Сошло с дерева, уходит по траве. Ушло. «А теперь в постель», говорит Ластер. «Да поворачивайся ты! Слышишь, затрубили! Ложись, пока просят по-хорошему».

Кроватей две. На ту лег Квентин. Лицом повернулся к стене. Дилси кладет к нему Джейсона.

Кэдди сняла платье.

— Ты погляди на панталончики свои, — сказала Дилси. — Твое счастье, что мама не видит.

— Я уже сказал про нее, — сказал Джейсон.

— Ты, да не скажешь, — сказала Дилси.

— Ну и что, похвалили тебя? — сказала Кэдди. — Ябеда.

— А что, может, высекли? — сказал Джейсон.

— Что ж ты не переодеваешься в рубашку, — сказала Дилси. Пошла сняла с Кэдди лифчик и штанишки. — Ты погляди на себя, — сказала Дилси. Свернула штанишки, трет ими у Кэдди сзади. — Насквозь пропачкало. А купанья сегодня не будет. — Надела на Кэдди рубашку, и Кэдди забралась в постель, а Дилси пошла к двери, подняла руку свет гасить. — И чтоб ни звука, слышите! — сказала Дилси.

— Хорошо, — сказала Кэдди. — Сегодня мама не придет сказать «спокойной ночи». Значит, меня и дальше надо слушаться.

— Да-да, — сказала Дилси. — Ну, спите.

— Мама нездорова, — сказала Кэдди. — Они с бабушкой обе больны.

— Тш-ш-ш, — сказала Дилси. — Спите.

Комната стала черная вся, кроме двери. А теперь и дверь черная. Кэдди сказала: «Тс-с, Мори»,

положила руку на меня. И я лежу тихо. Слышно нас. И слышно темноту.

Темнота ушла, папа смотрит на нас. На Квентина смотрит и Джейсона, подошел, поцеловал Кэдди, погладил мне голову.

— Что, мама очень нездорова? — сказала Кэдди.

— Нет, — сказал папа. — Смотри, чтобы Мори не упал.

— Хорошо, — сказала Кэдди.

Папа пошел к двери, опять смотрит на нас. Темнота вернулась, он стоит черный в дверях, а вот и дверь опять черная. Кэдди держит меня, мне слышно нас и темноту, и чем-то пахнет в доме. Вот окна стало видно, там шумят деревья. А вот и темнота вся пошла плавными, яркими, как всегда, и даже когда Кэдди говорит, что я спал.

2 июня 1910 года

Тень от оконной поперечины легла на занавески — восьмой час, и снова я во времени и слышу тиканье часов. Часы эти дедовы, отец дал их мне со словами: "Дарю тебе, Квентин, сию гробницу всех надежд и устремлений; не лишено язвительной уместности то, что ты будешь пользоваться этими часами, постигая общечеловеческий опыт reducto absurdum[8], способный удовольствовать твои собственные нужды столь же мало, как нужды твоих деда и прадеда. Дарю не с тем, чтобы ты блюл время, а чтобы хоть иногда забывал о нем на миг-другой и не тратил весь свой пыл, тщась подчинить его себе. Ибо победить не дано человеку, — сказал он. — Даже и сразиться не дано. Дано лишь осознать на поле брани безрассудство свое и отчаянье; победа же — иллюзия философов и дураков".

Часы прислонены к коробке с воротничками, и я лежу, их слушаю. Слышу то есть. Вряд ли кто станет со вниманием слушать ход часов. Незачем это. Можно надолго отвлечься, а затем одно

---

[8] КОММЕНТАРИИ: 8
Здесь: сведенный к нелепости (лат.).

«тик-так» враз выстроит в уме всю убывающую в перспективе вереницу нерасслышанных секунд. Похожую на длинный, одиноко легший на воду световой луч, которым (по словам отца) впору шествовать Христу. И добрейшему святому Франциску, называвшему смерть Маленькой Сестрой,[9] а сестры-то у него не было.

За стеной Шрив скрипнул пружинами кровати, зашуршали его шлепанцы по полу. Я поднялся, подошел к столику, скользнул рукой к часам, повернул их циферблатом вниз, опять лег. Но тень от поперечины осталась, а я по ней определяю время чуть не до минуты, и пришлось повернуться спиной, и сразу зачесались глаза на затылке, какие были у животных раньше, когда кверху затылком ползали. С бездельными привычками

---

[9] КОММЕНТАРИИ: 9

святому Франциску, называвшему смерть Маленькой Сестрой… — реминисценция из «Гимна солнцу» святого Франциска Ассизского (1182–1226), который был известен Фолкнеру по переводу английского поэта и критика Мэтью Арнольда (1822–1888). В гимне воздается хвала творениям божьим — «брату Солнцу», ибо «он лучист и есть прообраз твой, Всевышний» (ср. в тексте романа образ Христа, шествующего по световому лучу), земле, воде и, наконец, смерти:

> *Хвала Тебе, о мой Господь, и за сестру нашу — телесную смерть,*
>
> *От нее не спасется ни один живущий,*
>
> *Горе тому, кто ею в грехах смертных будет найден.*
>
> *Но блажен, кто всю жизнь творил благо и милость,*
>
> *Смерть не принесет ему ничего худого.*

(Цит. по кн.: Франциск Ассизский. М., 1915, с. 34.) «Гимн солнцу» вместе с монологом Макбета следует считать важнейшими «подтекстами» романа, вводящими его основные темы и символы-лейтмотивы.

расстаться труднее всего, говорит отец. И что Христос не распят был, а стерт на нет крохотным пощелкиваньем часовых колесиков. А сестры у него не было.

Только ведь отвернулся от часов — и тут же захотелось поглядеть, который час. Отец говорит, этот постоянный зуд насчет положения стрелок на том или ином циферблате — простой симптом работы мозга. Выделение вроде пота. Ну и ладно, скажу я. Зуди. Хоть до завтра.

Если б не солнце, можно бы думать про его слова о бездельных привычках, повернувшись к окну. И про то, что им неплохо будет там, в Нью-Лондоне[10], если погода продержится. А зачем ей меняться? Месяц невест, глас, над Эдемом прозвучавший.[11] *Она бегом из зеркала из гущи аромата. Розы. Розы. Мистер и миссис Джейсон Ричмонд Томпсон извещают о свадьбе их доче* Кизил молочай — те непорочны. Не то что розы. Я сказал: Отец я совершил кровосмешение. Розы. Лукавые, невозмутимые. Если студент проучился год в Гарвардском, но не присутствовал на

---

[10] КОММЕНТАРИИ: 10

Нью-Лондон — приморский город в штате Конненктикут.

[11] КОММЕНТАРИИ: 11

глас, над Эдемом прозвучавший… — строка из свадебного гимна на стихи английского поэта Джона Кебла (1792–1866).

гребных гонках, то плату за обучение обязаны вернуть. Отдайте Джейсону. Пусть проучится год в Гарвардском.

Шрив стоит в дверях, надевает воротничок, очки блестят румяно, будто умытые вместе с лицом.

— Решил сегодня отдохнуть?

— Разве поздно уже?

Вынул свои часы, смотрит.

— Через две минуты звонок.

— А я думал, еще рано. — Шрив смотрит на часы круглит губы. — Тогда мне надо вскакивать скорей. Больше нельзя пропускать. Декан меня на прошлой неделе предупредил… — Вложил часы в кармашек наконец. И я замолчал.

— Так надевай штаны — и рысью, — сказал Шрив. И вышел.

Я встал, задвигался по комнате, прислушиваясь к Шриву за стенкой. Он прошел в нашу общую комнату к дверям идет.

— Готов ты там?

— Нет еще. Ты беги. Я следом.

Шрив вышел. Дверь закрыл. Шаги уходят коридором. Вот и опять часы слышно. Я прекратил возню, подошел к окну, раздвинул занавески, стал смотреть, как бегут на молитву — все те же,

и все та же ловля рукавов пиджачных на лету, и учебники те же, и незастегнутые воротнички, — несутся мимо, как щепки в половодье, и Споуд тут же. Он Шрива называет моим мужем. Да отстань ты от Квентина (Шрив ему), кому какое дело, если у него ума хватает не гоняться за шлюшонками. У нас на Юге стыдятся быть девственником. Подростки. И взрослые. Лгут почем зря. А оттого, сказал отец, что для женщин оно меньше значит. Девственность ведь выдумка мужская, а не женская. Это как смерть, говорит, — перемена, ощутимая лишь для других. А я ему: но неужели же это ничего не значит? А он в ответ: и это, и все прочее. Тем-то и печален мир. Я говорю ему: пусть бы я вместо нее недевствен. А он в ответ: в том-то и печаль, что даже и менять хлопот не стоит ничего на свете. И Шрив: если ему ума хватает не гоняться. А я: была у тебя когда-нибудь сестра? Была? Была?

Споуд среди них — как черепаха в аллее гонимых вихрем сухих листьев: воротник пиджака поднят, обычная неспешная походочка. Он из Южной Каролины, старшекурсник. Одноклубники его гордятся тем, что ни разу еще не бывало, чтобы Споуд бегом бежал на молитву, и ни разу он не пришел туда без опоздания, и ни разу за

четыре года не пропустил занятий, и ни разу не явился на них иначе, как без сорочки и носков. Часов в десять, после первой лекции, он зайдет в кафетерий Томпсона, возьмет две чашки кофе, сядет, вынет носки из кармана, разуется и натянет их, пока стынет кофе. А к двенадцати у него под пиджаком уже и сорочка с воротничком будет, как на прочих смертных. Те прочие мелькают пятками, а он и шагу не прибавит. А вот и опустело за окном.

Черкнул по солнечному свету воробей, на подоконник сел, головку дерзко набок. Глаз круглый и блестящий. Понаблюдает меня — верть! — теперь другим глазком, а горлышко трепещет чаще пульса всякого. Ударили часы на башне. Воробей бросил головой вертеть и, пока не пробили все восемь, созерцал меня одним и тем же глазом, как бы прислушиваясь тоже. Затем упорхнул с подоконника.

Последний удар отзвучал не сразу. Еще долго он не то что слышался, а ощущался в воздухе. Как будто все куранты всех времен еще вибрируют в тех длинных меркнущих лучах света, по которым Христос и святой Франциск, называвший сестрой. Ведь если бы просто в ад, и кончено. Конец. Всему чтобы просто конец. И никого там,

кроме нее и меня. Если бы нам совершить что-то настолько ужасное, чтобы все убежали из ада и остались одни мы. *Я и сказал: отец я совершил кровосмешение Это я Я а не Долтон Эймс* И когда он вложил… Долтон Эймс. Долтон Эймс. Долтон Эймс. Вложил мне в руку пистолет, а я не стал стрелять. Вот почему не стал. Тогда и его бы туда, где она и где я. Долтон Эймс. Долтон Эймс. Долтон Эймс. Если б могли мы совершить что-то такое ужасное. А отец мне: в том-то и печаль тоже, что не могут люди совершить ничего уж такого ужасного, не способны на подлинный ужас, не способны даже в памяти хранить до завтра то, что сегодня нависает ужасом. А я ему: тогда уж лучше уйти ото всего. И он в ответ: куда же? А я взгляд опущу и увижу мои журчащие кости и над ними глубокую воду, как ветер, как ветровой покров; а через много лет и кости неразличимы станут на пустынном и чистом песке. Так что в день Страшного суда велят восстать из мертвых, и один только утюг всплывет. Не тогда безнадежность, когда поймешь, что помочь не может ничто — ни религия, ни гордость, ничто, — а вот когда ты осознаешь, что и не хочешь ниоткуда помощи. Долтон Эймс. Долтон Эймс. Долтон Эймс. Если б я был матерью его, то, распахнув, подав

навстречу тело, я б не пустил к себе отца его, рукой бы удержал, смеясь и глядя, как сын умирает не живши. *Застыла в дверях на миг*

Я пошел к столику, часы взял — циферблатом попрежнему вниз. Стукнул их об угол столика стеклом, собрал осколки в подставленную руку, высыпал в пепельницу, сорвал стрелки и тоже в пепельницу. А они все тикают. Повернул слепым циферблатом вверх, за ним колесики потикивают глупенько. Верят басням, что Христос шел по морю аки по суху и что Вашингтон лгать не умел.[12] С выставки в Сент-Луисе отец привез Джейсону брелок часовой, крошечный биноклик; сощуришь глаз — и видишь небоскреб, чертово колесо, точно из паутинок, Ниагарский водопад с булавочную головку. А циферблат чем-то красным запачкан. Заметил — и сразу большой палец заболел. Я положил часы, пошел в спальню к Шриву, залил порез йодом. Полотенцем счистил остатки стекла с циферблата.

Достал две пары белья, носки, две сорочки с воротничками и галстуками и стал укладываться. Упаковал в чемодан все, оставил только костюмы

---

[12] КОММЕНТАРИИ: 12

Вашингтон лгать не умел. — Имеется в виду распространенная легенда о том, что Джордж Вашингтон в детстве, срубив вишневое дерево, признался в своем проступке отцу, сказав ему: «Я не умею лгать».

— новый и один из старых, две пары туфель, две шляпы и книги. Перенес книги в общую комнату, сложил там на столе — те, что из дому привез, и те, что *Отец говорит, прежде о вкусах джентльмена позволяли судить книги, им читанные, теперь же — чужие книги, им зачитанные* закрыл чемодан, наклеил бумажку с адресом. На башне ударило четверть. Стоял, ждал, пока куранты отзвенят.

Принял ванну, побрился. От воды палец защипало, я опять смазал йодом. Надел новый костюм, вложил часы в кармашек, а второй костюм, белье к нему, бритву и щетки сложил в чемоданчик. Ключ от большого чемодана завернул в листок бумаги, сунул в конверт, адресовал отцу, потом обе записки написал и заклеил в конверты.

Тень не совсем еще ушла с крыльца. Я стал на пороге, наблюдая, как она смещается. Почти приметно глазу отползает в проем и мою тень обратно в дверь гонит. *Я услыхать едва успел, а она уж бегом. Не разобрал еще толком, откуда рев, а в зеркале она уж побежала. Опрометью, перекинув через руку шлейф и облаком летя из зеркала, фата струится светлым переливом, дробно и ломко стучат каблучки, другой рукой придерживает платье на плече — бегом из зеркала, из аромата роз на глас, над Эдемом прозвучавший. Сбежала*

с веранды, каблучки заглохли, и белым облаком сквозь лунный свет, и тень фаты, летящая по траве в рев. Чуть не теряя подвенечное, бегом из платья в рев, где Ти-Пи средь росы: «Ух ты! Пей саспрелевую, Бенджи!» — а тот под ящиком ревет. У бегущего отца грудь одета серебряной клинообразной кирасой

— Все-таки не пошел, — сказал Шрив. — На свадьбу вы иль с похорон?

— Я не успел одеться, — сказал я.

— Дольше бы наряжался. С чего ты вдруг таким франтом? Приснилось, что сегодня воскресенье?

— Разок можно и в новом костюме — в полицию за это не заберут, я думаю.

— Полиция — ладно, а вот как отнесутся правоверные студенты? Или ты и на лекции не снизойдешь явиться?

— Пойду сперва поем.

Крыльцо уже очистилось. Я шагнул с порога и снова обрел свою тень. Сошел по ступенькам, тень чуть позади. Половину бьют. Звон прозвучал и замер.

Дьякона не оказалось и на почте. Я наклеил марки на конверты, отцовский отправил, а тот, что с запиской Шриву, сунул во внутренний карман. Затем припомнил, где я видел Дьякона

в последний раз. В День памяти павших[13] это было, он шагал в процессии, одетый в форму ветерана Гражданской войны. Стоит лишь постоять на перекрестке и дождаться процессии, безразлично какой, и непременно увидишь в ней Дьякона. А перед тем маршировали в день рождения Колумба, что ли, или Гарибальди. Дьякон шел с уборщиками улиц, нес двухдюймовый итальянский флажочек среди совков и метел, был в цилиндре и курил сигару. Но в последний парад на нем была армейская форма северян, потому что Шрив тогда сказал:

— Взгляни-ка. Видал, до чего довели твои деды бедного старого негра.

— Вот именно, — ответил я. — Благодаря им он теперь может ежедневно дефилировать. Если б не они, трудиться бы ему, как нам, грешным.

Нигде его что-то не видно. Но негра, даже работящего, попробуй поймай, когда он тебе нужен, — что уж говорить об этом сливкоснимателе. Подошел трамвай. Я сел, поехал в город, зашел в ресторан Паркера, заказал завтрак повкусней. За столиком услышал, как пробило девять. Но от времени за час какой-то не отделаешься — ведь

---

[13] КОММЕНТАРИИ: 13

День памяти павших — национальный праздник в США, отмечающийся 30 мая.

тысячелетия вживался человек в его монотонную поступь.

Позавтракав, я купил сигару. Спросил у девушки самую лучшую, взял за полдоллара, зажег ее, вышел на улицу. Постоял, втянул дым раза два и пошел к перекрестку с сигарой в руке. Прошел мимо витрины часовщика, но вовремя отвернулся. На углу на меня насели два чистильщика, с обоих флангов, крикливые и черные, как два дрозда. Я одному отдал сигару, другому дал пятицентовую монетку. Отвязались. Малый, которому досталась сигара, тут же стал ее сбывать сопернику за те пять центов.

Над улицей в солнечном небе — часы, и я подумал, что вот решишь разделаться с привычкой, а мышцы сами норовят опять за старое, словно бы невзначай. Шея напряглась уже, чтоб голову к часам, но тут я услышал свои часы в кармашке и вытеснил их тиканьем все остальное. Повернулся и пошел назад к витрине. За ней часовщик сидит, делом занят. На макушке — плешь. В глазу лупа — ввинченной в лицо металлической трубкой. Я вошел.

Комнатка — в часовом стрекоте, как сентябрьский луг в кузнечиках, и всех слышней большие стенные над головой у него. Поднял на меня

взгляд, увеличенный, зыбкий, бегучий за стеклышком лупы. Я вынул часы, подал.

— Разбил вот.

Он повертел их в руке.

— Ничего себе. Ногой, должно быть, наступили.

— Да, сэр. Я задел рукой, сбросил со столика на пол и наступил в темноте. Они идут, однако.

Он отколупнул крышку, сощурясь поглядел внутрь.

— Как будто все в порядке. Впрочем, так трудно сказать. После обеда займусь ими.

— Я занесу их вам потом, — сказал я. — Простите, пожалуйста, — у вас в витрине время верное хоть на одних часах?

Держит часы на ладони, смотрит на меня своим зыбким и бегучим глазом.

— Я тут побился об заклад с парнем, — сказал я. — А очки свои оставил дома.

— Бывает, — сказал он. Положил часы на стол, привстал с табурета, перегнулся в витрину. Потом поднял голову к тем большим на стене. — Сейчас двадц…

— Не надо говорить, который час, — сказал я. — Прошу вас. Скажите только, есть ли там такие, которые верно показывают время.

Опять глядит на меня. Сел прямо, сдвинул лупу на лоб. Вокруг глаза от нее остался красный ободок, потом сошел, и все лицо как голое.

— Это вы какую победу празднуете сегодня? Гребные гонки вроде бы только через неделю?

— Да нет, сэр. Повод сугубо личный. День рождения. Так верно они там показывают?

— Нет. Надо их еще отрегулировать, наладить. Вот если желаете купить…

— Нет, сэр. Мне не нужны часы. У нас в общей комнате висят на стене. А понадобятся, тогда я эти починю. — Я протянул за ними руку.

— Советую оставить их сейчас.

— Я потом как-нибудь вам занесу. — Отдал мне часы. Я вложил их в кармашек. Теперь их и не слышно за всем этим стрекотом. — Благодарю вас. Надеюсь, я не слишком много времени у вас отнял.

— Да что там. Так приносите их, когда надумаете. А день рождения не худо бы на недельку отложить, до нашей победы в гонках.

— Да, сэр. Пожалуй.

Я вышел, и стрекот остался за дверью. Я оглянулся на витрину. Часовщик смотрит на меня оттуда. В витрине часов чуть не дюжина, и дюжина разных времен, и каждые твердят свое,

непререкаемо, с упорством под стать моим бесстрелочным. Опровергают друг друга. Теперь мои слышно — стучат себе, хоть никто на них не смотрит, а и посмотрит — тоже ничего не высмотрит.

Если брать, то те большие бы. Отец говорит, что часы — убийцы времени. Что отщелкиваемое колесиками время мертво и оживает, лишь когда часы остановились.

У тех, у больших, стрелки вразлет и чуть накренены, как чайка на ветру. Все вобрал этот круг циферблата, все скопил, что только в жизни меня огорчало, — как, по негритянской примете, молодая луна воду копит.[14] Часовщик уже опять склонился над столом, втуннелив в лицо лупу. По темени — прямой пробор, ведущий к плеши, как дренажная канава к мерзлому болотцу в декабре.

Вон и скобяная лавка на той стороне. Утюги, оказывается, продают на вес.

Продавец сказал:

— Этот весит десять фунтов. — Но слишком громоздкий. И я взамен купил два малых шестифунтовых — под мышкой у них будет такой вид,

---

[14] КОММЕНТАРИИ: 14

молодая луна воду копит. — По негритянской примете, если рога у молодого месяца повернуты вверх, то погода будет сухой («луна воду копит»), а если вниз — это предвещает дождь («вода прольется»).

вроде несешь пару туфель. У завернутых вместе тяжесть у них приличная. Но я снова вспомнил слова отца про сведенный к нелепости общечеловеческий опыт и подумал, что это, пожалуй, единственное приложение моим гарвардским познаниям. Еще бы, может, год; возможно, требуется не один, а два курса для верного весового расчета.

Но на воздухе весят прилично. Подошел трамвай.

Я сел в него. Не взглянул, по какому маршруту. Публика в большинстве своем сытая, сидят, раскрыв газеты. Места все заняты, одно лишь свободное, рядом с негром. Он в котелке, начищенных башмаках, в пальцах держит потухший окурок сигары. Я раньше думал, что раз ты южанин, значит, негры навсегда твой щекотливый пункт. Что и на взгляд северян так оно мне положено. Когда я приехал сюда, то все твердил себе: они не нигеры, думай о них как о цветных; и хорошо еще, что я мало здесь с ними сталкивался, а иначе массу времени потратил бы и нервов, пока не понял, что к черному ли, белому — к любому человеку подойти всего лучше с его собственной меркой, — подойти и отойти. И еще понял, что нигер — понятие безликое, форма поведения,

зеркально соотнесенная с белой средой. Я сперва думал: положено, чтобы южанину неуютно было без кучи негров около, поскольку и северяне, наверно, считают, что так оно быть должно; но впервые я понял, что и правда скучаю по Роскусу, Дилси и всем им, только в то утро, когда проезжал в каникулы Виргинией. Проснулся — стоим; я поднял штору, выглянул. Вагон встал как раз на переезде, с холма идет проселок меж двух белых заборов, у подножия расходящихся на обе стороны, как бычий рог у основания, и посреди дороги, в мерзлых колеях, негр верхом на муле ждет, когда проедет поезд. Не знаю, сколько времени он ждет, сидя на муле, но вид у обоих такой, будто они тут с тех пор, как существует забор и дорога, будто их даже в одно время с холмом создали, высекли из камня и поставили дорожным знаком, говорящим мне: «Вот ты и снова дома». Голову негр обмотал лоскутом одеяла, седла нет, ноги свисают почти до земли. А мул похож на зайца. Я поднял раму.

— Эй, дядюшка! Значит, правильно едем?

— Чего, сэр? — Смотрит на меня, потом выпростал ухо из-под одеяла.

— Подарочек рождественский с тебя![15] — сказал я.

— Выходит так, хозяин. Кто вперед сказал, тому и причитается.

— Ладно уж на этот раз. — Я стянул брюки с сетки, достал четверть доллара. — Но в следующий не зевай. Через два дня после Нового года буду ехать с каникул, тогда берегись. — Я кинул монету из окна. — Купи себе чего-нибудь.

— Спасибо, сэр, — сказал он. Слез с мула, поднял, вытер о штанину. — Спасибо, молодой хозяин. — Поезд пошел. Я из окна высунулся на холод, назад гляжу. Стоят — негр рядом с тощим зайцеухим мулом, — стоят убого, без движения, без нетерпения. Грузно попыхивая, паровоз начал брать поворот, и они плавно скрылись из виду со своим убогим и вечным терпением, со своей безмятежной недвижностью. С этой готовностью детски неумелой. И вместе какая, однако, способность любить без меры и заботиться о подопечных, надежно их оберегая и обкрадывая, а от обязательств и ответственности отлынивать так простодушно, что и уверткой этого не назовешь; а поймаешь — вос-

---

[15] КОММЕНТАРИИ: 15

Подарочек рождественский с тебя! — По старинному обычаю, распространенному на Юге США, тот, кто первым успел поздравить другого с рождеством, вправе требовать в ответ подарок или монетку.

хитится твоей проницательностью откровенно и искренне, как спортсмен, побитый в честном состязании. И еще забыл неизменную и добрую их снисходительность к причудам белых, точно к взбалмошным неслухам-внучатам. И весь тот день, пока поезд шел через ущелья и провалы и вился по уступам и только тяжкие выхлопы да покряхтыванье колес напоминали о движении, а вечные горы стояли, растворяясь в густом небе, — весь тот день я думал о доме, представлял себе наш тусклый вокзал и площадь, где не спеша толкутся, месят грязь негры и фермеры, где фургоны, кульки с леденцами, игрушечные обезьянки, и римские свечи[16] из свертков торчат, и внутри у меня все замирало и плясало, как в школе, когда звонок с уроков.

Дождавшись, чтоб часы пробили три, я начинал счет секунд. Досчитав до шестидесяти, загибал первый палец; осталось загнуть четырнадцать пальцев — тринадцать — двенадцать — восемь — семь, — и вдруг, очнувшись, я ощущал тишину и немигающее внимание класса и говорил: «Да, мэм?» — "Может быть, твое имя не Квентин? — сердится мисс Лора. Новая полоса тишины,

[16] КОММЕНТАРИИ: 16

Римские свечи — разновидность фейерверка, бумажные трубки, набитые горючим составом и порохом.

безжалостное немигание и руки класса, вскинутые в тишину. «Генри, напомни-ка Квентину, кто открыл реку Миссисипи». — «Де Сото»[17]. На этом немигание кончалось, но вскоре мне начинало казаться, что я считаю слишком вяло, и я ускорял счет, загибал еще палец, потом казалось, что чересчур быстро, я замедлял, опять частил. В итоге у меня никак не выходило вровень со звонком и двинувшейся вдруг лавиной ног, почуявших землю под истертым полом, — а день — как лист стекла, звенящий после легкого и резкого удара, и у меня внутри все пляшет. *Танцует сидя. Застыла в дверях на миг. Бенджи. Ревет. Сын старости моей*[18] *Бенджамин ревет. Кэдди! Кэдди!*

«А я убегу из дому и не вернусь». Он заплакал. Кэдди подошла, коснулась его. «Не плачь. Я не стану убегать. Не плачь!» Замолчал. Дилси:

«Когда надо, он и так учует все, что ты хочешь сказать. Зачем ему тебя слушать, отвечать».

«А свое новое имя он чует? А злосчастье чу-

---

[17] КОММЕНТАРИИ: 17

Де Сото Фернандо (1496–1542) — испанский конкистадор, предпринявший экспедицию с целью завоевания Флориды. В 1541 г. его отряд вышел к реке Миссисипи.

[18] КОММЕНТАРИИ: 18

Сын старости моей… — Библейская цитата (см. коммент. к с. 53.), связанная с легендой об Иосифе и его братьях. «Сыном старости» Иакова названы в Библии как Иосиф, так и Вениамин.

ет?»

«Что ему счастье-злосчастье? Он порчи может не бояться».

«Для чего же тогда ему имя меняют, если не чтоб порчу отвести?»

Трамвай остановился, пошел, опять остановился. Под окном — людские макушки в новых соломенных шляпах, еще не пожелтевших. Среди пассажиров теперь и женщины с кошельками на коленях, а рабочих комбинезонов едва ли не больше, чем башмаков начищенных и крахмальных воротничков.

Негр тронул меня за колено. «Виноват», — сказал он. Я убрал ноги, дал пройти. Трамвай катился вдоль глухой стены, отражавшей наш грохот обратно в вагон, на женщин с кошелками и на человека в испятнанной шляпе, за ленту которой засунута трубка. Запахло водой, в разрыве стены блеснула река, и две мачты, и чайка в воздухе замерла, точно на невидимой проволоке подвешенная между мачтами; я поднял руку, сквозь пиджак коснулся писем написанных. Трамвай остановился, я сошел.

Мост разведен — пропускает шхуну. Отводят на стоянку выше по реке, буксир толчется под кормой, дымит, но кажется, будто шхуна плывет

сама собою и непонятно как. До пояса голый матрос сматывает линь на полубаке. Загар под цвет табачного листа. Другой, в соломенной шляпе без донышка, стоит у штурвала. Шхуна движется как призрак[19] в проеме моста, под голыми мачтами, а над кормой парят три чайки — игрушками на невидимых проволоках.

Мост опустили, я прошел на ту половину и облокотился о перила над плотом, где лодочная станция. На плоту никого, двери помещения закрыты. Восьмерка наша теперь гребет только после обеда — отдыхают перед. Тень моста, полосы перил, и моя тень плоско на воде — как просто оказалось заманить ее, чтобы никуда от меня не ушла. Футов полсотни верных, и если б было чем нажать сверху, окунуть, чтоб захлебнулась. И тень от утюгов, как от завернутых туфель, тоже лежит на воде. Негры говорят, что тень утопленника так при нем и караулит. Блестит вода, играет, будто дышит, и плот покачивается, как будто дышит тоже, и обломки к морю плывут полупогруженно — на мирный сон в морские пещеры и гроты. Вес вытесненной жидкости равен тому-то без того-то. Сведенный к нелепости обще-

[19] КОММЕНТАРИИ: 19

как призрак… — вероятно, реминисценция из «Макбета». Ср.: «И изможденное убийство… к своей цели движется как призрак» (акт II, сц. I).

человеческий опыт, и два малых шестифунтовых утюга тяжелее, чем один большой портновский. Что за безбожное транжирство, сказала бы Дилси. Когда бабушка умерла, Бенджи знал. Он плакал. *Он учуял. Учуял.*

Буксир идет обратно, режет воду на два длинных катящихся вала; наконец до плота докатилось, колыхнуло отзвуком движенья, плот чмокнул, взлезая на катящийся вал, и тут отворилась дверь со скрежетом, и двое вынесли гоночную лодку-одиночку. Опустили на воду, секундой позже вышел с веслами Джеральд Блэнд. На нем фланелевые брюки, серый пиджак и жесткая соломенная шляпа-канотье. То ли он, то ли его мать где-то вычитала, что оксфордские студенты занимаются греблей в фланелевых брюках и канотье, и вот в начале марта Джеральду купили лодку, и он явился на реку во фланелевых брючках и в соломенной шляпе. Лодочники грозились позвать полисмена, но Джеральд и бровью не повел. Приехала и мать в такси, закутанная в меховую шубу на зависть полярным исследователям, и проводила сына в плавание, — а ветер шестибалльный, и по реке льдины косяками, как грязные овцы. С тех пор я держусь мнения, что господь бог не только джентльмен и

спортсмен, но и непременно кентуккиец родом. По отплытии сына миссис Блэнд сделала крюк и вернулась к реке, следуя берегом на малой скорости параллельно Джеральду. Рассказывают, можно было подумать, что они вовсе незнакомы; Прямо король и королева — не глядя друг на друга, пересекают штат Массачусетс четой планет на параллельных и смежных орбитах.

Он сел в лодку, заработал веслами. Гребет недурно. Да и пора уже. Говорят, мать убеждала его переключиться с гребли на другой такой же вид спорта — не по плечу или карману однокурсникам, но он на сей раз выказал упорство. Если вяжется слово «упорство» с его скучающими позами, желтокудростью, лиловыми глазами, длинными ресницами и костюмами от нью-йоркских портных. Сидит этаким принцем, а мамаша повествует нам о лошадях Джеральда, о неграх Джеральда и о женщинах Джеральда. Тамошние мужья и отцы, должно быть, страшно все обрадовались, когда она увезла Джеральда из Кентукки в Кеймбридж[20]. Она тут в городе, в Бостоне, снимает квартиру, а у Джеральда своя отдельная, помимо комнат при колледже. Поскольку я хоть

[20] КОММЕНТАРИИ: 20

Кеймбридж — пригород Бостона, где находится Гарвардский университет.

плохонькое, а проявил все же понимание законов noblesse oblige, родившись к югу от линии Мейсона — Диксона[21], то знакомство Джеральда со мной она одобрила — и еще с двумя-тремя, удовлетворившими ее географические требования (минимальные). Или не одобрила, но все же допустила. Сквозь пальцы взглянула. Однако с тех пор, как увидала Споуда ночью у калитки церковного садика… Он говорит, ни за что не поверит, чтобы она была порядочная женщина: не станет порядочная среди ночи по задворкам… а она простить не может Споуду, что в его длиннющей, в пять слов, фамилии наличествует наименованье герцогского английского рода, еще и посейчас не вымершего. Наверно, она утешает себя догадкой, что это какой-нибудь захудалый Мортемар или Мэнго[22] спутался с дочкой привратника. Что, кстати, вполне вероятно. Не зря же Споуд — чемпион мира среди лоботрясов (в схватках финала захваты и подножки разрешаются).

---

[21] КОММЕНТАРИИ: 21

Линия Мейсона — Никсона — граница между Пенсильванией и Мэрилендом, которая в американской культуре считается границей между Севером и Югом (по имени английских топографов, которые в 1763–1767 гг. проводили съемку местности в этом районе).

[22] КОММЕНТАРИИ: 22

Мортемар или Мэнго — по-видимому, вымышленные фамилии, которые должны звучать как аристократические.

Лодка стала уже точкой, весла мигают на солнце через равные промежутки, и кажется, будто эти переблески движут лодку. *Была у вас когда-нибудь сестра? Нет, но все они сучки. Была у вас когда-нибудь сестра? Застыла на миг. Сучки. Нет, не сучка — застыла в дверях на миг* Долтон Эймс. Долтон Эймс. Рубашки фирмы «Долтон». Я все время думал, они у него простое армейское хаки, а тут пригляделся — из плотного китайского шелка или тончайшей фланели. Потому, что лицо от них загорелей и глаза голубее. Долтон Эймс. Чуть-чуть не дотянул до элегантности. Бутафория, папье-маше. А пощупал — нет, асбест. Но все же не бронза. *«Но домой не привела его ни разу».*

«Не забывай, что и Кэдди женщина. И у нее свои причины, женские».

Почему не приводишь домой его, Кэдди? Для чего подражать негритянкам — в траве в канавах в лесу темном жарко скрыто неистово в темном лесу.

Вот уже сколько-то времени слышу в кармашке часы, и письма сквозь пиджак похрустывают, когда прижимаю их грудью к перилам, глядя на тень — как ловко я ее обманул. Двигаюсь вдоль перил — ничего, костюм мой тоже темный, а руки можно вытереть, — к берегу веду свою об-

манутую тень. Довел, слил с тенью от причала. И пошел от моста на восток.

«Гарвардского Мой сын студент Гарвардского Гарвардского» С тем прыщавым младенцем она познакомилась на состязании в беге с лентами цветными. Пригибается к забору, вызывает ее свистом, как собачку. А в столовую к нам ни за что не идет, и мама решила, что он намерен заманить ее подальше и обморочить, одурманить чем-то. Но и так любой прохвост *Лежит под окном возле ящика и ревет* с цветочком в петлице подкативший в лимузине. *«Гарвардского. Знакомьтесь Герберт. Мой сын студент Гарвардского. Герберт будет вам старшим братом он уже обещал Джейсону место в своем банке».*

Любезный, целлулоидный, как коммивояжер. Во все лицо белозубый оскал без улыбки. *«Я уже о Квентине наслышан». Полно лицо зубов, но без улыбки. «Ты сама поведешь машину?»*

«Садись Квентин».

«Ты сама поведешь машину».

«Это авто ее собственное Можешь гордиться у твоей сестрички у первой в городе авто Подарок Герберта Она каждое утро брала у Луиса уроки вождения Разве ты не получил моего письма» Мистер и миссис Джейсон Ричмонд Компсон из-

вещают о свадьбе дочери их Кэндейси с мистером Сиднеем Гербертом Хедом, имеющей быть двадцать пятого апреля тысяча девятьсот десятого года в городе Джефферсоне, штат Миссисипи. С первого августа молодые принимают гостей у себя в Саут-Бенде, штат Индиана, авеню такая-то, номер такой-то. — Ты и конверта не вскроешь? — спрашивает Шрив. *Три дня. Три раза. Мистер и миссис Джейсон Ричмонд Компсон* — Выходит, Лохинвар молодой слишком рано покинул свой Запад?[23]

— Я с Юга. А ты остришь, я вижу.

— Ах да, помню, что из захолустья откуда-то.

— Ты остряк. Тебе в цирк надо.

— А я уже работал там. Был приставлен к слону — слоновьих блох поить, — чем и зрение себе испортил. *Три раза* Эти захолустные девчонки — мастерицы огорошивать. К счастью, Байрону не удалось выполнить свое желание.[24] *Очкари-*

---

[23] КОММЕНТАРИИ: 23

Лохинвар молодой… свой Запад? — Здесь обыгрывается строка и сюжет из пятой главы поэмы Вальтера Скотта «Мармион» (1808). В поэме Лохинвар — отважный рыцарь, который «прискакал с Запада» на свадьбу своей возлюбленной, отданной за другого, и выкрал ее прямо со свадебного пира.

[24] КОММЕНТАРИИ: 24

Байрону не удалось выполнить свое желание… — Имеются в виду 27 и 28 строфы шестой песни «Дон-Жуана», в которых Байрон пишет о желании обладать всеми женщинами сразу.

ков не бить. Так и не вскроешь? Конверт лежит на столе, по четырем углам зажжены свечи, а на конверте два искусственных цветка, перевязанных грязной розовой женской подвязкой. Но очкариков не бить.

— Бедняги провинциалы никогда не видели автомобиля целая толпа их Подави рожок Кэндейси *Кэдди на меня и не смотрит* пусть уйдут с дороги *не смотрит* не то еще попадут под колеса и отцу вашему будет неприятно Уж хочет не хочет а придется и ему купить авто теперь Я почти жалею Герберт что вы раздразнили нас этим авто Разумеется я вам признательна это такое удобство у нас конечно есть выезд но часто когда мне бы хотелось прокатиться черномазенькие наши бывают заняты а отвлеки я их от дела мистер Компсон меня расказнит. Он твердит что Роскус полностью к моим услугам но я-то знаю цену словам Знаю как часто обещания даются только для очистки совести Неужели и вы Герберт станете так поступать с моей Кэндейси Но нет я знаю вы не станете Герберт нас всех окончательно избаловал Писала ли я тебе Квентин что он возьмет Джейсона на службу к себе в банк как только Джейсон окончит школу Из Джейсона выйдет превосходный банкир Он единственный

из моих детей обладает здравым практическим умом А благодарить за это можете меня он пошел в нас Бэскомов а остальные все они Компсоны *Муку дал Джейсон. Они вдвоем клеили змеев на задней веранде и продавали по пять центов за штуку — он и малыш Паттерсонов. Казначеем был Джейсон.*

В этом трамвае нет негра, а за окном все плывут шляпы, еще не пожелтевшие. До университета. Мы продали Бенджин *Лежит на земле под окном и ревет. Продали луг, чтобы Квентин мог учиться в Гарвардском* Будет вам братом Младшим братом.

— Машина вам необходима У вас теперь вид совсем другой А ваше мнение Квентин Я с Квентином сразу же без мистеров я о нем уже столько слышал от Кэндейси.

— Да да поменьше церемоний я хочу чтобы вы мои мальчики были задушевными друзьями Ведь Кэндейси с Квентином задушевные друзья *Отец я совершил* Как жаль что вы росли без брата без сестры *Без сестры без сестры Не было сестры* А про вид мой вы Квентина лучше не спрашивайте Когда я нахожу в себе силы сойти к столу они с мистером Компсоном воспринимают это почти как обиду А сейчас я держусь единственно на

нервах Расплата за это наступит для меня потом когда все кончится и вы увезете мою дочурку *У моей маленькой сестры не было ма Если б только я могла сказать мама. Мама*

— А меня так и подмывает вместо нее увезти вас Тем более эту машину мистер Компсон не догонит.

— Ах Герберт Слышишь Кэндейси что он говорит *И не смотрит на меня округло и упрямо сжата челюсть и не оглянется* Ты впрочем не ревнуй это ведь лесть в утешенье старухе Подумать у меня и замужняя взрослая дочь Прямо не верится.

— Чепуха вы выглядите девушкой вы в десять раз моложе Кэндейси И румянец у вас на лице девичий *Лицо в слезах в упреках Запах камфары и слез Голос причитает ровно и негромко. За сумеречной дверью сумеречноцветный запах жимолости. С чердака по лестнице сносят дорожные сундуки пустые гулкие как гробы. Френч Лик.*[25] *Не смерть нашла на солонце.*

В непожелтелых шляпах и не в шляпах. В три

---

[25] КОММЕНТАРИИ: 25

Френч Лик — курорт в штате Индиана, известный своими соляными источниками. По ассоциации Квентину вспоминается, что звери охотно приходят на солонцы, где их подстерегают охотники; Кэдди же нашла на солонце не смерть, а мужа.

года не изнашиваю шляпы. Не изнашивал. Время прошедшее: был. А будут шляпы, когда ни меня и ни Гарвардского? Отец говорит, в Гарвардском университете мудрость лепится сухим плющом по старому мертвому кирпичу. И Гарвардского не будет. Для меня, во всяком случае. «Снова». Грустнее, чем «был». Снова. Грустнее всех слов. Снова.

Споуд надел уже сорочку — значит, скоро и полдень. Сейчас снова увижу свою обманутую тень и, если не остерегусь, ногами снова топтать буду свою непрошибаемую тень. Но не сестру же грязными ногами. Я никогда бы. *«Я не позволю устраивать за моей дочерью слежку».* Я никогда бы.

«Как могу я держать их в узде когда ты с малых лет привил им неуважение ко мне и к моей воле. Я знаю ты Презираешь нас Бэскомов но все равно зачем учить неуважению моих детей из-за которых я столько страданий претерпела» Втаптываю тень в бетон, топчу кости своей тени твердым каблуком, а вот и часы слышно, и сквозь пиджак я дотронулся до писем.

«Я не позволю ни тебе ни Квентину ни прочим шпионить за моей дочерью в чем бы она ни была по-твоему повинна»

«Значит ты все же признаешь что для слежки

есть причина»

Я никогда бы никогда бы. *«Верю, что ты никогда бы Я не хотел в таком резком тоне но у женщин нет уважения друг к другу нет уважения к себе»*

«Но как могла она» Ступил на тень, и пробили куранты — всего лишь четверть. А Дьякона нигде не видно. *«подумать что я способен соглашусь»*

«Она не хотела тебя оскорбить Поступила по-женски и только Она ведь любит Кэдди»

Фонари уходят улицей под гору и затем к городу, вверх. На живот ступаю своей тени. Руку подыму, и тени не дотянуться. *Позади я чувствую отца; за стрекочущей тьмой лета, августа — фонари* Мы с отцом — защитники женщин от них же самих, наших женщин *Так уж устроены женщины Им не свойственно как нам вникать в характеры людей От рождения в мозгу у них посев готовых подозрений плодоносящих то и дело И они обычно не ошибаются ибо на прегрешение и зло у них чутье способность восполнять недостающие злу звенья Готовя мозг для урожаев зла инстинктивно как спящий в одеяло они кутаются в это действительное или придуманное ими зло пока оно не сослужит свою службу* Вон он идет между двумя первокурсниками. С небрежной отмашкой

старшего по чину отдал мне честь — видно, не совсем еще опомнился с парада. Я остановился:

— Вас можно на минуту?

— Меня? Пожалуйста. До свидания, ребята, — сказал он, останавливаясь и поворачиваясь к тем, — рад был потолковать с вами. — Узнаю старину Дьякона. Вот уж действительно психолог-самородок. Говорят, что он за сорок лет не пропустил ни единого поезда в начале учебного года и что южанина опознает со взгляда. Без осечек работает, а стоит лишь тебе заговорить — тут же и определит, из какого ты штата. К поездам он надевает своего рода форму, наряд в стиле «Хижина дяди Тома»[26], с заплатами и всем, как полагается.

«Сюда, молодой хозяин, сюда, вот они мы где. — Хватает твои чемоданы. — Эй, малый, давай поближе, на-ка вот вещички. — Тут к тебе боком придвигается живая гора клади, под ней — белый подросток лет пятнадцати, и Дьякон ухитряется навесить на него еще и твой багаж, с напутствием: — Не урони гляди. Будет доставлено, хозяин,

---

[26] КОММЕНТАРИИ: 26

в стиле «Хижина дяди Тома»... — то есть в театрализованном, псевдонегритянском стиле, соответствующем расхожим представлениям о «бедном негре с южных плантаций», которые восходят к роману Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» (1852).

скажите только старому негру номер комнаты, и к вашему приходу все на месте будет чин чином».

С этого момента и вплоть до полного твоего порабощения он — завсегдатай у тебя, болтливый и легчайший на помине; правда, южный жаргон его становится все севернее, ухватки и одежда — все цивилизованней, и теперь, когда ты порядком выдоен и поумнел, тебя именуют уже не хозяином, а Квентином, а там, глядишь, на нем явился чей-то поношенный костюм от Брукса и шляпа с дареной лентой расцветки Принстонского клуба[27] (забыл, какого именно), — но сам он, впрочем, убежден приятно и бесповоротно, что это полоска от офицерского шарфа, принадлежавшего Аврааму Линкольну. Давным-давно, когда Дьякон только начинал тут обосновываться, кто-то сочинил, будто он окончил здешнюю семинарию. Уяснив, что сие обозначает, Дьякон восхитился выдумкой, и стал сам ее распространять, и под конец, должно быть, даже сам в нее поверил. Во всяком случае, он любит рассказывать длинные и нудные истории про свои студенческие годы, приплетая давно

[27] КОММЕНТАРИИ: 27
Принстонский клуб — Принстон — университет в штате Нью-Джерси.

умерших профессоров и называя их панибратски по именам, как правило, перевранным. И однако, если вспомнить про бесчисленные эшелоны зеленых и неприкаянных новичков, которым он успел быть наставником, гидом и другом, то, пожалуй, при всем его актерстве и жуликоватости, смрад от него в ноздрях[28] небес не гуще, чем от прочих смертных.

— Вас не видать было дня три-четыре, — сказал он, взирая на меня все еще воински-парадно. — Не хворали?

— Нет, все в порядке. Занимался просто. Впрочем, я-то вас видел.

— Где бы это?

— Позавчера, на параде в День памяти павших.

— А-а. Да, я участвовал. Сами понимаете, я не любитель парадов, но ребятам нашим, ветеранам, приятно, когда и я с ними шагаю. Причем и дамы пожелали видеть всех старых ветеранов в одном строю, а дамам как откажешь?

— И в тот итальянский праздник вы тоже, — сказал.

— Наверно, по просьбе дам из христианского

---

[28] КОММЕНТАРИИ: 28
смрад… в ноздрях… — библейская аллюзия.

общества трезвости.

— Нет, в тот раз я ради своего зятя. Метит на должность при городской управе. Уборщика улиц. Я ему говорю: тебе, сплюхе, только метлы не хватает под голову. Значит, видели меня?

— Видел. Оба раза.

— Я про позавчера. Ну, как я выглядел в форме?

— Отлично выглядели, Дьякон. Лучше всех их. Им бы надо вас сделать своим генералом.

Он тронул меня за локоть — этим мягким, как бы истертым касаньем негритянских пальцев.

— Я вам что скажу. По секрету. Вам-то я могу, ведь мы с вами земляки как-никак. — Слегка подавшись ко мне, говорит быстро и не глядя. — За меня сейчас хлопочут. Вот подождите годок. До следующего Дня памяти павших. Увидите, где я тогда шагать буду. Распространяться, как и что, не стану — просто ждите и сами увидите, юноша. — Перевел взгляд на меня, слегка похлопал по плечу и качнулся на каблуках, многозначительно кивая. — Так-то, сэр… Недаром мы с зятем ушли из республиканцев в демократы три года назад. Зятя — в управу, а меня… Вот так-то. Если б только мой чертов зятек хоть теперь в демократах не лодырничал. А уж я — вот вы ровно через

год без двух дней встаньте на углу там, когда будем проходить, и своими глазами увидите.

— Надеюсь, так оно и будет. Вы заслужили это, Дьякон. Да, кстати… — Я вынул письмо из кармана. — Завтра придете к нам с этим письмом, вручите его Шриву. Он передаст вам кое-что. Только учтите — завтра, сегодня.

Он взял письмо, оглядел.

— Заклеено.

— Да. И внутри пометка, что оно действительно лишь с завтрашнего дня.

— Хм, — произнес он. Поджал губы, глядит на конверт. — Так, говорите, мне передадут кой-что?

— Да. В подарок от меня.

В черной руке — солнцем залитый белый конверт.

Дьякон смотрит на меня, глаза мягкие, сплошь темно-карие, без зрачка, — и вдруг из-под всей мишуры белого политиканства, униформ и гарвардских манер на меня глянул Роскус — несмелый, скрытный, бессловесный и печальный.

— Вы ведь не станете разыгрывать старого негра?

— Сами знаете, Дьякон, что нет. Вас в жизни хоть один южанин разыграл хоть раз?

— Это так. Они милые люди. Только с ними жить нельзя.

— А вы пытались? — сказал я. Но Роскус исчез уже.

И на Дьяконе снова личина, какую он издавна приучен являть миру — напыщенная, с фальшью, но без хамства.

— Будет сделано, юноша, по вашему желанию.

— Помните: не раньше завтрашнего дня.

— Так точно, — сказал он. — Договорились, юноша.

Итак…

— Ну, желаю вам… — сказал я. Он смотрит на меня чуть сверху вниз, благожелательно, значительно. Я вдруг протянул ему руку, пожал, а он мою — внушительно, со всей помпезной высоты своих служебных и военных грез. — Вы, Дьякон, славный малый. Желаю вам… Вы стольким уже студентам помогли на своем веку.

— Да, я ко всем стараюсь по-людски, без мелочных социальных различий. Человек для меня всюду человек.

— Желаю, чтобы у вас и впредь было столько же друзей среди студентов.

— Что говорить, с молодежью я умею ладить. Ну, и она меня не забывает, — сказал он и по-

тряс конвертом. Вложил в карман, застегнул пиджак. — Да уж, друзьями судьба меня не обделила.

Снова бьют куранты — половина. Встав на живот своей тени, слушаю, как удары мирно и размеренно нижутся вдоль солнечных лучей, сквозь узенькие, мелкие еще листочки. Размеренно, спокойно, безмятежно — по-осеннему звучат, как всегда куранты, даже в месяц невест. *Лежит на земле под окном и ревет* С одного взгляда на нее не понял. Устами младенцев. *Уличные фонари* Кончили бить. Пошел обратно к почте, втаптывая тень в мостовую, *идут сперва вниз, а затем подымаются в город, как, фонарики, подвешенные друг над другом на стене.* Отец сказал: она ведь любит Кэдди — любит людей чрез их изъяны. Дядя Мори сидит перед огнем, расставив ноги, но одну руку все же придется ему вынуть из кармана на минуту, чтобы выпить рождественский тост. Джейсон бежит руки в карманы — упал и как связанная курица, лежал, пока Верш не поднял. *«Ты чего рук из карманов не вынаешь, когда бежишь? Вынул бы — оперся»* Вертит в люльке головой, катает ее с боку на бок, уплощая затылок. Кэдди Джейсону сказала, что Верш знает, отчего дядя Мори бездельник — оттого, что младенцем раскатал себе

затылок в колыбельке.

Навстречу тротуаром косолапит Шрив, упитанно-серьезный, очки поблескивают лужицами под струящейся листвой.

— Я дал Дьякону записку — из одежды ему там кое-что. Меня, возможно, не будет весь день, так ты ему ничего сегодня не давай, ладно?

— Ладно. — Смотрит на меня. — А что это ты, собственно, затеял? Расфрантился и бродишь, как индийская вдова перед самосожжением.[29] На психологии сейчас ведь не был?

— Ничего я не затеял. Так ты сегодня ему не давай.

— Что у тебя под мышкой?

— Да ничего. Подметки на туфли набил. Так ничего до завтра не давать, слышишь?

— Слышу. Ладно. Да, вспомнил: тебе там на столе письмо с утра. Не брал?

— Нет.

— На столе лежит. От царицы Семирамиды. Шофер доставил в десятом часу.

— Хорошо, возьму. Интересно, что ей на этот раз нужно.

---

[29] КОММЕНТАРИИ: 29

как индийская вдова перед самосожжением. — По старинному индийскому обычаю, продержавшемуся до XIX в., вдовы сжигали себя на погребальном костре мужа.

— Полагаю, очередной концерт оркестра джентльменов. Ту-ру-ру, та-ра-ра, Джеральду гип-гип-ура. «Нельзя ли поэнергичнее в литавры, Квентин». Как здорово, что я не джентльмен. — Пошел, любовно прижимая к себе книжку, слегка бесформен, упитанно-сосредоточен. Уличные фонари. Ты потому так думаешь, что из Компсонов один был губернатором и трое генералами а у мамы в роду ни тех ни других?

— Всякий живой лучше всякого мертвого но нет таких среди живых ли мертвых чтобы уж очень были лучше других мертвых и живых *Но в мыслях маминых она уже виновна. Решено. Кончено. И это нас всех отравило* Ты путаешь грех с неприличем Женщины этих вещей не путают Твою мать заботят приличия А грех ли нет — о том она не задумывалась.

— Да я должна уехать Оставлю тебе всех возьму одного Джейсона и уеду куда-нибудь где нас не знают где он вырастет и забудет все это Остальные не любят меня они безлюбые в них компсоновский эгоизм и ложная гордость Только к Джейсону могло тянуться мое сердце без тайного страха.

— Ерунда при чем тут Джейсон Я о том что когда ты станешь лучше себя чувствовать вы с

Кэдди могли бы съездить во Френч Лик.

— И оставить Джейсона на тебя и на черномазых.

— Там она о нем забудет да и болтать перестанут *не смерть нашла на солонце*

— Возможно я ей мужа там нашла бы *не смерть на солонце*

Подошел трамвай, остановился. Часы все еще бьют половину. Я сел, и трамвай двинулся, заглушив, потопив бой часов. Не половину, а без четверти. Все-таки минут десять в запасе. Прочь из Гарвадского мечта твоей матери Для того и землю Бенджину продали.

— За что покарал меня бог такими детьми Бенджамин уже достаточное наказание а теперь она родную мать позорит Я столько из-за нее претерпела мечтала планы строила шла на жертвы прозябала в юдоли скорбей а она со дня рождения ни разу не подумала обо мне любяще Я смотрю на нее иной раз и дивлюсь моя ли это дочь Один только Джейсон не причинил мне ни малейшей горести с того дня когда я впервые взяла его на руки И я сразу поняла, что он будет моей радостью и избавлением Я думала Бенджамин достаточная кара за все мои грехи думала он мне в наказание за то что я поправ свою девичью гордость вышла

за человека считавшего меня себе неровней Я не ропщу Бенджамину моей любви досталось больше всех и я всегда считала долгом хотя сердцем я тянулась к Джейсону Но теперь я вижу что мало еще перестрадала вижу что должна искупить не только свои но и твои грехи В чем же ты так грешен За какие грехи твоих высокородных предков карает меня бог Но Компсонам ты всегда находишь оправдание один Джейсон у тебя плохой потому что в нем больше от Бэскомов В то время как твоя родная дочь моя малютка пала настолько Мы низкородны мы всего лишь Бэскомы и девочкой меня учили что женщины бывают порядочные или же непорядочные и среднего здесь быть не может Но когда я ее маленькую на руки брала лелеяла могла ли я подумать что моя дочь падет так низко Я по ее глазам ведь вижу Ты думаешь она тебе расскажет Нет она скрытная Ты ее не знаешь Я знаю про нее такие вещи я умерла бы со стыда скорее чем открыла бы их тебе Что ж продолжай бранить Джейсона и упрекать меня что наущаю его следить за ней как будто это преступление в то время как твоя родная дочь Я знаю ты его не любишь ряд верить про него плохому никогда ты Да да насмехайся над ним как ты вечно насмехаешься над Мори

Больвей чем дети ты все равно уже не можешь мне сделать Скоро я умру и некому станет любить Джейсона и ограждать от заразы Я и так каждый день боюсь а вдруг и в нем проявится наконец эта компсоновская кровь ведь на глазах у него сестра бегает к своему как их там называют Ты хоть раз его видел Так дай хотя бы мне возможность выяснить кто он Я не для себя мне претит и взглянуть на него я ведь для вас чтобы вас оградить но кто же в силах бороться с дурной кровью Ты и мне не даешь Мы выходит должны сидеть сложа руки и смотреть как она не только марает твое имя но заражает самый воздух которым дышат твои дети Нет позволь мне уехать я не могу больше выдержать отдай мне Джейсона я оставь себе их всех Джейсон моя плоть и кровь а они чужие не мои совсем я боюсь их Возьму Джейсона и уеду туда где нас никто не знает и на коленях молить буду бога да простятся мне мои грехи да минует Джейсона Иго проклятие и да позволит господь нам забыть что вы и были-то на свете.

Если это три четверти било, то не больше десяти минут осталось до полудня. Один трамвай только что отошел, и люди уже к следующему собираются. Я спросил, но он не знает, отправится ли следующий еще до двенадцати или же после,

потому что те, которые отправляются за город. А пока подошел опять местный. Я сел в него. Полдень и так ощутим. А любопытно, ощущают ли его шахтеры глубоко в земле. Нет, запах пота забивает. Для того и фабричные гудки, но отъехать подальше — и гудков уже нет, а за восемь минут трамвай увезет от бостонского пота на порядочное расстояние. Отец говорит: человек — это совокупность его бед. Приходит день — и думаешь, что беды уже устали стрясаться, но тут-то, говорит отец, бедой твоей становится само время. Чайка, подвешенная на невидимой проволоке и влекомая через пространство. Символ тщеты своей уносишь в вечность.

Там крылья отрастут, говорит отец, да только арфисты из нас плохие.

На остановках слышно тиканье моих часов, но это не часто. Уже питаются *Зачем нам арфы* Нутро наше занято делом питанья, там тоже пространство и время смешались. Желудок доложил, что полдень, мозг доложил, что время питаться. Ну и ладно. Интересно вот, который час, сколько минут осталось. А зачем тебе? Народ выходит. Трамвай теперь и останавливается реже — опустошен питаньем.

Полдень миновал. Я сошел, встал в своей тени,

немного спустя подошел трамвай, и я поехал назад на междугородную остановку. Там как раз отправлялся трамвай, я нашел место у окна, трамвай тронулся, и я смотрел, как город размочаливается в приречные низины, отмели, потом в деревья. Временами блестела река, и думалось о том, что им неплохо, наверно, там, в Нью-Лондоне, если только погода, и лодка Джеральда торжественно вплывает в сверкающий утренний плес. Любопытно, что его мамаше нужно от меня, зачем письмо присылает в десятом часу утра. В какую это из живых картин, восславляющих Джеральда, я приглашен *Долтон Эймс. Нет, асбест. Квентин застрелил* для фона и заднего плана. С участием девиц, разумеется. У женщин *и непрестанно голос его поверх болтовни глас над Эдемом* и вправду сродство со злом и убежденность, что их сестре нельзя доверять ни одной, а из мужчин не все способны защититься, есть и простофили. Так что девицы серенькие. Дальние родственницы и приятельницы, на которых одна уже вхожесть в дом налагает как бы обязательства noblesse oblige. А она будет восседать и хвастаться перед нами — в лицо этим серењким, — что, мол, Джеральду просто неприлично так выглядеть, что красота у них в роду,

но мужчине она ведь не нужна и даже в ущерб, а вот девушка без нее хоть пропадай. О женщинах Джеральда повествовать нам будет тоном *Квентин застрелил Герберта, голос его расстрелял сквозь пол Кэддиной комнаты* самодовольно-одобрительным. "Когда ему было семнадцать, я однажды сказала ему: как тебе не совестно иметь такие губы. Им ведь место на девичьем лице. И угадайте *Из-под вздутых гардин веет сумерками и запахом яблони Голова ее на сумерках очерчена, руки в крыльях кимоно закинуты за голову Глас, над Эдемом прозвучавший, чует платье на кровати сквозь яблоневый запах* что он мне ответил? Не забудьте, ему тогда всего семнадцать. Мама, отвечает он мне, эти губы и так там частенько". А Джеральд знай принимает царственные позы и сквозь ресницы дарит взором сразу двух или трех из них. И те, тая от восторга, ласточками реют у ресниц. Шрив мне: интересно, сколько этому *«Обещаешь мне заботиться о Бенджи и о папе?»*

«Ты Кэдди уж помалкивай о Бенджи и о папе Много ты о них думала»

«Обещай мне»

«Ты уж о них не тревожься Сама хороша уезжаешь»

«Обещай Я больна ведь Ты должен обещать»

анекдоту веков; но, впрочем, он всегда считал, что миссис Блэнд для своих лет отменно сохранилась. А Джеральда она не иначе как для какой-нибудь герцогини в соблазнители готовит. Шрива она называет «этот толстый канадский юнец»; дважды, даже не спросив меня, пыталась нас со Шривом расселить — один раз меня затевала переселять, а второй…

Шрив открыл дверь. В сумраке лицо его как тыквенный пирог.

— Что ж, простимся навеки. Жестокая судьба нас властна разлучить, но я никогда не полюблю другого. Никогда.

— Не пойму, о чем это ты?

— О жестокой судьбе, облаченной в восемь ярдов абрикосовой расцветки шелка и влачащей на себе больше металла — в расчете на фунт живого веса, — чем галервый кандальник, о полной владелице и собственнице непревзойденного и образцового хлыща, какими блистала приснопамятная Конфедерация. — И рассказал мне, как она ходила к проктору[30], чтобы Шрива отселили от меня, и как проктор оказался низок и упрям и ответил, что сперва надо Шрива спросить о

---

[30] КОММЕНТАРИИ: 30

Проктор — административная должность при университете.

согласии. Тогда она предложила, чтобы он тут же послал за Шривом и покончил с этим делом, а проктор отказался, и теперь она со Шривом еле здравствуется. — Я взял себе за правило, — сказал Шрив, — не отзываться дурно о женщинах. Но у этой дамочки такое обилие сучьих повадок, как ни у одной другой на всем пространстве Штатов и доминионов. — А теперь там на столе собственноручное письмо, приказ цвета и запаха орхидей. Если б ей сказали, что я чуть не под самым окном прошел — зная, что оно лежит там, — и не зашел Достопочтенная сударыня! Я не имел еще возможности прочесть ваше послание, но заранее прошу простить, что не смогу присутствовать ни на сегодняшнем, ни на вчерашнем, ни на завтрашнем, ни на Поскольку помню, что на очереди теперь повесть о том, как Джеральд спустил своего нигера с лестницы и как тот просил и молил, чтобы его определили в семинарию, только бы ему остаться близ хозяина, близ масса Джеральда, и как в слезах бежал он рядом с экипажем всю дорогу до вокзала, провожая масса Джеральда Я уж подожду до следующей басни — про того мужа-лесоруба, что с дробовиком явился к черному крыльцу, а Джеральд сошел к нему, переломил ружье напополам, вернул обломки, вытер руки

шелковым платком и бросил платок в огонь Это я слышал всего только дважды *застрелил его сквозь*… — Я видел как вы вошли сюда и улучив удобную минуту последовал примеру Нам не худо бы сойтись покороче Сигару

— Спасибо не курю

— Да С моей студенческой поры там немало должно быть перемен Не возражаете я закурю

— Курите

— Благодарю Я много слышал Полагаю матушка ваша не рассердится если мы эту спичку в камин много слышал о вас от Кэндэйси Во Френч Лике вы у нее с языка не сходили Я не на шутку приревновал даже Что это у нее за Квентин думаю себе Надо бы взглянуть что за чудо-юдо такое Потому что не скрою я по уши врезался в эту девчушку с первого же взгляда Мне и в голову не пришло что она про брата Про мужа и то столько не говорят Прямо свет клином сошелся на Квентине Может быть закурите все же

— Я не курю

— В таком случае настаивать не буду А сигары неплохие обходятся мне в двадцать пять долларов сотня оптом беру у одного приятеля в Гаване Так полагаю перемен там в Гарвардском немало Я все собираюсь туда съездить да никак

не получается Десять лет уже как впрягся в дело Отлучиться из банка могу только летом когда в университете никого С возрастом взгляды меняются Чему придавал значение будучи студентом о том с годами сами понимаете Расскажите мне как там теперь

— Я не собираюсь говорить ни отцу ни маме если вы насчет того забеспокоились

— Не собираетесь не соби Ах вон о чем вы Да ну как будто мне не все равно скажете или не скажете Неудачно тогда получилось но вы понимаете что это не уголовное преступление Не я первый не я последний Просто мне не повезло Возможно вы удачливей

— Вы лжете

— Не горячитесь Я не собираюсь выведывать секреты и не в обиду говорю Понятно что юнцу вроде вас вещь такого рода кажется весьма серьезной но пройдет лет пять

— Шулерство есть шулерство и не думаю чтобы в университете меня научили иначе на это смотреть

— Ну у нас разговор пошел прямо как в театре Вы и в драматическом семинаре должно быть отличаетесь Что ж вы правы не стоит им об этом говорить Кто старое помянет тому глаз вон — так

ведь Незачем нам портить отношения из-за безделицы Вы мне нравитесь Квентин И наружность ваша нравится Вас не спутаешь со здешними провинциалами Я рад что мы теперь накоротке Я вашей матушке обещал кое-что сделать для Джейсона но я и вам не прочь содействовать Для Джейсона и здесь вполне подходяще а вот для молодого человека вашего калибра в этой дыре перспектив ни малейших

— Спасибо Вы держитесь лучше Джейсона он вам больше подойдет

— Я сам жалею о той истории но ведь я тогда младенцем был и матери как ваша не имел некому было научить меня высшим тонкостям Если вы скажете ей то причините только напрасную боль Да вы правы незачем об этом знать ни им ни Кэндейси

— Я сказал — ни отцу ни маме

— Послушайте мальчик взгляните на меня и на себя Сколько думаете минут вы бы против меня продержалась

— А мне и не понадобится долго если вы такой же боксер как студент Попробуйте узнаете сколько продержусь

— Ох молокосос напросишься

— Давайте пробуйте

— Мой бог сигара Что бы ваша матушка сказала если бы я прожег ей каминную доску Вовремя успел Послушайте Квентин мы вот-вот учиним такое о чем после оба будем сожалеть Вы мне по душе Понравились с первого взгляда. Я сразу подумал кто б этот Квентин ни был а парень он должно быть первый сорт раз Кэндейси так о нем Вы меня послушайте Я уже десять лет вращаюсь в Деловом мире В реальной жизни эти вещи не столь важны Сами убедитесь Давайте столкуемся мы же свои люди оба гарвардцы А неузнаваем должно быть стал старик университет Нет в мире места лучше для молодежи Непременно сыновей своих туда пошлю пусть за меня доучатся Да погодите уходить Давайте обсудим здраво Я всей душой за то чтобы у молодого человека были благородные идеалы Пока он учится это ему на пользу характер формируется традиции там всякие студенческие Но когда потом выходишь в жизнь то приходится рвать свой кусок всеми способами потому что видишь ведь что и все черт их дери то же самое делают Ну давай руку и кто старое помянет Ради матушки твоей Вспомни какое у нее здоровье Да не прячь руку Смотри вот Новенькая без пятнышка как воспитанница вчера только из монастыря ни единой складочки

взгляни-ка

— К черту ваши деньги

— Да ну брось Я теперь ведь тоже член семьи Знаю как оно у молодых людей Расходов личных куча а из папаши выжать монету непросто Сам был таким не так давно Теперь-то я остепенился женюсь вот в Гарвардском особенно на этот счет Да ну же не дури Ты меня слушай Вот сойдемся как-нибудь потолковать по душам я тебе расскажу про вдовушку одну там в городе

— Я и это уже слышал Не суйте ваши чертовы деньги

— Ты считай что берешь их взаймы Зажмурь глаза разбогатеешь на полсотни

— Не суйте руки Уберите сигару с камина

— Ну и черт с тобой рассказывай Много этим возьмешь Только такой дурень как ты не способен понять что обе они с матушкой у меня вот так в руках и нечего тут братикам-молокососам с башкой набитой благородной спесью Тоже нашелся рыцарь Галахад[31] Мне твоя матушка тебя описала О входи дорогая входи Мы тут с Квен-

[31] КОММЕНТАРИИ: 31

Рыцарь Галахад — в легендах артуровского цикла благороднейший рыцарь Круглого Стола, которому было дано узреть чудеса Святого Грааля, священной чаши, которая идентифицируется с чашей крови Христовой и кубком причастия.

тином знакомство укрепляем разговор ведем о Гарвардском Что соскучилась о благоверном своем

— Герберт оставь нас одних на минуту Мне надо поговорить с Квентином

— Да входи же входи Поболтаем все втроем интимно Я как раз говорил Квентину

— Оставь нас Герберт на минуту

— Что ж пожалуйста Захотелось значит сестричке с братцем еще раз повидаться

— Вы бы убрали сигару с камина

— Прав как всегда мой мальчик Ну надо топать раз велят Сейчас Квентин самое их время помыкать нами но подождем до послезавтра и услышим «разреши муженек дорогой» Не так ли дорогая Ну поцелуй же

— Перестань прибереги до послезавтра

— Тогда уж я потребую с процентами Не позволяй тут Квентину начинать чего кончить не сможет Кстати рассказывал ли я Квентину как у одного был болтливый попугай и что с ним приключилось Печальная история и поучительная Напомни расскажу Ну пока до встречи на страничке юмора

— Ну

— Ну

— Что ты еще затеял

— Ничего

— Ты опять в мои дела суешься. Мало тебе того что было прошлым летом

— У тебя жар Кэдди *«Ты больна Чем ты больна»*

«Больна и все И к доктору нельзя»

Застрелил его голос сквозь

— Но не за этого прохвоста Кэдди

Время от времени река скользила вдалеке, яркими взблесками прочеркивая полдень и за. Теперь-то давно уже за полдень, хотя в одном из водных просветов я увидел, что он все еще гребет, величественно подымаясь по реке пред лицом бога — нет, богов. Богов — лучше. Бостонский бог, массачусетский, пожалуй, тоже «быдло» для Блэндов. Или просто, поскольку бог человек неженатый. Влажные весла мигают, переблесками уносят лодку на ладонях женских. Восторженно-льстивых ладонях. Раз у бога женой не попользуешься, то Джеральд его сбросит со счетов. *«Не за этого прохвоста Кэдди»* Река блеснула и ушла за поворот.

«Я больна Ты должен обещать»

«Больна чем ты больна»

«Больна и все И к доктору нельзя еще Обещай»

«Если им теперь несладко будет то из-за тебя ведь Чем ты больна» Нам слышно, как под окном отъезжает автомобиль на вокзал, к поезду, что в 8.10. Родственничков везет. Все новых Хедов[32]. Наращивает все новые головы. Хотя не парикмахеры. Маникюрщицы. У нас прежде был жеребец чистокровный. В конюшне — да, но под седлом ублюдок подлый. *Квентин расстрелял все их голоса сквозь пол Кэддиной комнаты*

Трамвай остановился. Я сошел — прямо в середку своей тени. Через рельсы дорога легка. Под деревянным навесом старик что-то ест из кулька, и вот уже трамвай из слуха вышел. Дорога уходит в деревья, там будет тенисто, но июньская листва здесь, в Новой Англии, немногим гуще, чем апрельская у нас в Миссисипи. В той стороне — фабричная труба. Я повернулся, пошел в противоположную, втаптывая тень в пыль. *«Во мне что-то было ужасное Ночью иногда оно на меня скалилось Сквозь них сквозь их лица мне скалилось Теперь прошло и я больна»*

«Кэдди»

«Не трогай меня обещай мне только»

«Раз ты больна ты, ведь не можешь»

---

[32] КОММЕНТАРИИ: 32
Head (фамилия Герберта) в буквальном переводе — голова.

«Нет могу Все после этого уладится и будет все равно Не давай им отправить его в Джексон Обещай»

«Обещаю Кэдди Кэдди»

«Не трогай меня не трогай»

«А облика оно какого Кэдди»

«Что»

Что и то скалилось тебе сквозь них"

Труба видна еще. В той стороне вода, к морю течет, к тихим гротам. Тихо будут на дне рассыпаться, и, когда Он повелит воскреснуть, всплывут только одни утюги. Уходя на весь день на охоту, мы с Вершем не брали поесть, и в двенадцать начинало сосать под ложечкой. Длилось это примерно до часа, а потом я вдруг забывал и о том даже, что голод у меня уже прошел. *Фонари уходят под гору а немного погодя услышал как автомобиль ушел туда же Подлокотник плоский прохладный гладкий под моим лбом выгиб кресла ощутим и на волосы сверху веет яблоней над платьем подвенечным которое по запаху услышал нос* — У тебя жар Я вчера заметил Как от печки пышет.

— Не трогай

— Кэдди раз ты больна ты не можешь. Не за этого прохвоста.

— Я должна замуж за кого-нибудь. *И тут мне говорят что кость придется ломать заново*

Наконец труба скрылась из виду. Дорога идет вдоль стены. Поверх нее деревья клонят ветви, кропленные солнцем. Камень стены прохладен. Идешь вблизи нее, и на тебя веет прохладой. Только все здесь скудней, чем у нас. Дома, бывало, выйдешь — и точно окунешься в тихое и яростное плодородие, всеутоляющее, как хлеб голод. Сплошным щедрым потоком вкруг тебя, не скряжничая, не трясясь над каждым жалким камушком. А здесь зелени отпущено деревьям как будто ровно столько, чтобы хватило с грехом пополам для прогулок, и даже лазурь дали — не обильна, не наша фантастическая синева. *что кость придется ломать заново и внутри у меня что-то Ох Ох Ох и в пот ударило Большая важность пусть ломают Знаем уже что такое сломанная нога и ничего тут страшного Придется только дома просидеть немного дольше вот и все А скулы мои сводит и губы сквозь пот выговаривают Обождите Минуту обождите Ох Ох стиснул зубы И отец: Проклятый жеребец проклятый конь Подождите я сам виноват Каждое утро он с корзиной идет к кухне тарахтя палкой по штакетинам забора и каждое утро я*

волокусь к окну хоть нога в гипсе и подстерегаю его с куском угля в руке А Дилси: Ты себя загубишь ты видать вовсе без разума еще и четырех дней мету как сломал Обождите Дайте минуту привыкнуть одну минуту только обождите

Здесь даже и звуки глуше, как будто здешний воздух обветшал, столько уже лет передавая звуки. Собачий лай слышно дальше, чем поезд, — в темноте, по крайней мере. И людские голоса тоже некоторые. Негритянские. Луис Хэтчер никогда не трубил в рог, хоть и таскал на себе вместе с тем старым фонарем. Спрашиваю его:

— Луис, ты когда фонарь последний раз чистил?

— Не так чтобы давно. Вот когда у северян там паводком все смыло — в тот день как раз и вычистил. Сидим мы со старухой вечером у очага, она говорит: «Луис, что, если и нас затопит?» А я ей: «И то правда. Пожалуй, вычищу-ка я фонарь». И в тот самый вечер вычистил.

— Наводнение было далеко-далеко, в Пенсильвании, — говорю я. — К нам оно не могло бы дойти.

— Это так по-вашему, — говорит Луис. — А по-нашему, вода — она и в Джефферсоне мокрая, подыматься и затапливать может не хуже, чем в

Пенсильване. Вот такие, что говорят: до нас, мол, не дойдет, — глядишь, как раз и плывут потом на коньке крыши.

— Вы с Мартой небось и дома не остались ночевать?

— Само собой. Вычистил я фонарь, и до самого утра мы с ней потом просидели на бугре за кладбищем. А знать бы местечко повыше, так мы с ней и туда не поленились бы забраться.

— И с тех пор так ни разу фонарь и не чищен?

— А зачем его чистить без надобности?

— Значит, до следующего наводнения?

— Что ж, в тот рай он нас упас.

— Да ну, дядюшка Луис, брось шутки, — говорю я.

— Ага, шутки. Вы по-своему, а мы по-своему будем. Если, чтоб упастись от воды, только и надо, что фонарь почистить, то уж я артачиться не стану.

— Дядя Луис не привык, чтоб фонарь свет давал, ему в потемках сподручней опоссумов брать, — говорит Верш.

— Я, парень, тут на опоссумов охотился еще в те времена, когда твоему отцу его мамаша керосином вымывала гнид из головенки, — говорит Луис. — И домой приходил не с пустыми руками.

— Что правда, то правда, — говорит Верш. — Навряд ли есть у нас такой в округе, чтоб за жизнь добыл больше опоссумов, чем дядя Луис.

— То-то же, — говорит Луис. — Опоссумам моим света хватает. Они у меня не жалуются на фонарь. А теперь кончай, ребята, разговоры. Слышите, учуяли. Ого-го! Веселей, собачки! — И мы сидим средь сухих листьев, они слегка шуршат от наших затаенно-ждущих выдохов и вдохов и от неспешного дыхания земли в безветренной октябрьской ночи. В жесткой свежести воздуха — вонь фонаря, лай собак и замирающий вдали эхом голос Луиса. Он никогда его не напрягал, но в тихий вечер, бывало, этот голос доносило даже к нам на веранду. Когда Луис сзывал собак, голос его звучал трубно, как рог, праздно висевший у него через плечо, — но чище, мягче рога, словно голос этот был частью тьмы и тишины, возникал, развивался из них и снова уходил, свивался в темноту. Ого-гоОоооо. Го-гоОоо. Го-го-оОоооооооооооооооо. *«Должна выйти замуж»*

«У тебя их очень много было Кэдди»

«Не знаю Слишком много Обещай заботиться о Бенджи и о папе»

«И ты не знаешь от кого у тебя А он знает ли»

«Не трогай меня Обещай о Бенджи и о папе»

Еще не подошел к мосту, а уже ощутилась вода. Мост из серого камня, мшистого, в плесенных пятнах медленно ползущей сыри. В тени под ним вода негромкая и чистая журчит, курлычет, обтекая камень, в гаснущих воронках вертя небо. *«Кэдди не за этого»*

«Я должна за кого-нибудь» Верш рассказывал, как один малый сам себя изувечил. Ушел в лес и, сидя там в овражке, — бритвой. Сломанной бритвой отчекрыжил и тем же махом через плечо швырнул их от себя кровавым сгустком. Но это все не то. Мало их лишиться. Надо, чтоб и не иметь их отроду. Вот тогда бы я сказал: «А, вы про уго. Ну, это китайская грамота. По-китайски я ни бе ни ме». Отец мне говорит: «Ты потому так, что ты девственник. Пойми, что женщинам вообще чужда девственность. Непорочность — состояние негативное и, следовательно, с природой вещей несовместное. Ты не на Кэдди, ты на природу в обиде». А я ему: «Одни слова все». И в ответ он: «А девственность будто не слово?» А я: «Вы не знаете. Не можете знать». И в ответ: «Нет уж. С момента, как это осознано нами, трагедия теряет остроту».

Там, где воду кроет тень от моста, видно далеко вглубь, хотя не до самого дна. Если листок в воде долго, то со временем всю зеленую ткань

размывает, и одни только тонкие жилки веют медленным движеньем сна. Каждая колеблется раздельно, как бы спутаны ни были раньше, как бы плотно ни прилегали к костям. И может, когда Он повелит воскреснуть, глаза тоже всплывут из мирной глубины и сна на горнюю славу взглянуть. А следом уж всплывут и утюги. Спрятав их под мостом с краю, я вернулся и облокотился на перила.

Не до дна, но до глуби ток воды прозрачен, и вижу — там какая-то теневая черта висит, как жирно проведенная стрела, нацелившаяся в течение. А над самой водой мошкара — веснянки снуют из тени на солнце и снова в тень моста. *Если бы просто за всем этим ад — чистое пламя и мы оба мертвее мертвых. Чтобы там один я с тобой я один и мы оба средь позорища и ужаса но чистым пламенем отделены* Без шевеления малейшего стрела выросла в размерах, и, взрябив губой гладь, форель утянула под воду веснянку с той великаньей уклюжестью, с какой слон подбирает фисташку. Воронка, сглаживаясь, поплыла течением, и опять стрела нацелилась, чуть колышимая водным током, над которым вьются и парят веснянки. *Чтоб только ты и я там средь позорища и ужаса но отгороженные*

чистым пламенем

Форель висит уклюже и недвижно средь зыбящихся теней. Подошли трое мальчуганов с удочками, и мы, облокотясь, стали вместе глядеть на форель. Эта рыбина — их старый знакомец. Достопримечательность местная.

— Ее уже двадцать пять лет ловят и поймать не могут. Одна бостонская лавка объявила, что даст спиннинг ценой в двадцать пять долларов тому, кто ее поймает на крючок.

— Ну и чего же вы зеваете? Разве не хочется иметь такой спиннинг?

— Хочется, — ответили они, следя с моста за форелью — Еще как хочется, — сказал один.

— Я бы не стал брать спиннинг, — сказал второй. — Деньгами взял бы.

— А они, может, деньгами не дали бы, — возразил первый. — Спорим, дали бы спиннинг, и все.

— А я б его продал.

— Двадцать пять долларов ты бы за него не выручил.

— Сколько бы выручил, столько бы и выручил. Я этой удочкой рыбы не меньше могу наловить, чем тем спиннингом. — И разговор свернул на то, что можно бы купить на двадцать пять долларов. Все сразу заговорили — горячо, наперебой,

запальчиво, нереальное обращая в возможное, затем в вероятное, затем в неспоримый факт, как это у людей всегда выходит, когда они желания облекают в слова.

— Я бы лошадь купил и фургон, — сказал второй.

— Как же, продадут тебе за эту цену, — сказали первый и третий.

— А я говорю, продадут. Я знаю, где купить можно. Один человек продает.

— А кто он?

— Да уж кто б ни был. Двадцать пять долларов дам — и отдаст.

— Ага, после дождичка, — сказали первый и третий — Никакого он не знает человека. Болтает только.

— Вы так думаете? — сказал второй. Те продолжали насмехаться, но он молчал. Опершись о перила, смотрел вниз на рыбину, которую уже пустил в оборот мысленно, — и вдруг весь задор, вся едкость ушли из голосов тех двоих, как будто и они уверились, что форель поймана и лошадь с фургоном куплены: подействовало горделивое молчание, не только взрослых, но и мальчишек способное убедить в чем угодно. По-моему, это логично, что люди, столько водя себя и других за

нос при помощи слов, наделяют молчание мудростью, и в наступившей паузе почувствовалось, как те двое спешно ищут возражение, средство какое-то отнять фургон и лошадь.

— Никто тебе не даст двадцать пять долларов за спиннинг, — сказал первый. — Спорю на что хочешь, не дадут.

— Да он и не поймал еще форелину, — вспомнил третий, и оба закричали:

Ага, а я что говорю! Ну-ка, как того человека зовут? Слабо сказать. Его и нет на свете.

— Да заткнитесь вы, — сказал второй. — Смотрите, опять выплывает. — Они нагнулись и застыли одинаково, и одинаковые удочки тонко и косо блестят на солнце. Форель не спеша всплыла зыбко растущей тенью; опять воронка ушла по течению, медленно разглаживаясь.

— Ух ты, — пробормотал первый.

— Мы и не пробуем уже ее ловить, — сказал он. — Только смотрим, как приезжие бостонцы пробуют.

— А другой, кроме нее, тут рыбы нет?

— Нету. Из этого омута она других всех повыгоняла уженья самое лучшее место ниже, у водоворота.

— А вот и нет, — сказал второй. — У мельницы

Бигев два раза больше словишь. — Они поспорили немного — где клев лучше, затем внезапно замолчали и стали глядеть, как форель опять всплывает и как воронка всасывает клочок неба. Я спросил, далеко ли отсюда до ближайшего городка. Они сказали.

— Но к трамвайной линии ближе всего вон туда, — доказал второй в сторону, откуда я пришел. — Вам куда?

— Никуда. Гуляю просто.

— Вы из университета студент?

— Да. А фабрика в том городке есть?

— Фабрика? — Смотрят на меня.

— Нет, — сказал второй, — Там фабрик нету. — Смотрит на мой костюм — Вы что, работу ищете?

— А про мельницу Бигелоу ты забыл? — сказал третий.

— Тоже фабрику нашел. Он про настоящую фабрику спрашивает.

— Чтобы с фабричным гудком, — сказал я. — Тут часового гудка ниоткуда что-то не слыхать.

— А-а, — сказал второй. — Ну, там на унитарианской церкви[33] есть часы. Узнать время можно по ним. А на цепке у вас не часы разве?

---

[33] КОММЕНТАРИИ: 33

Унитарианская церковь — одна из наиболее крупных протестантских церквей США, особенно распространенная в штатах Новой Англии.

— Я их утром разбил.

Показал им часы Осмотрели, посерьезнев.

— А идут все-таки, — сказал второй — Сколько такие часы стоят?

— Они дареные, — сказал я — Отец мне дал их, когда я кончил школу.

— Вы не из Канады? — спросил третий. Рыжеволосый.

— Из Канады?

— Нет, у канадцев выговор не такой, — сказал второй. — Я слышал, как говорят канадцы. А у него — как у артистов, которые неграми переряжаются.[34]

— А ты не боишься, — спросил третий, — что он тебя двинет за это?

— За что?

— Ты сказал, что он как негры говорит.

— Да ну тебя, — сказал второй. — Вон за тем холмом вам станет видно колокольню.

Я поблагодарил их.

— Желаю вам наловить много рыбы. Только эту старую форелину не троньте. Она заслужила,

---

[34] КОММЕНТАРИИ: 34

...у артистов, которые неграми переряжаются. — Речь идет о так называемых «менестрелях», театральных труппах, специализировавшихся на комических представлениях особого жанра с элементами негритянского фольклора. «Менестрели» пользовались популярностью в США вплоть до 1920-х годов.

чтобы ее оставили в покое.

— Да ее все равно не поймаешь, — сказал первый.

Смотрят в воду с моста, и три удочки на солнце, как три косые нити желтого огня. Иду и снова втаптываю свою тень в пятнистую тень деревьев. Дорога повернула, подымаясь от реки. Взошла на холм, извилисто спустилась, маня глаз и мысль за собой, под зелено застывший кров; там над деревьями квадрат башни и круглое око часов, но еще в удаленье достаточном. Сел у обочины. Трава по щиколотку, несметнолистая. Тени на дороге застыли, как по трафарету впечатанные, вчерченные косыми грифелями солнца. Но это поезд всего-навсего, и вскоре протяжный гудок заглох за деревьями, и стало мои часы слышно и гаснущий стук колес, как будто поезд шел где-то совсем в другом месяце и сквозь иное лето, мчался под реющей чайкой. И все на свете мчится. Кроме Джеральда. Он тоже как бы реет — одиноко и торжественно гребет сквозь полдень, выгребает из полдня по длинным и ярким лучам, точно в апофеозе возносясь в дремотную бескрайность, где только он и чайка: она неистово-недвижная, он же в четких гребках и возвратах, мерностью сродных с покоем, и на блеске солнца-тени их

обоих, а внизу — весь мир карликово. Кэдди не за этого прохвоста не за этого Кэдди.

С косогора спускаются их голоса и три удочки — пойманными нитями бегучего огня. Они смотрят, проходя, не замедляя шага.

— Что-то не вижу форелины, — окликнул я их.

— А мы и не пробовали, — сказал первый. — Ее все равно не поймаешь.

— Вон там часы, — сказал второй, указывая на башню. — Чуть ближе подойдете — станет видно стрелки. Да-да, — сказал я. — Хорошо. — Я встал. — Вы в город?

Мы к водовороту, за голавлями, — сказал первый.

У водоворота клева нет, — сказал второй.

Тебе обязательно хочется к мельнице, где полно ребят плескается и вся рыба распугана.

— У водоворота не наловишь ничего.

— Вот будем стоять здесь — много наловим, — сказал третий.

— Заладил: водоворот, водоворот, — сказал второй. — Там же не клюет.

— А ты не ходи, — сказал первый. — Ты ко мне веревкой не привязан.

— Пошли на мельницу купаться, — сказал третий.

— Я пошел к водовороту за голавлями, — сказал первый. — А вы как хотите.

— Ну скажи ты ему, сколько уже лет, как в последствии раз у водоворота клевало, — сказал второй третьему.

— Пошли на мельницу купаться, — сказал третий. Башенка медленно тонет в деревьях, и круглый циферблат еще достаточно далек. Мы идем в пятнистой тени. Подходим к саду, белому и розовому. Он весь полон пчел, их уже слышно.

— Пошли на мельницу купаться, — сказал третий. У сада тропинка ответвилась от дороги. Третий замедлил шаг, остановился. Первый мальчуган продолжает идти, солнечные пятна скользят с удочки на плечо и по рубашке вниз. — Пошли, а, — сказал третий. Второй тоже остановился. *«Кэдди зачем тебе замуж»*

«Хочешь чтобы я ответила зачем Думаешь скажу и причина исчезнет»

— Пошли с нами на мельницу, — сказал третий. — Пойдем.

Первый не слушает. Босые ноги его ступают без шума, мягче листьев ложатся шаги в легкую пыль. Пчелы в саду шумят, как подымающийся ветер, — звук доведен до самой почти вершины нарастания и пойман, длится как бы волшеб-

ством. Тропинка уходит вдоль стены, усыпанная цветом, под сводом цветущим, и вдали теряется в деревьях. Сквозь ветки солнце — косо, нечастым горячим накрапом. Желтые бабочки в тени мелькают солнечными крапинами.

— Зачем тебе к водовороту? — сказал второй. — Как будто нельзя у мельницы удить.

— Да пусть идет, — сказал третий, Глядят вслед первому Солнце мажет пятнами его уходящие плечи, желтыми муравьями скользит по удочке.

— Кении, — позвал второй. *«Отцу скажи скажешь да Мы же от него Родитель Я его породил создал я его Скажи отцу тогда оно исчезнет потому что он скажет „Меня нет“ и тогда не будет нас с тобой тоже раз он родитель»*

— Да пошли, — сказал третий — Там уже все наши — Смотрят первому вслед. — Ну и пускай, — сказали оба вдруг — Ну и иди себе, сынок мамин Боится, что от купанья голова будет мокрая и мама выпорет. — Они свернули на тропинку, пошли тенью, и вокруг них желто мигают мотыльки.

потому что ничего другого нет Мне верится что есть но возможно и нет и тогда я Ты поймешь что даже вселенская несправедливость едва ли стоит того что ты намерен Он не обращает на меня внимания, скула его упряма в профиль,

лицо отвернуто слегка под помятой шляпой

— Почему ты не пошел с ними купаться? — спросил я. *«не за этого прохвоста Кэдди»*

«Ты что драку с ним хотел затеять»

«Он лжец и негодяй Кэдди его из студенческого клуба выгнали за шулерство объявили ему бойкот В зимнюю сессию поймали со шпаргалкой и исключили»

«Ну и что Я к ним в карты играть не собираюсь»

— Значит, рыбу удить ты больше любишь, чем купаться? — сказал я Пчелиный гуд убавился, но длится, как будто не он сникает в тишину, а тишина возросла между садом и нами, как вода, прибывая Дорога опять повернула и сделалась улицей между тенистых лужаек и белых домов *«Кэдди как ты можешь за этого прохвоста Подумай о Бенджи о папе не обо мне»*

«А о ком я думаю если не о Ради кого еще я это делаю» Мальчик свернул Не оглянувшись, перелез через забор, прошел лужайкой к дереву, удочку положил на землю, влез на дерево и сел в развилке сучьев, спиной к улице, и зайчики застыли наконец на белой рубашке *«Ради кого еще я и выплакаться не могу даже Прошлым летом я говорила тебе что мертва но тогда я еще не зна-*

ла что говорю не знала что это значит» Такие дни бывают у нас дома в конце августа — воздух тонок и свеж, как вот сегодня, и в нем что-то щемяще-родное, печальное. Человек — это сумма климатов, в которых приходилось ему жить Так отец говорил. Человек — это сумма того и сего. Задачка на смешанные дроби с грязью, длинно и нудно сводимая к неизменному нулю — тупику страсти и праха. *«Но теперь говорю тебе и знаю что мертва»*

«Так зачем тебе Слушай давай уедем ты, Бенджи и я куда-нибудь где нас никто не знает где» В пролетку впряжен белый конь, копыта бьют легкую пыль; паутиноспицые колеса сухо поскрипывают, катясь в гору под лиственной рябью, под вязами Под академическими вязами.

«А на какие деньги На те что за твое ученье отдали что за луг выручили Неужели ты не понимаешь что теперь ты обязан кончить курс иначе у Бенджи не будет совсем ничего»

Продали луг Белая рубашка его неподвижна в развилке, в мерцающей тени Колеса паутиноспицые Под насевшим на рессоры кузовом мелькают копыта, проворно и четко, как игла вышивальщицы, и пролетка уменьшается без продвиженья — так марионетка топчется на месте, а в это вре-

мя ее быстро тянут за кулисы Опять Поворот, и стало видно белую башню и круглоликую глупую самоуверенность часов *Луг продали*

«Врачи говорят что папе не прожить и года если пить не бросит а он не бросит не сможет теперь после того что я после того что прошлым летом И тогда Бенджи в Джексон отвезут И выплакаться не могу даже выплакаться» Застыла в дверях на миг а в следующий Бенджи уже тащит ее за платье ревет голос раскатами от стены к стене а она вжимается в стенку все больше съеживается и в белом лице глаза как пальцем вдавленные выпихнул ее из комнаты Голос раскатывается точно не в силах собственный раскат остановить уместить в тишину ревет

Я открыл дверь, и колокольчик прозвенел — всего однажды, высоко, чисто и слабенько звякнул в опрятном сумраке над дверью, как будто металл и размер с тем и выбраны, чтобы получался этот чистый слабый звяк, и не изнашивался колокольчик, и не слишком велик был расход тишины на ее водворение после того, как дверь открылась и навстречу тебе теплый дух свежевыпеченного хлеба, и стоит замурзанная девочка с глазами, как у плюшевого медвежонка, и с двумя словно лакированными косичками

— Привет, сестренка — В теплой хлебной духовитости личико — как чашка молока с малой помесью кофе — А где продавец?

Смотрит молча, но вот задняя дверь отворилась, и вошла хозяйка Над прилавком, где за стеклом ряды румяных корок, воздвиглось опрятное серо-стальное лицо — жидкие волосы туго оттянуты с опрятного серо-стального лба, очки в опрятной серо-стальной оправе, — воздвиглось, прикатило, водрузилось, как магазинная стальная касса. На библиотекаршу похожа. На нечто мирно-засушенное среди пыльных полок, где в строгом порядке расставлены непреложные и прописные истины, давно отрешенные от жизни, — как будто стоит лишь дунуть ветерку из мира, где неправедность творится.[35]

---

[35] КОММЕНТАРИИ: 35

…неправедность творится… — реминисценция из любимого Фолкнером стихотворения английского поэта Алфреда Эдуарда Хаусмана (1859–1936), входящего в книгу «Парень из Шропшира» (1896):

> *Я пытаюсь понять, почему я хожу по земле, пью воздух и чувствую солнце,*
>
> *Но причины никак не найти.*
>
> *Успокойся, успокойся, душа! Это ненадолго.*
>
> *Давай потерпим — пусть неправедность творится у нас на глазах.*

Смерть уподобляется в стихотворении вожделенному сну, и оно заканчивается словами: «О, почему же я проснулся? Когда же я смогу уснуть вновь?»

— Пожалуйста, две сдобные, мэм.

Взяла под прилавком квадратно нарезанную газету, положила на прилавок, достала две плюшки. Девочка смотрит на них не моргая и глаз не сводя, похожих на две коринки, всплывшие в чашке некрепкого кофе. Страна для мойш, отчизна итальяшкам.[36] Смотрит на булочки, на опрятно серо-стальные пальцы, на широкое золотое кольцо за синеватым суставом указательного левого.

— Вы их сами выпекаете, мэм?

— Простите, сэр? — переспросила. Вот так: "Простите, сэр? — точно на сцене. — С вас пять центов. Что-нибудь еще желаете?

— Нет, мэм. Я-то нет. А вот юная леди желает. — Из-за витрины хозяйке ее не видно. Подошла к краю, смотрит оттуда на девчушку.

— Она с вами?

— Нет, мэм. Я вошел — она уже здесь была.

— Ах ты, негодница маленькая, — сказала хозяйка. Вышла из-за прилавка, но не доходя остановилась. — Небось набила уже карманы?

---

[36] КОММЕНТАРИИ: 36

Страна для мойш, отчизна итальяшкам. — Ироническая перефразировка стиха из патриотической песни Фрэнсиса Скотта Ки (17791843) «Звездное знамя» (1814), ставшей с 1931 г. национальным гимном США: «Америка… — страна свободных, отчизна отважных».

— У нее нет карманов, — сказал я. — Она ничего не брала. Стояла и ждала вас.

— А почему колокольчик молчал? — грозно блеснула на меня очками. Ей не хватает только пучка розог и на доске чтоб классной позади: 2х2=5. — Она так спрячет под платье, что ввек не догадаетесь. Скажи-ка мне, деточка, как ты вошла сюда?

Молчит девчушка. Смотрит на хозяйку. На меня летучий черный взгляд — и снова на хозяйку.

— Эти иностранцы, — сказала хозяйка. — Как она так вошла, что и звонка не было слышно?

— Я открыл дверь, она и вошла, — сказал я. — Колокольчик доложил о нас обоих сразу. Отсюда за прилавок ей все равно не дотянуться. К тому же она бы и не стала. Правда, сестренка? — Смотрит на меня взором тайным, раздумчивым. — Что тебе? Хлеба?

Протянула кулачок. Разжала — в нем влажные и грязные пять центов, и на ладошке влажно-грязный отпечаток. Монета сырая и теплая. Слышен запах монетный, слабо металлический.

— Дайте нам, пожалуйста, пятицентовый хлеб.

Хозяйка достала из-под прилавка газетный лоскут, постлала сверху, завернула хлеб. Я положил монету на прилавок и еще одну такую же.

— И булочку еще, пожалуйста.

Вынула из витрины плюшку.

— Дайте-ка ваш сверток.

Я дал, она развернула, присоединила третью плюшку, завернула, взяла монетки, нашла у себя в фартуке два цента, подала. Я вложил их девочке в руку. Пальцы сжались, горячие и влажные, как червячки.

— Эту третью вы — ей? — спросила хозяйка.

— Да, мэм, — ответил я. — Я думаю, она съест вашу булочку с не меньшим удовольствием, чем я.

Я взял оба свертка, отдал хлеб девочке, а серостальная за прилавком смотрит на нас с холодной непреложностью

— Погодите-ка минутку, — сказала она. Ушла в заднюю комнату. Дверь отворилась, затворилась. Девчушка на меня глазеет, прижав хлеб к грязному платьицу.

— Как тебя зовут? — спросил я. Отвела взгляд, но ни с места. Даже как будто не дышит. Хозяйка вернулась. В руке у нее какой-то странный предмет. Она держит его чуть на отлете, как несла бы дохлую ручную крысу.

— Вот тебе, — сказала хозяйка. Девочка подняла на нее глаза. — Бери же, — сказала хозяйка, суя принесенное. — Оно только на вид неваж-

ное. А на вкус разницы не будет никакой На же. Некогда мне с тобой тут. — Девочка взяла, смотрит на хозяйку. Та вытерла руки о фартук. — А колокольчик надо будет починить, — сказала. Подошла к входной двери, распахнула. Невидимый над дверью колокольчик звякнул чисто и слабо. Мы пошли к двери, к сосредоточенной спине хозяйки.

— Благодарим вас за пирожное, — сказал я.

— Уж эти иностранцы, — сказала она, всматриваясь в сумрак над дверью, где прозвучал колокольчик. — Мой вам совет, молодой человек, держаться от них подальше.

— Слушаю, мэм, — сказал я — Пошли, сестренка. — Мы вышли. — Благодарю вас, мэм.

Она захлопнула дверь, опять распахнула рывком, и колокольчик тоненько звякнул.

— Эт-ти иностранцы, — проворчала хозяйка, вглядываясь в наддверный сумрак.

Мы пошли тротуаром.

— Ну, а как насчет мороженого? — сказал я. Надкусила свое пирожное-уродину. — Мороженое любишь? — Подняла на меня спокойный черный взгляд, жует. — Что ж, идем.

Мы вошли в кондитерскую, взяли мороженого. Хлеб она по-прежнему прижимает к себе. «Дай

положу его на столик, тебе удобнее будет есть». Не дает, прижимает, а мороженое жует, как тянучку. Надкусанное пирожное лежит на столике. Методически съела мороженое И опять взялась за пирожное, разглядывая сласти под стеклом прилавков. Я кончил свою порцию, мы вышли.

— Где ты живешь? — спросил я.

Пролетка опять, с белой лошадью. Только доктор Пибоди[37] толще. Триста фунтов. Он подвозил нас на гору. Цепляемся, едем на подножке. Детвора. Чем цепляться, легче пешком. *«А к доктору ты не ходила к доктору Кэдди»*

«Сейчас не нужно и нельзя пока А после все уладится и будет все равно»

Ведь женское устройство хитрое, таинственное, говорит отец. Хитрое равновесие месячных грязнений меж двумя лунами. Полными, желтыми, как в жатву, бедрами, чреслами. Это снаружи, снаружи-то всегда, но. Желтыми. Как пятки от ходьбы. И чтоб мужлан какой-то, чтобы все это таинственное, властное скрывало А снаружи,

---

[37] КОММЕНТАРИИ: 37

Пибоди Люций Квинтус — постоянный персонаж «саги Йокнапатофы» старый джефферсоновский врач, описанный в «Сарторисе» как человек «восьмидесяти семи лет от роду, трехсот десяти фунтов весом, обладатель здорового, как у лошади, пищеварительного тракта». Упоминается также в «Поселке», «Городе», «Похитителях» и ряде других произведений.

несмотря на это, сладость округлая и ждущая касанья. Жижа, что-то утопшее, всплывшее, дряблое, как серая плохо надутая камера, и во все вмешан запах жимолости.

— А теперь тебе, пожалуй, пора отнести хлеб домой, согласна?

Смотрит на меня. Жует себе спокойно, через равномерные интервалы по горлу скользит книзу катышек. Я развернул свой сверток, дал ей булочку, сказал «До свидания».

Пошел прочь. Оглянулся. Идет за мной.

— Тебе разве по пути? — Молчит. Идет рядом, под самым локтем у меня, ест булочку. Идем дальше. Вокруг тихо, почти никого *во все вмешана жимолость Она бы мне наверно сказала чтоб только не сидел на ступеньках не слышал как дверь ее хлопнула сумерками и Бенджи плачет до сих пор К ужину придется ей сойти и всюду вмешан запах жимолости* Дошли до перекрестка.

— Ну, здесь мне поворачивать, — сказал я. — До свиданья. — Остановилась тоже. Доела пирожное и принялась за булочку, не сводя с меня глаз. — До свидания, — сказал я. Завернул за угол и пошел улицей, а оглянулся, лишь дойдя до следующего перекрестка.

— Да живешь-то ты где? Вон там? — указал

я рукой в сторону, куда шел. Смотрит на меня, молчит. — Или вон в той стороне? Ты, наверное, живешь у вокзала, где поезд? Угадал? — Смотрит на меня загадочно, невозмутимо и жует. Улица пуста в обоих направлениях, тихие газоны и чистенькие домики среди деревьев, но никого нигде, лишь у магазина позади нас. Повернули, идем обратно. Двое на стульях у входа.

— Не знаете ли вы, чья это девочка? Увязалась за мной, а где живет, не говорит.

Глаза их переместились с меня на нее.

— Это, должно быть, итальянцев. Их несколько семей поприезжало, — сказал один, в порыжевшем сюртуке. — Я ее уже видел тут как-то. Тебя как звать, девочка?

Черным взглядом смотрит на сидящих, мерно двигая подбородком. Глотнула, не переставая жевать.

— Она, может, не умеет по-английски, — сказал второй.

— Ее за хлебом послали, — сказал я. — Значит хоть два слова да умеет.

— Как твоего папашу звать? — спросил первый. — Пит? Джо? Имя Джон, да?

Еще откусила от булочки.

— Что мне с ней делать? — сказал я. — Ходит

за мной неотступно. А мне надо возвращаться в Бостон.

— Студент?

— Да, сэр. И мне надо ехать.

— Сдайте ее, что ли, Ансу, нашему полисмену. Идите прямо, дойдете до городской конюшни. Он там сейчас.

— Придется, видимо, — сказал я. — Надо же что-то предпринять. Благодарю вас. Пошли, сестренка.

Идем по улице, теневой стороной, где ломаную тень фасадов медленно вбирает мостовая. Дошли до конюшни. Полисмена там нет. Прохладный темный ветерок, пахнущий нашатырем, повевает между рядами стойл, а в широких и низких воротах покачивается на стуле человек и советует нам поискать Анса на почте. Чья девочка, и он не знает.

— Для меня эти иностранцы все на одно лицо. Ихние дома за линией, сводите ее туда, может, кто признает.

Повернули обратно, на почту идем. На почте сидит тот, в сюртуке, газету разворачивает.

— Анс сейчас только уехал за город, — говорит он. — Пройдитесь-ка с ней за вокзал, к тем приречным домам. Там вам скажут, чья она.

— Пожалуй, — сказал я. — Идем, сестренка. — Запихнула в рот остаток булочки, ест. — Еще хочешь? — спросил я. Дожевывает, смотрит на меня взором черным, немигающим и дружеским. Я дал ей одну из оставшихся плюшек и сам принялся за другую. Спросил у встречного, где здесь вокзал, и он показал дорогу.

— Пошли, сестренка.

Дошли до вокзала, перешли через рельсы, к реке. Мост, а дальше вдоль берега-дома, сбитые кое-как из досок и выходящие задами на реку. Улочка убогая, но вида пестрого, даже цветистого. За щербатым забором посреди бурьяна стоит кривобокий от ветхости шарабан, а поодаль — облупленный домишко, и в верхнем окне сушится ярко-розовое платье.

— Не ваш ли это дом? — спросил я. Смотрит на меня поверх булочки. — Вот этот, — показал я рукой. Жует и молчит, но я как будто уловил в ее лице что-то утвердительное, соглашающееся, хотя без особого пыла. — Ты здесь живешь, да? Тогда идем. — Я вошел в покосившуюся калитку. Оглянулся на нее. — Здесь ведь? Узнаешь свой дом?

Кивнула несколько раз быстро, смотрит на меня, кусает влажный полумесяц булочки. Идем

к дому. Дорожка из расколотых и разномастных плит, пронзенных жесткими копьями свежепроросшей травы, ведет к разбитому крылечку. В доме — ни шороха, и розовое платье безветренно повисло сверху из окна. Фаянсовая ручка — дергать колокольчик, я потянул и, когда вытащилось футов шесть проволоки, перестал тянуть и постучал. У девчушки из жующих губ ребром торчит корка.

Дверь открыла женщина. Взглянула на меня и стала быстро говорить по-итальянски, обращаясь к девочке. Кончила на повышение, замолчала вопросительно. Опять заговорила, а девочка смотрит на нее, запихивая корку в рот чумазой ручонкой.

— Она говорит, что живет здесь, — сказал я. — Я ее из города веду. Это ведь вы ее за хлебом посылали?

— Не говорю англиски, — сказала женщина. Обратилась снова к девочке. Та смотрит и молчит.

— Она здесь жить? — спросил я. На девочку указал, на женщину, на дверь дома. Женщина усердно замотала головой. Быстро заговорила. Подошла к краю крыльца и, не переставая говорить, показала рукой вниз по улице.

Я закивал — усердно тоже.

— Вы пойдете покажете? — сказал я. Взял ее за локоть, другой рукой махнул в сторону дороги. Торопливо заговорила, пальцем указывает. — Пойдемте покажете, — сказал я, пытаясь свести ее с крыльца.

— Si, si[38], — сказала она, упираясь и куда-то указуя.

Я снова закивал.

— Благодарю. Благодарю. — Я сошел с крыльца и направился к калитке, не бегом, но довольно-таки скорым шагом. Дошел до калитки, стал, смотрю на девочку. Она сжевала уже корку и таращит на меня черные дружелюбные глаза. Женщина с крыльца следит за нами.

— Что ж, пошли, — сказал я. — Так или иначе, а придется все же разыскать твой дом.

Семенит у меня под локтем. Идем дальше. В домах все как вымерло. Ни души не видно. Бездыханность, присущая пустым домам. А ведь не может быть, чтобы все пустые. Комнат сколько всяких. Раскрыть бы переднюю стенку у всех разом. Мадам, прошу вас — ваша дочка. Не ваша. Тогда ваша — бога ради, мадам. Идет под локтем

---

[38] КОММЕНТАРИИ: 38
Да, да (ит).

у меня, блестит заплетенными туго косичками, а вот и мимо последнего дома прошли, улица впереди поворачивает и берегом уходит за глухой забор. Из разбитой калитки та женщина вышла, на голову накинула шаль, рукой придерживает у подбородка. Дуга дороги пустынна. Я нашарил монету, дал девочке. Четверть доллара. «Прощай, сестренка», — сказал я. И пустился бегом.

Во весь дух, без оглядки. У самого лишь поворота обернулся. Стоит фигурка посреди дороги, к грязному платьицу прижала хлеб, смотрит неподвижно, черноглазо, немигающе. Побежал дальше.

В сторону от дороги — проулок. Свернул туда и немного погодя с бега перешел на быстрый шаг. Слева и справа задние дворы некрашеных домов — на веревках тряпье, веселое, цветное, как то платье в окне; провалившийся сарай мирно догнивает среди заросшего бурьяном буйнокронного сада, среди деревьев розовых и белых, гудящих от солнца и пчел. Я оглянулся. В устье проулках — никого. Еще сбавил шаг, и тень моя ведет меня, головой влачась по кроющему забор плющу.

Проулок дошел до ворот, заложенных брусом, и канул в свежую траву, стал дальше тропкой,

тихим шрамом в мураве. Я перелез через ворота, миновал деревья, пошел вдоль другого забора, и тень позади меня теперь. Здесь плющ и лоза увивают ограды, а у нас на юге — жимолость. Запах густо из сада, особенно в сумерки, в дождь, и мешается — как будто без него недостаточно тяжело, недостаточно невыносимо. *«Ты зачем ему далась поцеловать зачем»*

«Это не он а я сама хотела целоваться» И смотрит. А меня охватывает злость Ага не нравится тебе! Алый отпечаток руки выступил на лице у нее будто свет рукой включили и глаза у нее заблестели

«Я не за то ударил что целовалась». Локти девичьи в пятнадцать лет. Отец мне: «Ты глотаешь точно в горле у тебя застряла кость от рыбы Что это с тобой» Напротив меня Кэдди за столом и не смотрит на меня за то что ты с каким-то городским пшютиком вот за что Говори будешь еще Будешь Не хочешь сказать: не буду?" Алая ладонь и пальцы проступили на лице. Ага, не нравится тебе Тычу ее лицом в стебли трав впечатались крест-накрест в горящую щеку: «Скажи не буду Скажи»

А сам с грязной девчонкой целовался с Натали" Забор ушел в тень, и моя тень в воду. Опять

обманул свою тень. Я и забыл про реку, а улица берегом ведь повернула. Влез на забор. А девчушка — вот она, жмет к платьицу свой хлеб и глядит, как я спрыгиваю.

Стою в бурьяне, смотрим друг на друга.

— Что ж ты не сказала мне, сестренка, что живешь у реки здесь? — Хлеб уже проглядывает из обертки, новая нужна бы. — Ладно, так и быть, доведу тебя, покажешь, где твой дом. *с грязной девчонкой с Натали. Идет дождь и в пахучем высоком просторе конюшни нам слышно как он шелестит по крыше*

«Здесь?» дотрагиваюсь до нее

«Нет не здесь»

«Тогда здесь?» Дождь несильный но нам ничего кроме крыши не слышно и только кровь моя или ее шумит

«Столкнула с лесенки и убежала оставила меня Кэдди гадкая»

«Кэдди значит убежала А ты здесь ушиблась или вот здесь?»

Шумит Семенит под локтем у меня, блестит своей макушкой чернолаковой, а хлеб все больше вылезает из обертки.

— Скорее домой надо, а то вся бумага на хлебе порвется. И мама тогда забранит. *«А спорим я*

тебя поднять могу»

«Не можешь я тяжелая»

«А Кэдди куда убежала домой из наших окон конюшни не видно Ты пробовала когда-нибудь увидать конюшню из»

«Это она виновата Толкнула меня а сама убежала»

«Я могу тебя поднять смотри как»

Ох Шумит ее или моя кровь Идем по легкой пыли, бесшумно, как на каучуке, ступаем по легкой пыли, куда косые грифели солнца вчертили деревья. И снова ощутимо, как вода течет быстро и мирно в укромной тени.

— А ты далеко живешь. Ты прямо молодчина, что из такой дали сама в город ходишь. *«Это как бы сидя танцевать Ты танцевала когда-нибудь сидя?» Слышно дождь и крысу в закроме и давний запах лошадей в пустой конюшне. «Когда танцуешь ты как руку держишь вот так?»*

Шумит

«А я танцуя так держу Ты думала у меня не хватит сил поднять»

Шумит кровь

«А я держу я так танцу то есть ты слышала как я сказал я сказал»

Шумит ох Шумит

Дорога стелется безлюдная и тихая, и солнце все ниже за листвой. Тугие косички на концах стянуты малиновыми лоскутками. Угол газеты отлохматился, на ходу болтается, и выглядывает горбушка. Я остановился.

— Послушай-ка. Ты правда живешь там, дальше, куда ведет эта дорога? Мы прошли уже милю, а домов ни одного не видно.

Смотрит на меня черным, таинственным, дружеским взглядом.

— Да где же твой дом, сестренка? Верно, в городе там позади остался?

В лесу пташка где-то за косым и нечастым солнечным накрапом.

— Твой папа, верно, тревожится, где ты. И попадет же тебе, что не прямо домой пошла с хлебом.

Пташка опять просвиристела невидимкой свой однотонный звук, бессмысленный и многозначащий, замолчала, как ножом отрезало, и опять пропела, и где-то вода течет быстро и мирно над тайными глубями — неслышная, невидная, лишь ощутимая.

— Ах, будь оно неладно. — Пол-обертки оттеребилось уже и болтается. — Проку все равно от нее никакого — отодрал лохмот и бросил на обочину. — Пошли, сестренка. Придется в город

возвращаться. Мы берегом пойдем сейчас обратно.

Свернули с дороги. Среди мха бледные цветочки, и эта ощутимость воды, текущей немо и невидимо. *«Я держуя так танцу то есть я танцуя так держу» Стоит в дверях и смотрит на нас подбоченясь.*

«Ты столкнула меня Я из-за тебя ушиблась»

«Мы танцевали сидя А спорим Кэдди не умеет сидя танцевать»

«Не смей Не смей»

«Я только с платья сзади хочу стряхнуть сор»

«Убери свои гадкие руки Это из-за тебя Ты толкнула меня Я на тебя сержусь»

«Ну и пускай» Смотрит на нас «Сердись хоть до завтра» Ушла Вот стало слышно крики, всплески; загорелое тело блеснуло.

Хоть до завтра сердись. Дождь сразу рубашку и волосы мне намочил Теперь крыша громко шумит и сверху мне видно как Натали уходит домой через сад под дождем. Ну и иди мокни вот схватишь воспаление легких узнаешь тогда морда коровья. Я с маху прыгнул вниз в свиную лужу и вонючие брызги желто облепили по пояс Еще еще упал катаюсь по грязи — Слышишь, как купаются, сестренка? Я и сам бы не прочь. — Будь у

меня время. Когда время будет. Часы мои тикают. *грязь теплей дождя, а запах мерзкий. Отвернулась, но я спереди зашел. «Знаешь, что я делал?» Отворачивается, я опять спереди зашел. Дождь разжижает на мне грязь, а ей сквозь платье обозначает лифчик. А запах ужасный. Обнимался с ней, вот что я делал". Отвернулась, но я сам забежал спереди. «Я обнимался с ней, слышишь».*

«А мне все равно мне чихать»

«Все равно Все равно Я заставлю, заставлю чтобы тебе не все равно». Ударом оттолкнула мою руку но я другой рукой мажу ее грязью Шлепнула мокро и я не почувствовал Сгребаю грязь с ног и мажу Кэдди мокрую тугую верткую она ногтями по лицу но мне не больно, даже когда у дождя стал на губах сладкий привкус

Те, что в реке, увидели нас прежде. Головы и плечи. Крик подняли, и на берегу один вскочил, пригибаясь, и прыгнул к ним вниз. Как бобры, и вода лижет им подбородки Кричат:

— Убери девчонку! Зачем привел сюда девчонку? Уходите!

— Она ничего вам не сделает. Мы только посмотрим немного, как вы плаваете.

Присели в воде. Головы сгрудились, глядят на нас, и вдруг кучка распалась и — ринулась к нам,

хлеща на нас воду ладонями. Мы отскочили.

— Полегче, мальчики. Она же вам ничего не сделает.

— Уходи давай, студент! — Это тот мальчик с моста, второй, что вымечтал себе фургон и лошадь. — Водой на них, ребята!

— Давайте разом выскочим и в речку их! — сказал другой. — Испугался я девчонки, что ли.

— Водой их! Водой! — И к берегу, хлеща на нас воду. Мы еще отошли. — Уходите совсем! — кричат. — Уходите.

Уходим. Они под самым берегом присели, гладкие головы их в ряд на блестящей воде. Идем от них прочь. — оказывается, нам нельзя. — Сквозь ветви солнце все горизонтальнее крапит мох. — Ты ведь девчонка, бедная малышка. — Среди мха цветочки, никогда не видел таких маленьких. — Ты ведь девчонка. Бедная малышка. — На тропку вышли, вьется берегом. И вода опять мирная — темная, тихая, быстрая. — Всего лишь девочка. Бедная сестренка. — *В мокрую траву упали переводим дух Дождь по спине холодными дробинами «Теперь-то не все равно тебе не все равно» «Господи как мы измазались Вставай»*

Лоб под дождем защипало Рукой коснулся стала красная и дождь стекает с пальцев розово

«Болит»

«Конечно А ты как думала»

"Я прямо глаза тебе хотела выцарапать Ну и разит от нас Давай сойдем к ручью отмоемся — Вот и город опять показался Теперь, сестренка, тебе домой надо. А мне — в свою школу. Ведь скоро уже вечер. Ты теперь прямо домой пойдешь, правда? — Но она только молча смотрит на меня таинственно-черным и дружеским взором, жмет к себе хлеб с остатками обертки. — А хлеб подмок. Я думал, мы успели вовремя отскочить — Я вынул носовой платок, принялся вытирать, но стала сходить корка, и я бросил. — Сам высохнет. Держи его вот так. — Держит. Вид у него такой, как будто крысы грызли. *а вода выше, выше по окунающимся спинам грязь отшелушивается всплывает в кипящую от капель рябь как жир на горячей плите «Я сказал заставлю чтоб тебе не все равно»*

«А мне и теперь все равно»

Мы услышали топот за собой, остановились, оглядываясь — бежит тропинкой парень, и косые тени по ногам его мелькают.

— Спешит куда-то. Давай-ка мы посторо… — Тут я увидел еще одного, за ним пожилой бежит тяжело, в руке палка, а за ними голый до пояса

мальчик, на бегу штаны придерживает.

— Это Джулио, — сказала девочка, и ко мне метнулось итальянское лицо парня, глаза — он прыгнул на меня. Мы упали. Он кулаками в лицо мне, кричит что-то, кусаться лезет, что ли, его оттаскивают, рвется, отбивается, орет, его за руку держат, ногой хочет пнуть меня, но его оттащили. Девчушка вопит, прижимает к себе хлеб обеими руками. Полуголый мальчик скачет, вертится, штаны подтягивает. Кто-то меня поставил на ноги, и в это время из-за тихого лесного поворота выскочил еще мальчик, голехонький, и с лету шарахнулся от нас в кусты, только зажатые в руке одежки вымпелом протрепетали. Джулио рвется по-прежнему в драку. Пожилой, меня поднявший, сказал: «Тпру, голубчик. Попался». Поверх рубашки у него жилетка. На жилетке полицейская бляха. В свободной руке он держит узловатую, отполированную дубинку.

— Вы Анс, да? — сказал я. — Я вас искал. За что он на меня?

— Предупреждаю, все ваши слова будут использованы как улики, — сказал полисмен. — Вы арестованы

— Я убию его, — сказал Джулио. Вырывается. Двое держат. Девочка не переставая вопит и

хлеб прижимает. — Ты крал мою сестру. Пустите, мистеры.

— Украл его сестру? — сказал я. — Да я же…

— Хватит, — сказал Анс — Судье расскажешь.

— Украл его сестру? — сказал я. Джулио вырвался, снова ко мне, но Анс загородил дорогу, сцепился с ним, и остальные двое опять скрутили Джулио руки. Тяжело дыша, Анс отпустил его.

— Ты, иностранец чертов, — сказал Анс. — Я, кажется, и тебя арестую сейчас, за оскорбление действием. — Анс повернулся ко мне. — По-доброму пойдешь или наручники надеть?

— По-доброму, — сказал я. — Что угодно, только возьмите… примите… Украл его сестру… Украл…

— Я вас предупредил, — сказал Анс. — Он вас обвиняет в уводе с преступными целями. Эй ты, уйми свою девчонку.

— Вот как, — сказал я. И засмеялся. Еще два мальчугана с прилизанными водой волосами — глаза круглые — явились из кустов, застегивают рубашки, сразу же прилипшие к плечам. Я хотел унять смех и не смог.

— Гляди в оба, Анс, — он, кажется, тронутый.

— Сейчас п-перестану, — выговорил я сквозь смех. — Через м-минуту оно кончится. Как в тот раз, когда охало: ох! ох! Дайте присяду. — Сел, они

смотрят, и девочка с лицом в грязных полосах и с хлебом, словно обгрызенным; а под берегом вода быстрая и благодатная. Скоро смех весь иссяк. Но горло еще сводит — точно рвотой напоследок, когда желудок уже пуст.

— Хватит, — сказал Анс. — Возьми себя в руки.

— Да-да, — сказал я, напрягаясь, чтобы усмирить горло. Снова желтый мотылек порхает, будто сдуло одну из солнечных крапин. Вот уже можно и не напрягаться так. Я встал — Я готов. Куда идти?

Идем тропой, те двое ведут Джулио и девчушку, и мальчики позади где-то. Тропа берегом вывела к мосту. Мы перешли мост и рельсы, на нас люди глядят с порогов, и все новые мальчики возникают откуда-то, так что когда мы повернули на главную улицу, то возглавляли уже целую процессию. У кондитерской стоит большой легковой автомобиль, а в пассажиров я не вгляделся, но тут миссис Блэнд произнесла:

— Да это Квентин! Квентин Компсон! За рулем Джеральд, а на заднем сиденье Споуд развалился. И Шрив тут. Обе девушки мне незнакомы.

— Квентин Компсон! — сказала миссис Блэнд.

— Добрый день, — сказал я, приподнимая шляпу. — Я арестован. Прошу прощения, что ваше

письмо не застало меня. Шрив вам сказал уже, наверное?

— Арестован? Простите. — Шрив грузно поднялся, по ногам их вылез из машины. На нем мои фланелевые брюки, как перчаточка обтягивают. Я и забыл, что не вложил их тоже в чемодан. И сколько у миссис Блэнд подбородков, я тоже забыл. И уж конечно, та, что посмазливей, впереди рядом с Джеральдом. Смотрят сквозь вуальки на меня с этаким изящным ужасом. — Кто арестован? — сказал Шрив. — Что это значит, мистер?

— Джеральд, — сказала миссис Блэнд. — Вели этим людям уйти. А вы, Квентин, садитесь в авто.

Джеральд вышел из машины. Споуд и не пошевелился.

— Что он тут натворил у вас, начальник? — спросил Споуд. — В курятник забрался?

— Предупреждаю: не чинить препятствий, — сказал Анс. — Вам арестованный известен?

— Известен? — сказал Шрив. — Да мы с…

— Тогда можете проследовать с нами. Не задерживайте правосудия. Пошли! — дернул за рукав меня.

— Что ж, до свидания, — сказал я. — Рад был всех вас видеть. Простите, что не могу к вам при-

соединиться.

— Ну что же ты, Джеральд, — сказала миссис Блэнд.

— Послушайте, констебль, — сказал Джеральд.

— Предупреждаю: вы чините препятствия служителю закона, — сказал Анс. — Если желаете дать показания про арестованного, то пройдемте в суд, там их дадите. — Идем дальше улицей. Целое шествие, а впереди я с Ансом. Мне слышно, как те им объясняют, за что меня взяли, и как Споуд задает вопросы, потом Джулио бурно сказал по-итальянски что-то, я оглянулся и увидел, что девчушка стоит с краю тротуара, глядит на меня своим дружеским и непроницаемым взором.

— Марш домой! — кричит на нее Джулио. — Я из тебя душу выбию.

Мы свернули с улицы в поросший травой двор. В глубине его — одноэтажный кирпичный дом с белой отделкой по фасаду. Булыжной дорожкой подошли к дверям, в дальше Анс никого, кроме причастных, не пустил. Вошли в какую-то голую комнату, затхло пропахшую табаком. Посредине, в дощатом квадрате с песком, железная печка; на стене — пожелтелая карта и засиженный план городка. За выщербленным и захламленным столом — человек со свирепым хохлом сивых волос.

Уставился на нас поверх стальных очков.

— Что, Анс, поймали-таки? — сказал он.

— Поймали, судья…

Судья раскрыл пыльный гроссбух, поближе придвинул, ткнул ржавое перо в чернильницу, во что-то угольное, высохшее.

— Послушайте, мистер, — сказал Шрив.

— Фамилия и имя подсудимого? — произнес судья.

Я сказал. Он неторопливо занес в свой гроссбух, с невыносимым тщанием корябая пером.

— Послушайте, мистер, — сказал Шрив. — Мы его знаем. Мы…

— Соблюдать тишину в суде! — сказал Анс.

— Заглохни, Шрив, дружище, — сказал Споуд. — Не мешай процедуре. Все равно бесполезно.

— Возраст? — спросил судья. Я сказал возраст. Он записал, шевеля губами. — Род занятий? — Я сказал род занятий. — Студент, значит, гарвардский? — сказал судья. Слегка нагнул шею, чтобы поверх очков взглянуть на меня. Глаза холодные и ясные, как у козла. — Вы с какой это целью детей у нас похищать вздумали?

— Они спятили, судья, — сказал Шрив. — Тот, кто его смеет в этом обвинять…

Джулио встрепенулся.

— Спятили? — закричал он. — Что, не поймал я его? Что, не видел я собственными гла…

— Лжете вы! — сказал Шрив. — Ничего вы не…

— Соблюдать тишину в суде! — возвысил голос Анс.

— Утихомирьтесь-ка оба, — сказал судья. — Если еще будут нарушать порядок, выведешь их, Анс. — Замолчали. Судья посозерцал Шрива, затем Споуда, затем Джеральда. — Вам знаком этот молодой человек? — спросил он Споуда.

— Да, ваша честь, — сказал Споуд. — Он к нам из провинции приехал учиться. Он и мухи не обидит. Я уверен, ваш полисмен убедится, что задержал его по недоразумению. Отец у него деревенский священник.

— Хм, — сказал судья. — Изложите нам свои действия в точности, как было. — Я рассказал, он слушал, не сводя с меня холодных светлых глаз. — Что, Анс, похоже оно на правду?

— Вроде похоже, — сказал Анс. — Эти иностранцы чертовы.

— Я американец, — сказал Джулио. — Я имею документе.

— А девочка где?

— Он ее домой отослал.

— Она что — испуганная была, плакала и все

такое? Да нет, покамест этот Джулио не кинулся на задержанного. Просто шла с ним к городу береговой тропинкой. Там мальчишки купались, показали нам, в котором направлении.

— Это недоразумение, ваша честь, — сказал Споуд. — Дети и собаки вечно вот так за ним увязываются. Он сам не рад.

— Хм, — сказал судья и занялся созерцаньем окна. Мы на судью смотрим. Слышно, как Джулио почесывается. Судья обернулся к нему.

— Вот вы — вы согласны, что девочка не потерпела ущерба?

— Не потерпела, — хмуро сказал Джулио.

— Вы небось бросили работу, чтоб бежать на поиски?

— А то нет. Я бросил. Я бежал. Как шпаренный. Туда — смотрю, сюда смотрю, потом один говорит, видал, как он ей кушать давал. И с собой брал.

— Хм, — сказал судья. — Думается мне, что ты, сынок, обязан возместить Джулио за отрыв от работы.

— Да, сэр, — сказал я. — Сколько?

— Доллар, думается.

Я Дал Джулио доллар.

— Ну, и с плеч долой, — сказал Споуд. — Полагаю, вачесть, что теперь ему можно восвояси?

Судья и не взглянул на Споуда.

— А что, Анс, далеко пришлось вам за ним бежать?

— Две мили самое малое. Часа два ухлопали на розыск.

— Хм, — сказал судья. Задумался. Смотрим на него, на его сивый хохол, на сидящие низко на носу очки. На полу желтый прямоугольник окна медленно растет, достиг стены, всползает по ней. Пылинки пляшут, снуют косо. — Шесть долларов.

— Шесть долларов? — сказал Шрив. — Это за что же?

— Шесть долларов, — повторил судья. Глаза его скользнули по Шриву, опять на меня.

— Но послушайте, — сказал Шрив.

— Заглохни, — сказал Споуд. — Плати, приятель, и идем отсюда. Нас дамы ждут. Найдется у тебя шесть долларов?

— Да, — сказал я. Дал судье шесть долларов.

— Дело слушанием кончено, — сказал он.

— Возьми квитанцию, — сказал Шрив. — Пусть даст расписку в получении.

Судья мягко поглядел на Шрива.

— Дело слушанием кончено, — сказал он, не повышая тона.

— Будь я проклят, если… — начал Шрив.

— Да брось ты, — сказал Споуд, беря его под локоть. — До свидания, судья. Премного вам благодарны. — Когда мы выходили из дверей, снова бурно взлетел голос Джулио, затем стих. Карие глазки Споуда смотрят на меня с насмешливым, холодноватым любопытством. — Ну, приятель, надо думать, с этих пор ты ограничишь свою растлительскую деятельность пределами города Бостона?

— Дурень ты несчастный, — сказал Шрив. — Какого черта ты забрел сюда, связался с этими итальяшками?

— Пошли, — сказал Споуд. — Нас там заждались уже.

Миссис Блэнд сидит в машине, занимает девушек беседой. Мисс Хоумс и мисс Дейнджерфилд; бросив слушать миссис Блэнд, они снова воззрились на меня с изящным и любознательным ужасом. На белых носиках вуальки приотвернуты, и глаза за сеткой зыбкие, загадочные.

— Квентин Компсон, — произнесла миссис Блэнд. — Что бы сказала ваша мать? Молодому человеку свойственно попадать в переплеты, но — арестантом по улице, пешком, под конвоем какого-то сельского полисмена? В чем они обви-

няли его, Джеральд?

— Ни в чем, — сказал Джеральд.

— Вздор. Ответьте вы мне, Споуд.

— Он пытался похитить ту маленькую замарашку, но был вовремя схвачен, — сказал Споуд.

— Вздор, — сказала миссис Блэнд, но голосом угасающим как бы, и уставилась на меня, а девушки тихо и согласованно ахнули. — Чепуха, — бодро сказала миссис Блэнд. — Выдумка в духе этих невежественных простолюдинов-северян. Садитесь в авто, Квентин.

Мы со Шривом поместились на двух откидных сиденьях. Джеральд завел мотор, сел за руль, мы тронулись.

— А теперь, Квентин, извольте рассказать мне, из-за чего весь этот глупый сыр-бор, — сказала миссис Блэнд. Я объяснил; Шрив гневно сутулится на откидном сиденье, а Споуд снова развалился рядом с мисс Дейнджерфилд.

— Пикантность здесь в том, как ловко все это время Квентин дурачил нас всех, — сказал Споуд. — Мы его считаем юношей примерным, которому каждый может доверить родную дочь, и вдруг нате вам — полиция разоблачает его черные делишки.

— Перестаньте, Споуд, — сказала миссис Блэнд.

Мы спустились к реке, и через мост, и проезжаем дом, где розовое платье висит в окне. — Это вам за то, что не прочли моей записки. Почему вы не вернулись, не прочли ее? Мистер Маккензи ведь сказал вам, что вас ждет письмо.

— Да, мэм. Я намеревался, но так и не зашел к себе.

— А мы бы сидели и ждали вас не знаю сколько времени, если бы не мистер Маккензи. Он сказал, что вы не зашли за письмом и мы пригласили его третьим кавалером вместо вас. Разумеется, мы и так всегда рады вам, Мистер Маккензи. — Шрив молчит. Скрестил руки, сердитый взгляд устремлен вперед, мимо каскетки Джеральда, английские спортсмены-автомобилисты носят такие каскетки. По словам миссис Блэнд. Миновали дом и три соседних, а во дворе четвертого, в воротах, стоит та девчушка. Без хлеба уже, и по лицу разводы, точно сажей.

Я помахал рукой — не отвечает, только тихо поворачивает голову за машиной, смотрит не мигая вслед. Едем вдоль стены, тени наши бегут по стене, потом на обочине мелькнул лоскут газеты, и меня снова начал разбирать смех. К горлу подступило, и я стал глядеть в листву деревьев, где косо просвечивал день, стал думать про

тень клонящийся, про пташку, про мальчишек в реке. Но смех одолевал, я понял, что заплачу, если буду сдерживаться чересчур, и стал думать уже думанное: что я давно уже недевствен, раз столько их бродит в тени, головками девичьими шепчут, затаясь по тенистым местам, и оттуда на меня слова, и духи, и глаза, невидимые, ощутимые; но если все это до того просто, то ничего оно не значит, а если ничего не значит, то из-за чего тогда я… И миссис Блэнд сказала: «Вы что, Квентин? Ему нехорошо, мистер Маккензи?» — и Шрив пухлыми пальцами тронул меня за колено, а Споуд заговорил, и я перестал сдерживаться.

— Если ему мешает корзина с бутылками, то пододвиньте ее к себе, мистер Маккензи. Я захватила корзину вина, поскольку считаю, что молодым джентльменам пить следует виноградные вина, хотя отец мой, дед Джеральда *«ни разу Ты ведь ни разу еще» В серой тьме растворено немного света Руками*

— Было бы вино, а уж джентльмены не откажутся, — сказал Споуд. — Верно, Шрив? — *обхватила колени себе голова запрокинута На лице на горле запах жимолости сплошь разлит*

— И от пива тоже, — сказал Шрив. Снова тронул за колено. Я снова убрал ногу. *как тонкий слой*

сиреневой краски Все о нем говорит заслоняя себя им

— Тогда ты не джентльмен, — сказал Споуд. *и очертания ее не сумраком уже размыты*

— Нет, я канадец, — сказал Шрив. *все о нем да о нем Мигают весла движут его переблесками у английских автомобилистов такие каскетки а время несется внизу и только они двое очертаньем слитным навсегда Он в армии служил и людей убивал*

— Обожаю Канаду, — сказала мисс Дейнджерфилд. — Дивная страна.

— А одеколон тебе пить приходилось? — спросил Споуд, *одной рукой он мог поднять ее на плечо себе и унести бегом Бегом*

— Нет, — ответил Шрив. *убегает зверем о двух спинах*[39] *и она размыта в переблесках весел*

---

[39] КОММЕНТАРИИ: 39

…зверем о двух спинах… — метафора из «Отелло» Шекспира. Ср. реплику Яго, обращенную к отцу Дездемоны: «Я пришел сообщить вам, сударь, что ваша дочь в настоящую минуту складывает с мавром зверя с двумя спинами» (акт I, сц. I, пер. Б. Пастернака).

Бегом как Эвбулеевы свиньи[40] *спорясь на бегу «А сколько их Кэдди»*

— И мне не приходилось, — сказал Споуд. *«Не знаю Слишком много Во мне было что-то ужасное, ужасное» Отец я совершил Ты ведь ни разу еще Мы ни разу ни разу А может*

— ...и дед Джеральда всегда сам нарвет тебе мяты до завтрака, пока на ней еще роса. Даже своему старому Уилки не разрешал — помнишь, Джеральд? — всегда сам нарвет, и сам приготовит себе джулеп[41]. Был педантичен в этом, как старая дева, отвешивал и отмеривал дозу по особому рецепту. Помнил этот рецепт наизусть, и только с одним человеком поделился им, а именно с *Да У нас было Как ты могла забыть Подожди сейчас я напомню тебе Это было преступление мы совершили страшное его не скрыть Ты думала скроешь*

---

[40] КОММЕНТАРИИ: 40

как Эвбулеевы свиньи... — В древнегреческой мифологии Эвбулей — свинопас, свидетель похищения Персефоны владыкой подземного мира Аидом. Его стадо провалилось под землю в пропасть, через которую Аид возвращался с похищенной Персефоной в свое царство. Миф об Эвбулеевых свиньях и похищении Персефоны сливается в сознании фолкнеровского героя с евангельским рассказом о бесах, вошедших в свиней: «И бесы просили Его: если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот, все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде».

[41] КОММЕНТАРИИ: 41

Джулеп — напиток из коньяка или виски с водой, сахаром, льдом и мятой.

но подожди Бедный Квентин ты же ни разу еще А я говорю тебе было ты вспомнишь Я расскажу отцу и тогда волей-неволей Ты ведь любишь отца и мы уйдем на ужас и позорище в чистое пламя Я тебя заставлю подтвердить я сильнее тебя Заставлю тебя вспомнить Ты думала это они а это был я Слышишь я тебя обманывал все время Это я был Ты думала я в доме остаюсь где не продохнуть от проклятой жимолости где стараюсь не думать про гамак рощу тайные всплески дыханье слито пьют неистовые вздохи да Да Да да — самого пить виноградное вино не заставишь, но всегда говорил, что без корзины вин (в какой вы это книге вычитали — должно быть, там же, где про канотье) джентльмены на пикник не ездят *«Ты любила их Кэдди любила их» «Когда они дотрагивались я мертвела»*

Застыла в дверях на миг а в следующий Бенджи уже вопя тащил за платье в коридор и вверх по лестнице Вопит Толкает ее выше к двери в ванную Встала спиной к двери прислонилась прикрыв лицо сгибом руки а он вопит толкает в ванную К ужину сошла Ти-Пи его кормил как раз Он снова Сперва тихо захныкал но лишь подошла и коснулась он в голос Встала глаза зверьками загнанными Потом я бегу в сером сумраке пахнет

дождем и всеми цветозапахами какими насыщен парной этот воздух А в траве вовсю пилят кузнечики но вместе со мною чуть опережая скользит островок тишины Из-за забора смотрит Фэнси смутно-пегая как лоскутное одеяло на веревке Вот чертов негр опять забыл задать ей корму Я сбежал к ручью в кольце кузнечиковой немоты скользящем как дыхание по зеркалу Она лежит в ручье головой на песчаном намыве и вода обтекает ей бедра На воде чуть светлей чем вокруг Подол намок тяжело зыблется с боков в такт течению зыбь гаснет и возникает опять из своего же струения Я стал на берегу Весь просвет водный в запахе жимолости а сверху так и сеет сеет жимолостью и треском кузнечиков и это даже кожей чувствуешь

«Что Бенджи плачет еще»

«Не знаю Да плачет Не знаю»

«Бедный Бенджи»

Я сел на берегу Трава волглая Так и есть промочил туфли

«Выйди из воды с ума сошла»

Но она лежит Лицо смутно белеет волосами откаймленное от смутного песка

«Выйди сейчас же»

Она села затем встала Юбка хлюпает вода сте-

кает Вылезла на берег хлюпает подолом села

«Выжми же Простудиться захотела»

«Да»

Вода шумит бормочет по песку и дальше отмелями между темных ив зыблясь как ткань и свет на плесе еще теплится как всегда на воде вечерами

«Он плавал по всем океанам кругом всего света»

И стала говорить о нем обхватив мокрые колени запрокинув лицо в сизой мгле в запахе жимолости В маминой комнате свет и у Бенджи Там Ти-Пи его укладывает спать

«Неужели ты любишь его»

Протянула ко мне руку я не двигаюсь Пальцы ощупью скользнули по плечу нашли мою ладонь притянули ее к груди к бьющемуся сердцу

«Нет не люблю»

«Тогда он силой значит он принудил он же сильней тебя и он Завтра я убью его клянусь А до того отцу и знать не надо а после мы с тобой уедем Никто и не узнает никогда На те деньги что мне за ученье платить Я не поеду в университет Кэдди он тебе мерзок правда, правда»

Прижимает ладонь к груди Сердце гулко бьется Я повернулся к ней схватил за локоть

«Кэдди ты его ненавидишь правда»

Прижала мою ладонь выше у горла там сердце колотится

«Бедный Квентин»

Лицо запрокинуто кверху а небо нависло так низко что все запахи и шумы ночи сгустились у земли как под осевшей парусиной палатки и гуще всего жимолость забила ноздри мне а ей сизой мглой осела на лицо и шею Кровь ее колотится в ладонь мне а рука которой оперся о землю вдруг дрогнула заплясала и я с трудом ловлю воздух тяну из этой густой сизой жимолости

«Да ненавижу Пусть бы я умерла для него я уже для него умирала я каждый раз мертвею когда он»

Оторвал от земли руку она горит от врезавшихся вперекрест стеблей и веточек

«Бедный Квентин»

Откинулась назад не расцепляя пальцев на коленях

«Ты ведь ни разу еще»

«Что ни разу»

«То что у меня с ним»

«Тыщу раз с тыщей девчонок»

Заплакал Рука ее опять коснулась и я плачу ей в мокрую блузку Лежит смотрит поверх головы

моей в небо Под зрачками мерцают полоски белка Я ножик раскрыл

«Помнишь в тот день когда умерла бабушка как ты села в ил запачкала штанишки»

«Помню»

Приложил острием к горлу ей

«Одна секунда всего секунда и конец А потом и себе тоже потом и себе»

«Хорошо А ты сам себе сможешь»

«Смогу лезвие длинное Бенджи спит уже»

«Да»

«Одна секунда и все Я постараюсь чтобы не больно»

«Хорошо»

«Закрой же глаза»

«Нет с открытыми Только надо сильней нажать»

«Возьми своей рукой тоже»

Не берет Глаза широко раскрыты глядит поверх головы моей в небо

«Кэдди помнишь как Дилси тебя за грязные штанишки бранила»

«Не плачь»

«Я не плачу Кэдди»

«Сильней Что ж ты»

«А ты хочешь»

«Да Сильней коли»

«Возьми своей рукой»

«Не плачь Бедный Квентин»

Но никак не перестану Прижала голову мою к тугой влажной груди Слышу как сердце уже не колотится стучит спокойно мерно и вода журчит меж ивами во тьме и волнами накатывает жимолость а плечо и рука подо мной онемели

«Ты чего Что ты хочешь»

Мышцы ее напряглись. Я приподнялся сел

«Да ножик уронил»

Привстала тоже

«Который час»

«Не знаю»

Поднялась на ноги Я шарю по земле

«Я ухожу брось искать»

Она стоит Я слышу запах ее сырой одежды слышу ее над собой

«Он здесь где-то»

«Пусть лежит завтра найдется Идем»

«Подожди минуту Я сейчас найду»

«Боишься что»

«Вот он Лежал тут все время под носом»

«Вот как Ну идем»

Я встал пошел вслед Поднимаемся склоном и кузнечики смолкают перед нами

«Смешно как бывает Уронишь в траву рядом а после ищешь, ищешь всюду»

Мглистый косогор от росы сизый восходит в сизое небо а вон и деревья вдали.

«Чертова жимолость распахлась как»

«Ты раньше любил этот запах»

Вышли наверх идем Хотела повернуть к опушке натолкнулась на меня не стала поворачивать Ров зачернел шрамом на сизой траве Опять повернула натолкнулась на меня коротко глянула не стала Дошли до рва

«Пойдем здесь»

«Зачем»

«Посмотрим не истлели еще Нэнсины кости Я давно не ходил смотреть а ты»

Во рву все спутано от лоз и колючек темно

«Они вон там валялись но мне теперь не разглядеть отсюда а тебе»

«Хватит Квентин»

«А ты иди и не сворачивай»

Ров сузился сомкнулся она повернула к деревьям

«Дай пройти»

«Кэдди»

«Пусти»

Держу не пускаю

«Я сильней тебя»

Напряглась не поддается но не вырывается

«Я не хочу с тобой драться пусти лучше пусти»

«Кэдди не надо туда Кэдди»

«Все равно не поможет сам знаешь не поможет дай пройти»

Жимолостью кропит и кропит Трещат кузнечики чутким кольцом обступив нас Обошла меня направилась К опушке

«А ты возвращайся домой тебе незачем»

Но я иду следом

«Почему ты домой не идешь»

«Чертова жимолость»

К изгороди подошли Она пролезла Я тоже пролез разогнулся вижу он из деревьев в сизую мглу вышел идет к нам высоким плоским и недвижным силуэтом даже на ходу как бы храня недвижность Навстречу ему пошла

«Это Квентин Я мокрая на мне все промокло Подымешь пеняй на себя»

Их силуэты слитной тенью голова ее поднялась в небо маячит выше чем его Две головы в небе очерчены

«Пеняй на себя самого»

И головы слитно уже Сумрак пахнет дождем сырой травой листьями Сизая мгла кропит жимо-

лостью накатывает влажными волнами Ее лицо белеет на плече у него Он держит ее как ребенка на одной руке другую протянул мне

«Рад познакомиться»

Пожали руки стоим Она высоко тенью на тени их силуэты слитной тенью

«Ты куда теперь Квентин»

«Пройдусь немного лесом выйду на дорогу и вернусь через город домой»

Ухожу

«До свидания»

«Квентин»

Я остановился

«Что тебе»

В лесу древесные лягушки распелись к дождю словно шарманки игрушечные вертятся с натугой и жимолость

«Иди сюда»

«Что тебе»

«Иди сюда Квентин»

Я вернулся Она смутной тенью нагнулась тронула мое плечо склонясь пятном лица с его высокой тени Я отстранился

«Осторожней»

«Иди прямо домой»

«Мне спать не хочется пойду пройдусь»

«Иди у ручья подожди меня»

«Нет я пройдусь»

«Я скоро приду подожди меня слышишь»

«Нет я пойду лесом»

Иду не оглядываюсь Лягушки без умолку не стесняясь меня ничуть Мглистый свет как мох на ветках каплющий а дождя еще нет Спустя немного повернул назад вышел на опушку и сразу же опять запахло жимолостью На здании суда часы освещены и в небе отсвет городских огней над площадью а вдоль ручья темнеют ивы В маминых окнах свет и в комнате у Бенджи горит еще Я пролез под изгородью лугом побежал в сизой траве бегу среди кузнечиков а жимолостью пахнет все сильнее Потянуло водой вот она мглисто-жимолостная Я лег на берегу лицом к земле чтобы не слышать жимолости И правда теперь не слышу Лежу чувствую как земля холодит сквозь рубашку слушаю шум воды и скоро дышать стало легче и я лежу и думаю о том что если головы не подымать то жимолость не проникает и дыханья не теснит а потом ни о чем не стал думать Идет берегом остановилась я лежу

«Уже поздно не останавливайся иди домой»

«Что»

«Домой иди поздно уже»

«Ладно»

Шуршит по траве подолом Лежу Шуршание кончилось

«Говорят тебе домой иди»

«Ты мне сказал что-то»

«Кэдди»

«Да раз ты хочешь да»

Я приподнялся сел Она сидит на берегу колени обхватив

«Иди домой говорят тебе»

«Да я сделаю все что ты хочешь все сделаю да»

А сама не смотрит даже Схватил за плечо ее с силой потряс

«Замолчи»

Трясу ее

«Замолчишь ты Замолчишь ты»

«Да да»

Подняла лицо но по мерцанию белков я понял смотрит мимо

«Вставай»

Тяну ее обмякшую на ноги ставлю

«Ну иди теперь»

«Когда ты уходил Бенджи плакал еще»

«Иди же»

Перешли по отмели ручей Вот крышу стало видно потом окно верхнее

«Он уже спит»

Задержался у калитки запирая она уходит в мглистом свете в запахе дождя а дождя все нет жимолость увившая забор уже дохнула прихлынула Кэдди вошла в тень шаги лишь слышно

«Кэдди»

Стал у ступенек крыльца шагов не слышно

«Кэдди»

Слышно шаги Рукой коснулся не горячая не прохладная просто неподвижная а платье еще не совсем высохло

«Любишь его теперь»

Не дышит, дышит медленно как будто вдалеке

«Кэдди любишь его теперь»

«Не знаю»

Двор в сизой мгле и предметы как тени как утопшие в воде стоячей

«Лучше бы ты умерла»

«Ну тебя Входи же в дом»

«Ты о нем сейчас думаешь»

«Не знаю»

«Скажи о чем ты сейчас думаешь скажи мне»

«Перестань не надо Квентин»

«Замолчи ты замолчи слышишь замолчи замолчишь ты или нет»

«Молчу молчу Мы шумим слишком»

«Я убью тебя слышишь ты»

«Отойдем к гамаку Ты в голос прямо»

«Я не плачу Ты сказала плачу»

«Нет Тише а то проснется Бенджи»

«Иди в дом иди в дом говорю тебе»

«Иду Такая уж я Не плачь Я скверная и ничего ты тут не сделаешь»

«Это проклятье на нас мы не виноваты чем мы виноваты»

«Тс-с Иди и спать ложись»

«Не пойду на нас проклятье»

Наконец я увидел его Он входил как раз в парикмахерскую Взглянул Я прошел дальше стал ждать

«Я ищу вас уже два или три дня»

«Что разговор есть»

«И безотлагательный»

Быстро в два приема свернул сигарету о ноготь большого пальца зажег спичку

«На улице тут неудобно Где б нам встретиться»

«Я приду в номер вы в гостинице ведь»

«Нет там тоже не совсем удобно Знаешь тот мост через ручей за городом»

«Да Хорошо»

«В час ровно»

«Да»

Я повернулся уходить

«Весьма признателен»

«Слушай»

Я остановился обернулся

«Что-нибудь с ней»

Как из бронзы отлит в своей защитной рубашке

«Что-нибудь неладно Я ей нужен спешно»

«В час потолкуем»

Она слышала как я велел Ти-Пи седлать Принса в первом часу Глаз не спускает не ела почти вышла следом

«Что ты затеял»

«Ничего Нельзя верхом проехаться мне что ли»

«У тебя на уме что-то Что ты затеял»

«Не твое дело шлюха, шлюха»

Ти-Пи уже подал Принса к заднему крыльцу

«Я раздумал пешком пойду»

Аллеей вышел из ворот и свернул в проулок и бегом Еще издали увидел его на мосту Стоит облокотился на перила Лошадь в зарослях привязана Покосился на меня через плечо и больше не взглядывал пока я не подошел вплотную В руках у него кусок коры обламывает и роняет с перил в воду

«Я пришел вам сказать чтобы вы уезжали из города»

«Отломил кусочек не спеша аккуратно бросил в воду Глядит как уплывает»

«Слышите сегодня же»

Поглядел на меня

«Это она послала тебя»

«Я не слова отца передаю вам или чьи-либо Это я от у тебя велю вам убираться»

«Слушай горячиться успеешь Я хочу знать ничего с ней не случилось У нее вышли дома неприятности да»

«Уж это не ваша забота»

Затем я услышал как губы мои сказали «Даю вам сроку до заката»

Он отломил кусочек бросил в воду положил кору на перила свернул сигарету в эти два быстрых приема щелчком послал спичку в ручей

«А если я не уеду что ты сделаешь»

«Убью вас Пусть я кажусь вам мальчишкой»

Из ноздрей его дым двумя струйками перечеркнул лицо

«А сколько тебе лет»

В дрожь бросило а руки мои на перилах и я подумал

Что если уберу их он поймет почему

«Даю вам до вечера сроку»

«Слушай приятель забыл твое имя Бенджи это дурачка вашего а тебя»

«Квентин»

Это губы а совсем не я сказал

«Даю вам сроку до заката»

Он аккуратненько снял пепел с сигареты счистил его о перила не спеша и тщательно словно очиняя карандаш Руки мои уже не дрожат

"Слушай Ты зря мальчик так к сердцу принимаешь

Ты же за нее не ответчик Ну не я так другой бы"

«А у вас была когда-нибудь сестра Была»

«Нет но все они сучки»

Я взмахнул рукой чтобы пощечину не дав пальцам сжаться в кулак Его рука с той же быстротою что моя Сигарета полетела за перила Тогда я левой он и левую поймал еще и сигарета воды не коснулась Сжал мои обе в одной руке а другая скользнула под мышку в пиджак За плечами его солнце и где-то за солнечным блеском поет пташка Смотрим друг на друга а пташка поет Выпустил мои руки

«Гляди сюда»

Он взял кору с перил и бросил в воду Кора вы-

нырнула подхватило течением уплывает Его рука лежит на перилах держит небрежно револьвер Стоим ждем

«Попадешь в нее отсюда»

«Нет»

Кора плывет В лесу ни шороха Пташка снова пропела вода журчит Вот поднял револьвер и не целясь вовсе Кора исчезла затем куски всплыли веером Еще поразил два кусочка с доллар серебряный не больше

«Хватит пожалуй»

Открыл барабан дунул в ствол тонкий дымок растаял Заново зарядил три гнезда закрыл барабан протянул мне рукояткой

«Зачем Я не собираюсь состязаться»

«Судя по твоим словам он тебе понадобится Бери ты видел бой отменный»

«Убирайтесь к черту с вашим револьвером»

Я снова взмахнул рукой Давно уже он поймал мои обе руки а я все ударить пытался, пытался Но тут он точно за цветное стекло от меня ушел В висках шумит Потом небо вернулось и ветви и солнце косое сквозь ветви а он держит за плечо и не дает упасть

«Вы меня ударили»

Что-то ответил не слышу

«Что»
«Да Прошло уже»
«Прошло Пустите»
Пустил Я прислонился к перилам
«Как себя чувствуешь»
«Хорошо Отстаньте»
«Домой дойти сам сможешь»
«Уйдите Отстаньте»
«А то садись на мою лошадь»
«Не хочу уйдите»
«А после зацепишь поводья за седло и пустишь сама вернется на конюшню»
«Отстаньте уйдите оставьте в покое меня»
Оперся на перила гляжу в воду Слышу как он отвязал лошадь уехал и скоро все затихло лишь вода а вот и снова пташка Я сошел с моста сел прислонился спиной и затылком к дереву закрыл глаза Сквозной солнечный луч упал на мои веки я подвинулся уходя от луча Пташка снова пропела вода шумит А затем все от меня как бы отхлынуло ушло и мне стало почти хорошо после всех этих дней и ночей когда жимолость из темноты накатывает в мою комнату а я заснуть пытаюсь Почти хорошо Хотя чуть спустя мне сделалось ясно что вовсе он меня не вдвинул что это он солгал ради нее тоже а со мной просто обморок был как с

последней девчонкой но даже и это было уже мне все равно Привалился к дереву сижу а солнечные зайчики скользят лицо щекочут желтолистой веткой Слушаю шум воды и ни о чем не думаю И даже когда услышал быстрый топот лошадиный то не открыл глаза Слышу как песок зашуршал из-под круто вставших копыт и бегущие ноги и ее твердые пальцы бегущие по ним? «Дуралей ох дуралей ты ранен»

Я открыл глаза ее руки бегут по моему лицу

«Я не знала куда за тобой скакать пока не услыхала выстрелы Не знала в какую ты сторону Я же не думала что он тебя Зачем ты убежал улизнул Я же не думала что он»

Обеими руками обхватила мне лицо и стукает о дерево затылком

«Перестань перестань»

Схватил ее за руки

«Перестань говорят тебе»

«Я знала он не тронет я знала»

И опять затормошила затрясла меня

«А я-то ему сейчас сказала чтоб больше и заговаривать со мной не смел А я-то»

Тянет руки вырываясь

«Пусти руки»

«Не пущу я сильнее тебя и не пробуй»

"Пусти Я же должна догнать его и извиться Пусти руки

Ну пожалуйста Квентин Пусти Пусти"

И вдруг перестала и руки обвяли

«Ну что ж Я и после могу Он и после поверит всегда»

«Кэдди»

Она не привязала Принса Надоест ему стоять и порысит домой

«Он мне всегда поверит»

«Любишь его Кэдди»

«Люблю ли»

Смотрит на меня затем глаза пустые стали как у статуй незрячие пустые безмятежные

«Приложи руку вот сюда»

Взяла мою руку прижала к ключице

«Теперь говори его имя»

«Долтон Эймс»

Гулко толкнулась кровь в ладонь Еще еще все убыстренней

«Повтори опять»

А лицо вдаль обращено где солнце в деревьях и пташка

«Повтори опять»

«Долтон Эймс»

Кровь неустанно и гулко стучит, стучит в ла-

донь

Все течет и течет, а лицо мое холодное и словно омертвело, и глаз, и порез на пальце щиплет снова. Слышно, как Шрив качает воду у колонки, вот вернулся с тазом, в тазу колышется круг сумеречный, с краешков желтоватый, как улетающий воздушный шар, затем появилось мое отражение. Стараюсь разглядеть лицо.

— Не течет уже? — спросил Шрив. — Дай-ка мне свою тряпку.

Тянет из руки у меня.

— Не надо, — сказал я. — Я сам могу. Почти уже не течет. — Я опять окунул носовой платок, разбив шар. Вода окрасилась. — Жаль, чистого нет.

— Сырой бы говядины к глазу — вот что хорошо бы, — сказал Шрив — А то будешь завтра светить фонарем. Подарочком этого сукина сыча.

— А я ему не засветил? Я выжал платок, стал счищать им кровь с жилета.

— Так не сойдет, — сказал Шрив. — Придется отдать в чистку. Приложи лучше опять к глазу.

— Хоть немного, да сниму, — сказал я. Но почти не отчистилось — А воротник тоже выпачкан?

— Да ладно, — сказал Шрив. — Ты к глазу приложи. Дай сюда

— Полегче, — сказал я. — Я сам. А я ему, значит,

совсем ничего?

— Я, возможно, не заметил. Отвлекся в ту секунду он может, моргнул. Но он-то тебя разделал по всем правилам бокса. Как тренировочную грушу. Какого дьявола ты полез на него с кулаками? Дурила несчастный. Ну, как самочувствие?

— Отличное, — сказал я. — Чем бы мне отчистить жилет?

— Да забудь ты про свои одежки. Болит глаз?

— Самочувствие отличное, — сказал я. Вокруг все вроде как лиловое и тихое, а небо иззелена-золотистое над гребнем крыши, и дым из трубы султаном в безветренную тишину. Опять кто-то у колонки. Мужчина с ведром, смотрит на нас через плечо свое качающее. В дверях дома женщина прошла, не выглянув. Корова мычит где-то.

— Кончай, — сказал Шрив. — Брось тереть, приложи к глазу. Завтра прямо с утра пошлю твой костюм в щетку.

— Ладно, кончаю. А жаль, пусть бы я его хоть моей кровью заляпал немного.

— Сукин он сын, — сказал Шрив.

Из дома вышел Споуд — говорил с той женщиной, Должно быть, — пошел к нам через двор. Смотрит на меня смешливо-холодными глазами.

— Ну, брат, — сказал Споуд. — Свирепые, одна-

ко, у тебя забавы. Похищенья малолеток, драки. А на каникулах чем ты душу отводишь? Дома поджигаешь?

— Ладно, — сказал я. — Ну, что говорит миссис Лэнд?

— Жучит Джеральда за то, что кровь тебе пустил. А потом возьмется за тебя, что дался раскровянить. Она не против драки, ее кровь шокирует. Думаю, ты малость упал, приятель, в ее глазах, поскольку обнаружил недержание крови. Ну, как себя чувствуешь?

— Разумеется, — сказал Шрив. — Уж если не родился Блэндом, то наиблагороднейшее, что тебе осталось, — Это, зависимо от пола, либо блуд сотворить с представителем Блэндов, либо, напившись, подраться с таковым.

— Совершенно верно, — сказал Споуд. — Но я не знал, что Квентин пьян.

— Не пьян он, — сказал Шрив — А у трезвого руки разве не чешутся двинуть этого сукина сына?

— Ну уж мне потребуется быть крепко пьяным, чтобы полезть с ним в драку после Квентина. Где это Блэнд выучился боксу?

— Да он ежедневно занимается у Майка в городе, — сказал я.

— Вот как, — сказал Споуд. — И ты знал это и

полез драться?

— Не помню, — сказал я. — Да. Знал.

— Намочи опять, — сказал Шрив. — Может, свежей принести?

— И эта хороша, — сказал я. Снова намочил платок, приложил к глазу. — Жаль, нечем жилетку отчистить. — Споуд все еще смотрит на меня.

— Скажи-ка, — Споуд опять. — За что ты ударил его? Что он сказал такого?

— Не знаю. Не помню за что.

— Ты вдруг вскочил ни с того ни с сего, спросил: "А у тебя была когда-нибудь сестра? Была? — он ответил, что нет, и ты его ударил. Я приметил, что ты все смотришь на него, но ты вроде и не слушал, о чем разговор, а потом вдруг вскочил и задал свой вопросец.

— Шел обычный джеральдовский треп, — сказал Шрив, — о женщинах Джеральда. Ты же знаешь его манеру заливать перед девчонками, напускать туману подвусмысленней. Разные намеки-экивоки, вранье и просто чушь несусветная. Насчет бабенки, с которой он на танцульке в Атлантик-Сити[42] уговорился о свидании, а сам пошел к себе в отель, лег спать, и как он лежит, и

---

[42] КОММЕНТАРИИ: 42

Атлантик-Сити — модный курорт в штате Нью-Джерси.

ему ее жалко, что она там ждет на пристани, а его нет, и некому ее удовлетворить. Насчет телесной красоты и низкого ее предназначенья, и как, мол, женщинам несладко, их удел навзничный — этакой Ледой таиться в кустах, поскуливая и томясь по лебедю.[43] Ух, сукин сын. Я б сам его двинул. Только я бы схватил корзинку ее чертову с бутылками — и корзинкой бы.

— Скажите, какой заступник дамский, — сказал Споуд. — Приятель, ты возбуждаешь не только восторг, но и ужас. — Смотрит на меня насмешливо-холодным взглядом. — Ну и ну!

— Я жалею, что ударил его, — сказал я. — Как у меня вид — удобно мне вернуться к ним и помириться?

— Извиняться перед ними? Нет уж, — сказал Шрив. — Пусть катятся куда подальше. Мы с тобой сейчас домой поедем.

— А ему бы стоило вернуться, — сказал Споуд, — показать, что он как джентльмен дерется. То есть принимает побои как джентльмен.

— Вот в этом виде? — сказал Шрив. — Заляпанный кровью?

---

[43] КОММЕНТАРИИ: 43

этакой Ледой таиться в кустах… по лебедю. — В древнегреческом мифе Зевс, плененный красотой жены спартанского царя Леды, явился к ней в образе лебедя, когда она купалась в Евроте, и овладел ею.

— Что ж, воля ваша, — сказал Споуд. — Вам видней.

— Он еще не старшекурсник, чтобы щеголять в нижней сорочке, — сказал Шрив. — Ну, пошли.

— Я сам, — сказал я. — А ты возвращайся в машину.

— Да ну их к дьяволу, — сказал Шрив. — Идем.

— Что прикажете доложить им? — спросил Споуд. — Что у тебя с Квентином тоже драка вышла? " — Никаких докладов, — сказал Шрив. — Скажи ей, что время ее истекло с закатом солнца. Пошли, Квентин. Я сейчас спрошу у этой женщины, где тут ближайшая оста…

— Нет, — сказал я. — Я домой не еду.

Шрив остановился, повернулся ко мне. Очки блеснули желтенькими лунами.

— А куда же ты сейчас?

— Не домой. Ты возвращайся к ним. Скажешь им, что и я бы рад, но лишен возможности из-за одежды.

— Слушай, — сказал Шрив. — Ты чего это?

— Ничего. Так. Вы со Споудом возвращайтесь на пикник. Ну, до встречи, до завтра. — Я пошел через двор на дорогу.

— Ты ведь не знаешь, где остановка трамвая, — сказал Шрив.

— Найду. Ну, до встречи, до завтра. Скажите миссис Блэнд: я сожалею, что испортил ей пикник. — Стоят, смотрят вслед. Я обошел дом. Мощенная камнем аллейка ведет со двора. С обоих боков растут розы. Через ворота я вышел на дорогу. Дорога к лесу спускается под гору, и в той стороне у обочины виден их автомобиль. Я пошел в противоположную сторону, вверх по дороге. По мере подъема кругом становилось светлее, и не успел я взойти на гору, как услышал шум трамвая. Он доносился издали сквозь сумерки, я стал, прислушиваюсь. Автомобиль уже неразличим, а перед домом на дороге стоит Шрив, смотрит на гору. И желтый свет за ним разлит по крыше дома. Я вскинул приветно руку и пошел дальше и вниз по склону, прислушиваясь к трамваю. Вот уже дом скрылся за горой, я встал в желто-зеленом свете и слушаю, как трамвай громче, громче, теперь послабее, — и тут звук разом оборвался. Я подождал, пока трамвай снова тронулся. Зашагал дальше.

Дорога шла вниз, и свет медленно мерк, но не меняясь в своем качестве — будто это не он, а я меняюсь, убываю. Однако даже под деревьями газету читать было бы видно. Скоро я дошел до развилки, свернул. Здесь деревья росли со-

мкнутей и было темнее, чем на дороге, но когда я вышел к трамвайной остановке — опять к деревянному навесу, — то вступил все в тот же неизменный свет. Так поярчело кругом, как будто я прошел тропкой сквозь ночь и вышел снова в утро. Вот и трамвай. Я поднялся в вагон — оборачиваются, глядят на мой подбитый глаз, — и сел на левой стороне.

В трамвае уже горело электричество, так что, пока проезжали под деревьями, не видно было ничего, кроме собственного моего лица и отраженья женщины — она сидела справа от прохода, и на макушке у нее торчала шляпа со сломанным пером; но кончились деревья, и опять стали видны сумерки, этот свет неизменного свойства, точно время и в самом деле приостановилось, и чуть за горизонтом — солнце, а вот и навес, где днем старик ел из кулька, и дорога уходит под сумерки, в сумерки, и за ними ощутима благодатная и быстрая вода. Трамвай тронулся, в незакрытую дверь все крепче тянет сквозняком, и вот уже он продувает весь вагон запахом лета и тьмы, но не жимолости. Запах жимолости был, по-моему, грустнее всех других. Я их множество помню. Скажем, запах глицинии. В ненастные дни — если мама не настолько плохо себя чувствовала, чтоб и

к окну не подходить, — мы играли под шпалерой, увитой глициниями. В постели мама — ну, тогда Дилси оденет нас во что похуже и выпустит под дождь: молодежи дождик не во вред, говаривала Дилси. Но если мама на ногах, то играем сперва на веранде, а потом мама пожалуется, что мы слишком шумим, и мы уходим под глицинии.

Вот здесь мелькнула река в последний раз сегодня утром — примерно здесь. За сумерками ощутима вода, пахнет ею. Когда весной зацветала жимолость, то в дождь запах ее был повсюду. В другую погоду не так, но только дождь и сумерки, как запах начинал течь в дом; то ли дождь шел больше сумерками, то ли в свете сумеречном есть что-то такое, но пахло сильнее всего в сумерки; до того распахнется, бывало, что лежишь в постели и повторяешь про себя — когда же этот запах кончится, ну когда же он кончится. (Из двери трамвая тянет водой, дует крепко и влажно). Повторяешь-повторяешь и уснешь иногда, а потом так оно все смешалось с жимолостью, что стало равнозначно ночи и тревоге. Лежишь, и кажется — ни сон ни явь, а длинный коридор серого полумрака, и в глубине его там все опризрачнено, извращено все, что только я сделал, испытал, перенес, все обратилось в тени, облеклось видимой формой,

причудливой, перековерканной, и насмехается нелепо, и само себя лишает всякого значения. Лежишь и думаешь: я был — я не был — не был кто — был не кто.

Сквозь сумерки пахнет речными излуками, и последний отсвет мирно лег на плесы, как на куски расколотого зеркала, а за ними в бледном чистом воздухе уже показались огни и слегка дрожат удаленными мотыльками. Бенджамин, дитя мое. Как он сидит, бывало, перед этим зеркалом. Прибежище надежное, где непорядок смягчен, утишен, сглажен. Бенджамин, дитя моей старости, заложником томящийся в Египте.[44] О Бенджамин. Дилси говорит: причина в том, что матери он в стыд. Внезапными острыми струйками прорываются они вот этак в жизнь ходиков, на мгновенье беря белый факт в черное кольцо неоспоримой правды, как под микроскоп; все же остальное время они — лишь голоса, смех, беспричинный с твоей точки зрения, и слезы тоже без причин. Похороны для вас — повод об заклад побиться, сколько человек идет за гробом:

---

[44] КОММЕНТАРИИ: 44

Бенджамин, дитя моей старости, заложником томящийся в Египте. — См. коммент. к с. 53 и 75. Библейская аллюзия здесь не совсем точна, так как заложником в Египте был не Вениамин, а его сводный брат Симеон.

чет или нечет. Как-то в Мемфисе целый бордель выскочил нагишом на улицу в религиозном экстазе.

"На каждого потребовалось по три полисмена, чтобы усмирить. Да, наш господине. О Иисусе благий. Человече добрый.

Трамвай остановился. Я сошел, навлекая внимание на свой подбитый глаз. Подошел городской трамвай — полон. Я стал на задней площадке.

— Впереди есть свободные места, — сказал кондуктор.

Я взглянул туда. С левой стороны все заняты.

— Мне недалеко, — сказал я. — Постою здесь.

Переезжаем реку. Через мост едем, высоким и медленным выгибом легший в пространство, а с боков — тишь и небытие, и огни желтые, красные, зеленые подрагивают в ясном воздухе, отображаются.

— Пройдите сядьте, чем стоять, — сказал кондуктор.

— Мне сейчас сходить, — сказал я. — Квартала два осталось.

Я сошел, не доезжая почты. Впрочем, в этот час они все уже где-нибудь лоботрясничают, и тут я услыхал свои часы и стал прислушиваться, не прозвонят ли на башне; тронул сквозь пиджак

письмо, написанное Шриву, и по руке поплыли гравированные тени вязов. На подходе к общежитию в самом деле раздался бой башенных часов и, расходясь, как круги на воде, обогнал меня, вызванивая четверть — чего? Ну и ладно. Четверть чего.

Наши окна темны. В холле никого. Я вошел, держась левой стороны, но там пусто — только лестница изгибом вверх уходит в тени, в отзвуки шагов печальных поколений, легкой пылью наслоившихся на тени, и мои ноги будят, поднимают эти отзвуки, как пыль, и снова оседает она, легкая.

Еще не включив света, я увидел письмо на столе, прислоненное к книге, чтобы сразу увидел. Мужем моим окрестили. Но Споуд ведь говорил, что они куда-то еще едут и вернутся поздно, а без Шрива им не хватало бы одного кавалера. Притом бы я его увидел, а следующего трамвая ему целый час ждать, потому что после шести вечера. Я вынул часы — тикают себе, и невдомек им, что солгать они теперь и то не могут. Положил на стол вверх циферблатом, взял письмо миссис Блэнд, разорвал пополам и выбросил в корзину, потом снял с себя пиджак, жилет, воротничок, галстук и рубашку. Галстук тоже заляпан, но негру сойдет.

Скажет, что Христос этот галстук носил, оттого и кровавый рисунок. Бензин отыскался в спальне у Шрива, я расстелил жилет на столе, на гладком, и открыл пробку.

Первый автомобиль в городе у девушки Девушка Вот чего Джейсон не выносит ему от бензинного запаха худо и тогда он еще злее потому что девушка Девушка У него-то сестры нет Но Бенджамин, Бенджамин дитя моей горестной Если бы у меня была мать чтобы мог сказать ей Мама мама Бензина извел уйму, и теперь не понять, кровяное ли еще пятно или один бензин уже. От него порез на пальце снова защипало, и я пошел умываться, повесив прежде жилет на спинку стула и притянув пониже электрический шнур, чтобы лампочка пятно сушила. Умыл лицо и руки, но даже сквозь мыло слышен запах острый, сужающий ноздри слегка. Открыл затем маленький чемодан, достал рубашку, воротничок и галстук, а те, заляпанные, уложил, закрыл чемодан и надел их. Когда причесывался, пробило половину. Но время у меня, по крайней мере, до без четверти, вот разве только если *на летящей тьме он одно лишь свое лицо видит а сломанного пера нет разве что их две в такой шляпе но не в один же вечер две такие будут следовать в*

Бостон трамваем И вот мое лицо с его лицом на миг сквозь грохот когда из тьмы два освещенных окна в оцепенело уносящемся грохоте Ушло его лицо одно мое вижу видел а видел ли Не простясь Навес без кулька и пустая дорога в темноте в тишине Мост выгнувшийся в тишину темноту сон вода благодатная быстрая Не простясь

Я выключил свет, ушел в спальню к себе от бензина, но запах слышен и здесь. Стою у окна, занавески медленно приколыхиваются из темноты к лицу, словно кто дышит во сне, и медленным выдохом опадают опять в темноту, оставив по себе касанье. *Когда они ушли наверх мама откинулась в кресле прижав к губам накамфаренный платок. Отец как сидел рядом с ней так и остался сидеть держа ее за руку а рев все раскатывается точно в тишину ему не уместиться* В детстве у нас была книжка с картинкой — темница и слабенький луч света косо падает на два лица, поднятых к нему из мрака. *"Знаешь, что б я сделала, когда бы королем была?* (Не королевой, не феей — всегда королем только, великаном или полководцем). *Разломала бы тюрьму, вытащила б их на волю и хорошенько бы выпорола"* Картинка оказалась потом вырвана, выдрана прочь. И я рад был. А то все бы глядел на нее, пока не стала бы той

темницей сама уже мама, — она и отец тянутся лицами к слабому свету и держатся за руки, а мы затерялись где-то еще ниже, и нам даже лучика нет. А потом примешалась и жимолость. Только, бывало, свет выключу и соберусь уснуть, она волнами в комнату и так нахлынет, гуще, гуще до удушья, и приходится вставать и ощупью, как маленький, искать дверь *руки зрят осязаньем в мозгу чертя невидимую дверь Дверь а теперь ничего не видят руки* Нос мой видит бензин, жилетку на столе, дверь. По-прежнему коридор пуст от всех шагов печальных поколений, бредших в поисках воды. *а глаза невидящие сжатые как зубы не то что не веря сомневаясь даже в том что боли нет Щиколотка голень колено длинное струение невидимых перил где оступиться в темноте налитой сном Мама отец Кэдди Джейсон Мори дверь я не боюсь но мама отец Кэдди Джейсон Мори уснув настолько раньше вас я буду крепко спать когда дверь Дверь дверь* И там тоже никого, одни трубы, фаянс, тихие стены в пятнах, трон задумчивости. Стакан взять я забыл, но можно *руки зрят холодящую пальцы невидимую*

шею лебяжью Обойдемся без Моисеева жезла[45] *Пригоршня вот и стакан Касаньем осторожным чтоб не Журчит узкой шеей прохладной Журчит холодя металл стекло Полна через край Холодит стенки пальцы Сон промывает оставив в долгой тиши горла вкус увлаженного сна* Коридором, будя в тишине шуршащие полк шагов погибших, я вернулся в бензин, к часам, яростно лгущим на темном столе. А оттуда — к занавескам, что вдохом наплывают из тьмы в лицо мне и на лице оставляют дыхание. Четверть часа осталось. И тогда меня не будет. Успокоительнейшие слова. Успокоительнейшие. Non fui. Sum. Fui. Non sum[46]. Где-то слышал я перезвоны такие однажды. В Миссисипи то ли в Массачусетсе. Я был. Меня нет. Массачусетс то ли Миссисипи. У Шрива в чемодане есть бутылка. *Ты даже и не вскроешь?* Мистер и миссис Джейсон Ричмонд Компсон извещают о *Три раза. Дня. Ты даже и не вскроешь* свадьбе дочери их Кэндейси *напиток сей нас учит путать средства с целью.* Я есмь. Выпей-ка.

---

[45] КОММЕНТАРИИ: 45

…без Моисеева жезла… — Согласно библейской легенде, Моисей ударил жезлом по скале в пустыне, и из скалы пошла вода, напоившая людей, которые страдали от жажды.

[46] КОММЕНТАРИИ: 46

Меня не было. Я есмь. Я был. Меня нет (лат.).

Меня не было. Продадим Бенджину землю, чтобы послать Квентина в Гарвардский, чтобы кости мои стук-постук друг о друга на дне. Мертв буду в. По-моему, Кэдди говорила: один курс. У Шрива в чемодане есть бутылка. Отец к чему мне у Шрива Я продал луг за право смерти в Гарвардском Кэдди говорила В пещерах и гротах морских им мирно крошиться колеблемым донным теченьем Гарвардский университет звучит ведь так утонченно Сорок акров не столь уж высокая цена за красивый звук. Красивый мертвый звук Променяем Бенджину землю на красивый мертвый звук. Этого звука Бенджамину надолго хватит, он ведь его не расслышит, разве что учует *только на порог ступила, он заплакал* Я все время думал, он просто один из тех городских шутников, насчет которых отец вечно поддразнивал Кэдди, пока не. Я и внимания на него не больше обращал, чем на прочих там заезжих коммивояжеров или. Думал, это у него армейские рубашки, а потом вдруг понял, что он не вреда от меня опасается, а просто о ней вспоминает при виде меня, смотрит на меня сквозь нее, как сквозь цветное стекло *«Зачем тебе соваться в мои дела Знаешь ведь что ни к чему Предоставь уж маме с Джейсоном»*

«Неужели это мама подучила Джейсона шпио-

нить за тобой Я бы ни за»

«Женщины умеют лишь играть на чужих понятиях о чести Она ведь из любви к Кэдди» Даже расхворавшись, не уходила к себе наверх, чтобы отец не трунил над дядей Мори при Джейсоне. Отец шутя сказал, что дядя Мори неважный знаток античности и потому избегает риска личной встречи с бессмертным слепым сорванцом.[47] Только ему следовало бы избрать в почтальоны Джейсона, ибо Джейсон способен допустить оплошность лишь того же рода, что и сам дядя Мори допустил бы, но отнюдь не чреватую глазоподбитием. И верно, мальчишка Паттерсонов был младше и щуплей Джейсона. Они клеили змеев и продавали по пяти центов штука, пока не рассорились из-за дележа доходов. Тогда Джейсон подыскал себе нового партнера, еще замухрышистей, надо думать, потому что Ти-Пи сказал, что Джейсон опять казначеем. Но, говорит отец, зачем дяде Мори работать? Если он, отец то бишь, может содержать полдюжины негров, у которых только и дел, что сидеть, сунув ноги

---

[47] КОММЕНТАРИИ: 47

...с бессмертным слепым сорванцом. — Имеется в виду Амур, бог любви, которого часто изображали с завязанными глазами. В оригинале далее обыгрывается совпадение имени Джейсона с английским написанием имени мифологического героя Язона, отправившегося за Золотым Руном.

в духовку, то уж, конечно, он может время от времени предоставлять дяде Мори стол и кров и деньжат ссужать малую толику — зато ведь дядя Мори поддерживает в нем и раздувает огонь веры в небесное происхождение нашей породы; и тут мама, бывало, заплачет и скажет, что отец ставит ее род ниже своего, что он насмехается над дядей Мори и нас тому же учит Не понимала она, что отец тому единственно учил нас, что люди всего-навсего труха, куклы, набитые опилками, сметенными с мусорных куч, где все прежние куклы валяются и опилки текут из ничьей раны в ничьем боку не за меня неумершего.[48] В детстве я воображал себе смерть пожилым господином вроде моего деда, другом, что ли, его близким и особым — вот как письменный стол дедушкин был для нас особым, мы к нему робели и притронуться и в комнате, где этот стол стоял, даже не говорили громко; я всегда представлял себе так, что они вдвоем где-то вместе все время — на каком-то холме, за можжевельником — и

[48] КОММЕНТАРИИ: 48

...не за меня неумершего. — Герой Фолкнера отвергает основную христианскую доктрину, согласно которой «Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего», и профанически пародирует описание смерти Иисуса в Новом Завете: «... один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода».

ждут, чтобы к ним подсел старый полковник Сарторис, а он где-то еще повыше, ведет за чем-то удаленным наблюдение, и вот они ждут, когда полковник кончит наблюдать и сойдет к ним. Дедушка в своей генеральской форме, и голоса их все время бормочут за деревьями — ведут беседу, и дедушка все время прав

Вот и три четверти бьет Первая нота раздалась размеренная, безмятежная и, отзвучав спокойно и бесповоротно, освободила медленную тишину для следующей; в чем все и дело, если б люди так могли менять друг друга навсегда, преображаться, взвихрясь пламенем на миг, и чистыми затем быть уносимы сквозь прохладный вечный мрак, а не лежать у себя в комнате, стараясь забыть про гамак, пока, наконец, к можжевельнику не прилип этот яркий мертвый запах духов, которого так не терпит Бенджи. Стоило мне представить тот виргинский можжевельник, и казалось — слышу шепоты и всплески, чую толчки горячей крови в одичалом неукрытом теле, вижу — на красном фоне век — стадо на волю пущенных свиней, спарено кидающихся в море.[49] А отец: Нам должно лишь краткое время прободрство-

[49] КОММЕНТАРИИ: 49

...стадо на волю пущенных свиней... кидающихся в море. — См. коммент. к с. 122.

вать пока неправедность творится[50] — отнюдь не вечность А я: И краткого не нужно если обладаешь мужеством Он: Ты считаешь это мужеством Я: Да сэр считаю а вы нет Он: Каждый человек волен в оценке своих качеств То что ты считаешь такой поступок мужественным важнее самого поступка В противном случае твое намерение несерьезно Я: Вы не верите что я серьезно Он: Думаю, что чересчур даже серьезно и мне можно не тревожиться иначе ты не чувствовал бы надобности в этой выдумке насчет кровосмешения Я: Я не лгал я не лгал Он: Ты хотел акт естественной человеческой глупости[51] возвысить до грозного ужаса и очистить затем правдой Я: Я чтоб отгородить ее от грохочущего мира чтоб ему иного выбора не было как исторгнуть нас обоих из себя и тогда былое бы звучало так, как если б никогда его и не было Он: И ты склонял ее к этому Я: Нет я боялся Я боялся она согласится и тогда б оно не помогло Но если вам отцу скажу

---

[50] КОММЕНТАРИИ: 50

Нам должно лишь краткое время прободрствовать, пока неправедность творится… — повторяющаяся реминисценция из стихотворения Хаусмана (см. коммент. к с. 104).

[51] КОММЕНТАРИИ: 51

акт естественной человеческой глупости… — Здесь обыгрывается афоризм английского философа Томаса Брауна (1605–1682), назвавшего половой акт актом величайшей человеческой глупости.

то оно совершится тем самым и упразднит все что у нее с другими было и мир прочь угрохочет Он: Вернемся к другому твоему намерению Ты не солгал и в этом но ты еще не разбираешься в себе в той части всеобщего закона что правит сцеплением событий и причин и чья тень на челе, у каждого не исключая Бенджи Тобою не взята в расчет конечность всего на свете Тебе рисуется апофеоз в котором нынешнее — временное — состояние твоего духа будет симметризировано и вознесено над телесным, но сохранит навеки в себе ощущенье и себя и тела и ты не вовсе будешь устранен собственно даже не мертв Я: Временное Он: Тебе невыносима мысль что когда-нибудь твоя боль притупится Мы с тобой подходим к самой сути Ты кажется смотришь на смерть как на некую встряску которая так сказать сединой тебе выбелит голову за ночь но в остальном не коснется твоего облика Не в таком настроении кончают У игры свои законы Странней всего что человек само уже зачатие которого случайность и чей каждый новый вдох подобен очередному проброску костей насвинцованных шулером что человек никак не хочет примириться с неизбежностью финального кона а прибегает к насилию ко всяческим уловкам вплоть до мелкой подта-

совки неспособной и ребенка обмануть — пока однажды в крайнем отвращении на одну слепую карту бросит все Не в первом яростном приступе отчаяния горя угрызений кончают с собой а лишь когда осознают что даже и отчаяние горе угрызения твои не столь уж важны для сумрачного Игрока Я: Временное Он: Нелегко осознать что любовь ли горесть лишь бумажки боны наобум приобретенные и срок им истечет хочешь не хочешь и их аннулируют без всякого предупреждения заменят тебе другим каким-нибудь наличным выпуском божьего займа Нет ты не сделаешь этого ты прежде придешь к осознанью что даже и она быть может не вовсе достойна отчаяния Я: Никогда я не приду к такому Никто не знает того что я знаю Он: Возвращайся-ка ты лучше теперь в свой Кеймбридж а не то на месяц съезди в Мэн Денег хватит если экономно Тебе будет на пользу Копеечные развлечения врачуют успешней Христа Я: Допустим что я уже пробыл там неделю или месяц и понял то что по-вашему я там пойму Он: Тогда ты вспомнишь что мать с момента твоего рождения лелеяла мечту что ты кончишь Гарвардский а разрушать надежды женщин это не покомпсоновски А я: Временное Так будет лучше для меня и всех нас А он: Каждый

человек волен в самооценке но да не берется он предписывать другим что хорошо для них что плохо А я: Временное И он: Нет слов грустней чем был была было Кроме них ничего в мире И отчаяние временно и само время лишь в прошедшем

Последняя раздалась нота. Отзвенела наконец, и снова темнота затихла. Я вошел в нашу общую комнату, включил свет, надел жилетку. Бензином пахнет уже слабо, еле-еле, и пятно незаметно в зеркале. Глаз, во всяком случае, куда заметней. Надел пиджак. Письмо Шриву хрустнуло в кармане, я достал его, проверил адрес, переложил в боковой. Затем отнес часы к Шриву в спальню, спрятал ему в столик, пошел в свою комнату, достал свежий носовой платок, вернулся к дверям, поднял руку к выключателю. Вспомнил, что зубы не чищены, и пришлось снова лезть в чемоданчик. Вынул щетку, взял у Шрива из тюбика пасты, пошел в ванную, зубы вычистил. Выжал щетку посуше, вложил обратно в чемодан, закрыл, опять пошел к дверям. Прежде чем выключить свет, огляделся вокруг, не забыл ли чего. Так и есть: забыл шляпу. Мне идти мимо почты, и непременно кого-нибудь встречу из наших, и подумают, что я правоверный гарвардец и корчу из себя старшекурсника. Шляпа нечищена тоже,

но у Шрива есть щелка, и чемоданчик не надо больше открывать.

6 апреля 1928 года

По-моему так: шлюхой родилась — шлюхой и подохнет. Я говорю:

— Если вы за ней не знаете чего похуже, чем пропуски уроков, то это еще ваше счастье. Ей бы в данную минуту, — говорю, — в кухне быть и завтрак стряпать, а не у себя там наверху краситься-мазаться и ждать, пока ее обслужат шестеро нигеров, которые сами со стула не могут подняться, пока не набьют брюхо мясом и булками для равновесия.

А матушка говорит:

— Но чтобы дирекция и учителя имели повод думать, будто она у меня совсем отбилась от рук, будто я не могу…

— А что, — говорю, — можете разве? Вы и не пробовали никогда ее в руках держать, — говорю. — А теперь, в семнадцать лет, хотите начинать воспитывать?

Помолчала, призадумалась.

— Но чтобы в школе… Я не знала даже, что у нее есть дневник. Она мне осенью сказала, что в этом году их отменили. А нынче вдруг учитель Джан-

кин мне звонит по телефону и предупреждает, что если она совершит еще один прогул, то ее исключат. Как это ей удается убегать с уроков? И куда? Ты весь день в городе; ты непременно бы увидел, если бы она гуляла на улице.

— Вот именно, — говорю. — Если бы она гуляла на улице. Не думаю, чтоб она убегала с уроков для невинных прогулочек по тротуарам.

— Что ты хочешь сказать этим? — спрашивает мамаша.

— Ничего я не хочу сказать, — говорю. — Я просто ответил на ваш вопрос.

Тут мамаша опять заплакала — мол, ее собственная плоть и кровь восстает ей на пагубу.

— Вы же сами у меня спросили, — говорю.

— Речь не о тебе, — говорит мамаша. — Из всех из них ты единственный, кто мне не в позор и огорчение.

— Само собой, — говорю. — Мне вас некогда было огорчать. Некогда было учиться в Гарвардском, как Квентин, или сводить себя пьянством в могилу, как отец. Мне работать надо было. Но, конечно, если вы желаете, чтобы я за ней следом ходил и надзирал, то я брошу магазин и наймусь на ночную работу. Тогда я смогу следить за ней днем, а уж в ночную смену вы Бена при-

способьте.

— Я знаю, что я тебе только в тягость, — говорит она и плачет в подушечку.

— Это для меня не ново, — говорю. — Вы твердите мне это уже тридцать лет. Даже Бен уже, должно быть, это усвоил. Так хотите, чтобы я поговорил с ней об ее поведении?

— А ты уверен, что это принесет пользу? — говорит матушка.

— Ни малейшей, если чуть я начну, как вы уже сошли к нам и вмешиваетесь, — говорю. — Если хотите, чтоб я приструнил ее, то так и скажите, а сама в сторонку. А то стоит мне взяться за нее, как вы каждый раз суетесь, и она только смеется над нами обоими.

— Помни, она тебе родная плоть и кровь, — говорит матушка.

— Само собой, — говорю. — Только эту плоть умертвить бы немножко. И чуточку бы крови пустить, была б моя воля. Раз ведешь себя как негритянка, то и обращение с тобой как с негритянкой, независимо кто ты есть.

— Я боюсь, что ты погорячишься, — говорит матушка.

— Зато уж вы, — говорю, — со своими методами многого добились. Так желаете, чтобы я занялся

ею? Да или нет? Мне на службу пора.

— Ох, знаю я, что жизнь твоя тратится в каторжном труде на всех нас, — говорит матушка. — Ты знаешь сам, что, будь моя воля, у тебя была бы сейчас своя собственная контора и часы занятий в ней, приличествующие Бэскому. Ты ведь Бэском, не Компсон, несмотря на фамилию. Я знаю, что если бы отец твой мог предвидеть…

— Что ж, — говорю, — отец тоже имел право давать иногда маху, как всякий смертный, как простой даже Смит или Джонс.

Она снова заплакала.

— Каково мне слышать, что ты не добром поминаешь своего покойного отца, — говорит.

— Ладно, — говорю, — ладно. Пускай по-вашему. Но поскольку конторы у меня нет, то мне сейчас надо на службу, на ту, какая у меня есть. Так хотите, чтобы я поговорил с ней?

— Я боюсь, что ты погорячишься, — говорит матушка.

— Ладно, — говорю. — Тогда не буду.

— Но надо же что-то делать, — говорит матушка. — Ведь иначе люди будут думать, что я сама ей разрешаю прогуливать уроки и бегать по улицам или что я бессильна воспретить ей… О муж мой, муж мой, — говорит. — Как мог ты. Как мог ты

покинуть меня в моих тяготах.

— Ну-ну, — говорю. — Вы этак совсем расхвораетесь. Вы либо на день ее тоже бы запирали, либо препоручили б ее мне и успокоились на том бы.

— Родная плоть и кровь моя, — говорит матушка и плачет.

— Ладно, — говорю. — Я займусь ею. Кончайте же плакать.

— Старайся не горячиться, — говорит она. — Не забывай, что она еще ребенок.

— Постараюсь, — говорю. Вышел и дверь затворил.

— Джейсон, — мамаша за дверью. Я не отвечаю. Ухожу коридором. — Джейсон, — из-за двери снова. Я сошел вниз по лестнице. В столовой никого, слышу — Квентина в кухне. Пристает к Дилси, чтобы та ей налила еще кофе. Я вошел к ним.

— Ты что, в этом наряде в школу думаешь? — спрашиваю. — Или у вас сегодня нет занятий?

— Ну, хоть полчашечки, Дилси, — Квентина свое. — Ну, пожалуйста.

— Не дам, — говорит Дилси, — и не подумаю. В семнадцать лет девочке больше чем чашку нельзя, да и что бы мис Кэлайн сказала. Иди лучше оденься, а то Джейсон без тебя уедет в город. Хочешь опять опоздать.

— Не выйдет, — говорю. — Мы сейчас с этими опозданиями покончим.

Смотрит на меня, в руке чашка. Отвела с лица волосы, халатик сполз с плеча.

— Поставь-ка чашку и поди на минуту сюда, в столовую, — говорю ей.

— Это зачем? — говорит.

— Побыстрее, — говорю. — Поставь чашку в раковину и ступай сюда.

— Что вы еще затеяли, Джейсон? — говорит Дилси.

— Ты, видно, думаешь, что и надо мной возьмешь волю, как над бабушкой и всеми прочими, — говорю. — Но ты крепко ошибаешься. Говорят тебе, чашку поставь, даю десять секунд.

Перевела глаза с меня на Дилси.

— Засеки время, Дилси, — говорит. — Когда пройдет десять секунд, ты свистнешь. Ну, полчашечки, Дилси, пожа…

Я схватил ее за локоть. Выронила чашку. Чашка упала на пол, разбилась, она дернула руку, глядит на меня — я держу. Дилси поднялась со своего стула.

— Ох, Джейсон, — говорит.

— Пустите меня, — говорит Квентина, — не то дам пощечину.

— Вот как? — говорю. — Вот оно у нас как? — Взмахнула рукой. Поймал и эту руку, держу, как кошку бешеную. — Так вот оно как? — говорю. — Вот как оно, значит, у нас?

— Ох, Джейсон! — говорит Дилси. Из кухни потащил в столовую. Халатик распахнулся, чуть не голышом тащу чертовку. Дилси за нами ковыляет. Я повернулся и захлопнул дверь ногой у Дилси перед носом.

— Ты к нам не суйся, — говорю.

Квентина прислонилась к столу, халатик запахивает. Я смотрю на нее.

— Ну, — говорю, — теперь я хочу знать, как ты смеешь прогуливать, лгать бабушке, подделывать в дневнике ее подпись, до болезни ее доводить. Что все это значит?

Молчит. Застегивает на шее халатик, одергивает, глядит на меня. Еще не накрасилась, лицо блестит, как надраенное. Я подошел, схватил за руку.

— Что все это значит? — говорю.

— Не ваше чертово дело, — говорит. — Пустите.

Дилси открыла дверь.

— Ох, Джейсон, — говорит.

— А тебе сказано, не суйся, — говорю, даже не

оглядываясь. — Я хочу знать, куда ты убегаешь с уроков, — говорю. — Если б на улицу, то я бы тебя увидел. И с кем ты убегаешь? Под кусточек, что ли, с которым-нибудь из пижончиков этих прилизанных? В лесочке с ним прячетесь, да?

— Вы — вы противный зануда! — говорит она. Как кошка рвется, но я держу ее. — Противный зануда поганый! — говорит.

— Я тебе покажу, — говорю. — Старую бабушку отпугнуть — это ты умеешь, но я покажу тебе, в чьих ты сейчас руках.

Одной рукой держу ее — перестала вырываться, смотрит на меня, глазищи широкие стали и черные.

— Что вы хотите со мной делать?

— Сейчас увидишь что. Вот только пояс сниму, — говорю и тяну с себя пояс. Тут Дилси хвать меня за руку.

— Джейсон, — говорит. — Ох, Джейсон! И не стыдно!

— Дилси, — Квентина ей, — Дилси.

— Да не дам я тебя ему. Не бойся, голубка. — Вцепилась мне в руку. Тут пояс вытянулся наконец. Я дернул руку, отпихнул Дилси прочь. Она прямо к столу отлетела. Настолько дряхлая, что еле на ногах стоит. Но это у нас так положено — надо же

держать кого-то в кухне, чтоб дочиста выедал то, что молодые негры не умяли. Опять подковыляла, загораживает Квентину, за руки меня хватает.

— Нате, меня бейте, — говорит — если сердце не на месте, пока не ударили кого. Меня бейте.

— Думаешь, не ударю? — говорю.

— Я от вас любого неподобства ожидаю, — говорит.

Тут слышу: матушка на лестнице. Как же, усидит она, чтоб не вмешаться. Я выпустил руку Квентинину. Она к стенке отлетела, халатик запахивает.

— Ладно, — говорю. — Временно отложим. Но не думай, что тебе удастся надо мной взять волю. Я тебе не старая бабушка и тем более не полудохлая негритянка. Потаскушка ты сопливая, — говорю.

— Дилси, — говорит она. — Дилси, я хочу к маме.

Дилси подковыляла к ней.

— Не бойся, — говорит. — Он до тебя и пальцем не дотронется, покамест я здесь.

А матушка спускается по лестнице.

— Джейсон, — голос подает матушка. — Дилси.

— Не бойся, — говорит Дилси. — И дотронуться не пущу его. — И хотела погладить Квентину. А

та — по руке ее.

— Уйди, чертова старуха, — говорит. И бегом к дверям.

— Дилси, — мамаша на лестнице зовет. Квентина мимо нее вверх взбегает. — Квентина, — матушка ей вслед. — Остановись, Квентина.

Та и ухом не ведет. Слышно — бежит уже наверху, потом по коридору. Потом дверь хлопнула.

Матушка постояла. Стала спускаться дальше.

— Дилси, — зовет.

— Слышу, слышу, — Дилси ей, — сейчас. А вы, Джейсон, идите выводите машину. Обождете ее, довезете до школы.

— Уж можешь быть спокойна, — говорю. — Доставлю и удостоверюсь, что не улизнула. Я взялся, я и доведу это дело до конца.

— Джейсон, — мамаша на лестнице.

— Идите же, Джейсон, — говорит Дилси, ковыляя ей навстречу. — Или хотите и ее разбудоражить? Иду, иду, мис Кэлайн.

Я пошел во двор. Слышно, как Дилси на лестнице:

— Ложитесь сейчас же обратно в постельку. Знаете ведь сами, что нельзя вставать, пока не отхворались! Идите ложитесь. А я ее отправлю сейчас в школу, чтоб не опоздала.

Я пошел в гараж к машине. А оттуда пришлось идти искать Ластера, обойти вокруг всего дома, пока не увидал их.

— Я как будто велел тебе укрепить там сзади запасное колесо, — говорю.

— У меня не было времени, — Ластер в ответ. — За ним некому больше глядеть, пока мэмми в кухне стряпает.

— Само собой, — говорю. — Кормлю тут полную кухню черномазых, чтобы ходили за ним, а в результате шину и ту некому сменить, кроме как мне самому.

— Мне не на кого было его оставить, — отвечает. Кстати и тот замычал слюняво.

— Убирайся с ним на задний двор, — говорю. — Какого ты тут дьявола торчишь с ним на виду у всех.

Прогнал их, пока он не развылся в полный голос. Хватит с меня и воскресений, когда на этом треклятом лугу полно людей, гоняют шарик чуть побольше нафталинного — чувствуется, что нет у них домашнего цирка и полдюжины негров кормить им не надо. А Бен знай бегает вдоль забора взад-вперед и ревет, чуть только завидит игрока; еще, того и гляди, станут взимать с нас плату за участие, и тогда придется мамаше с

Дилси взять по костылю, а вместо мячей — пару круглых фаянсовых дверных ручек, и включиться в игру. Или же мне самому заняться гольфом — с фонарем ночью. Тогда, возможно, всех нас сообща отправят в Джексон. То-то праздник был бы у соседей по сему случаю.

Пошел в гараж опять. Колесо стоит, прислоненное к стене, но будь я проклят, если сам к нему притронусь. Я вывел машину, развернул. Квентина стоит ждет в аллее. Я говорю ей:

— Что учебников у тебя нет ни единого, это я знаю. Я хотел бы только, если можно, спросить, куда ты их девала. Натурально, я никакого права не имею спрашивать, — говорю. — Я всего-навсего тот простофиля, который выложил за них в сентябре одиннадцать долларов шестьдесят пять центов.

— За мои учебники платит мама, — она мне. — Ваших денег на меня не тратится ни цента. Я лучше с голоду умру.

— Да ну? — говорю. — Ты скажи бабушке — услышишь, что она тебе ответит. И насчет одежек — ты вроде не совсем еще голая ходишь, — говорю, — хотя под этой штукатуркой лицо у тебя — самая прикрытая часть тела.

— По-вашему, на это платье пошел хоть цент

ваших или бабушкиных денег?

— А ты спроси бабушку, — говорю. — Спроси-ка, что со всеми предыдущими чеками сталось. Помнится, один она сожгла на твоих же глазах. — Она и не слушает, лицо всплошную замазано краской, а глаза жесткие, как у злющей собачонки.

— А знаете, что бы я сделала, если бы думала, что хоть один цент ваш или бабушкин потрачен был на это? — говорит она, кладя руку на платье.

— Что же бы ты сделала? — спрашиваю. — Бочку бы надела вместо платья?

— Я тут же сорвала бы его с себя и выкинула на улицу, — говорит. — Не верите?

— Как же, — говорю. — Ты уже не одно платье так выкинула.

— А вот смотрите, — говорит. Обеими руками схватилась за вырез у шеи и тянет, будто хочет разорвать.

— Порви только попробуй, — говорю, — и я тебя так исхлещу прямо здесь же, на улице, что запомнишь на всю жизнь.

— А вот смотрите, — говорит. И я вижу: она в самом деле хочет разорвать, сорвать его с себя. Пока машину остановил, схватил ее за руки — собралось уже больше десятка зевак. Меня до того досада взяла, даже как бы ослеп на минуту.

— Перестань, — говорю, — моментально, или ты у меня пожалеешь, что родилась на свет божий.

— Я и так жалею, — говорит. Перестала, но глаза у нее сделались какие-то — ну, думаю, попробуй только разревись сейчас на улице, в машине, тут же выпорю. Я тебя в бараний рог скручу. На счастье ее, сдержалась, я выпустил руки, поехали дальше. Удачно еще, что тут как раз переулок, и я свернул, чтобы не через площадь. У Бирда на пустыре уже балаган ставят. Эрл уже отдал мне те две контрамарки, что причитались нам за афиши в нашей витрине. Она сидит отвернувшись, губу кусает. — Я и так жалею, — говорит. — И зачем только я родилась…

— Я знаю по крайней мере еще одного человека, кому не все в этой истории понятно, — говорю. Остановил машину перед школой. Звонок уже дали, как раз последние ученики входят. — Хоть раз не опоздала, — говорю. — Сама пойдешь и пробудешь все уроки или мне отвести тебя и усадить за парту? — Вышла из машины, хлопнула дверцей. — И запомни мои слова, — говорю, — я с тобой не шучу. Пусть только еще раз услышу, что ты прячешься по закоулочкам с каким-нибудь пижоном.

На эти слова обернулась.

— Я ни от кого не прячусь, — говорит. — Все могут знать все, что я делаю.

— Все и знают, — говорю. — Каждому здешнему жителю известно, кто ты есть. Но я этого больше терпеть не намерен, слышишь ты? Лично мне плевать на твое поведение, — говорю. — Но в городе здесь у меня дом и служба, и я не потерплю, чтобы девушка из моей семьи вела себя как негритянская потаскуха. Ты меня слышишь?

— Мне все равно, — говорит — Пускай я плохая и буду в аду гореть. Чем с вами, так лучше в аду.

— Прогуляй еще один раз — и я тебе такое устрою, что и правда в ад запросишься, — говорю. Повернулась, побежала через двор. — Помни, еще только раз, — говорю. Даже не оглянулась.

Я завернул на почту, взял письма и поехал к себе в магазин. Поставил машину, вхожу — Эрл смотрит на меня. А я на него смотрю: давай, если желаешь, заводи речь насчет опоздания. Но он сказал только:

— Культиваторы прибыли. Поди помоги дядюшке Джобу поставить их на место.

Я вышел на задний двор, там старикашка Джоб снимает с них крепеж со скоростью примерно три болта в час.

— По такому, как ты, работяге моя кухня тоскует, — говорю. — У меня там кормятся все никудышные нигеры со всего города, тебя лишь не хватает.

— Я угождаю тому, кто мне платит по субботам, — говорит он. — А уж прочим угождать у меня не остается времени. — Навинтил гаечку. — Тут у нас на весь край один только и есть работяга — хлопковый долгоносик.[52]

— Да, счастье твое, что ты не долгоносик и не заинтересован кровно в этих культиваторах, — говорю. — А то бы ахнуть не успели, как ты бы уработался над ними насмерть.

— Что верно, то верно, — говорит. — Долгоносику туго приходится. В любую погоду он семь деньков в неделю вкалывает на этом адовом солнце. И нет у долгоносика крылечка, чтоб сидеть смотреть с него, как арбузы спеют, и суббота ему без значения.

— Будь я твоим хозяином, — говорю, — то и тебе бы суббота была без значения. А теперь давай-ка высвобождай их от тары и тащи в сарай.

От нее письмо я вскрыл первым и вынул чек. Жди от бабы аккуратности. На целых шесть дней

---

[52] КОММЕНТАРИИ: 52

Хлопковый долгоносик — насекомое-вредитель, из-за которого в США ежегодно погибает одна десятая часть всего урожая хлопка.

задержала. А еще хотят нас уверить, что могут вести дело не хуже мужчин. Интересно, сколько бы продержался в бизнесе мужчина, который бы считал шестое апреля первым днем месяца. Когда матушке пришлют месячное извещение из банка, она уж обязательно приметит дату и захочет знать, почему я свое жалованье внес на счет только шестого числа. Такие вещи баба в расчет не берет.

«Мое письмо про праздничное платье для Квентины осталось без ответа. Неужели оно не получено? Нет ответа на оба последних моих письма к ней — хотя чек, что я вложила во второе, предъявлен к оплате вместе с вашим очередным. Не больна ли она? Сообщи мне немедленно, иначе я приеду и выясню сама. Ты ведь обещал давать мне знать, как только у нее будет нужда в чем-нибудь. Жду ответа до 10-го. Нет, лучше дай сейчас же телеграмму. Ты вскрываешь мои письма к ней. Я знаю это так же твердо, как если бы сама видела. Слышишь, телеграфируй мне сейчас же, что с ней, по следующему адресу».

Тут Эрл заорал Джобу, чтобы поторапливался, и я спрятал письма и пошел во двор — расшевелить немножко Нигера. Нет, нашему краю просто необходимы белые работники. Пусть бы эти чер-

номазые лодыри годик-другой поголодали, тогда бы поняли, какая им сейчас малина, а не жизнь.

Вернулся со двора — десятый час. У нас сидит коммивояжер какой-то. До десяти еще осталось время, и я пригласил его пойти тут рядом выпить кока-колы. Разговор у нас зашел насчет видов на урожай.

— Толку мало, — говорю. — От хлопка прибыль одним биржевикам. Забьют фермеру мозги, давай, мол, урожаи подымай — это чтоб им вывалить на рынок по дешевке и оглоушить сосунков. А фермеру от этого единственная радость — шея красная да спина горбом. Потом землю кропит, растит хлопок, а думаете, он хоть ржавый цент выколотит сверх того, что на прожитье нужно? Если урожай хороший, — говорю, — так цены до того упадут, что хоть на кусту оставляй, а плохой — так и в очистку везти нечего. А для чего вся чертова музыка? Чтоб кучка нью-йоркских евреев — я не про лиц иудейского вероисповедания как таковых, я евреев знавал и примерных граждан. Вы сами, возможно, из них, — говорю.

— Нет, — отвечает — я американец.

— Я не в обиду сказал это, — говорю. — Я каждому отдаю должное, независимо от религии или чего другого. Я ничего не имею против евреев

персонально, — говорю. — Я про породу ихнюю. Они ведь не производят ничего — вы согласны со мной? Едут в новые места следом за первыми поселенцами и продают им одежду.

— Вы старьевщиков-армян имеете в виду, — говорит он, — не правда ли? Первопоселенец не охотник до новой одежды.

— Я не в обиду, — говорю. — Вероисповедание я никому в упрек не ставлю.

— Да-да, — отвечает. — Но я американец. У нас в роду примесь французской крови, откуда у меня и этот нос. Я коренной американец.

— То же самое и я, — говорю. — Немного нас теперь осталось. Я про тех маклеров говорю, что сидят там в Нью-Йорке и стригут клиентов-сосунков.

— Уж это точно, — говорит. — В биржевой игре мелкота как муха вязнет. Законом следовало бы воспретить.

— Может, я неправ, по-вашему? — говорю.

— Нет-нет, — говорит. — Правы, конечно. На фермера все шишки.

— Еще бы не я прав, — говорю. — Обстригут тебя как овцу, если только не получаешь конфиденциальной информации от человека, который в курсе. Должен вам сказать, я держу прямую

связь кой с кем там на бирже в Нью-Йорке. У них в советчиках один из крупнейших воротил. Притом мой метод, — говорю, — в один прием большой суммы не ставить. Я не из тех сосунков, что думают, они все поняли, и хотят за три доллара убить медведя. Таких-то сосунков и ловят нью-йоркцы. Тем и живут.

Пробило десять. Я пошел на телеграф. День начался с небольшого повышения, как они и предсказали мне.

Я отошел в уголок и перечел их телеграмму, на всякий пожарный случай. А пока читал, телеграфист принял новую сводку. Акции поднялись на два пункта. Наши, что на телеграфе собрались, все поголовно покупают. Это уже из разговоров их понятно. Мол, прыгай скорей на подножку, ребята, а то укатит счастье. Как будто трудно понять, к какому клонится исходу. Как будто закон такой и обязали тебя покупать. Ну что ж, и нью-йоркским евреям жить надо. Но что за времена настали, будь я проклят, если любой сволочной иностранец, светивший задом у себя на родине, где его господь бог поселил, может являться к нам в страну и прямо тащить барыши у американца из кармана. Еще на два пункта поднялись. Итого, на четыре. Но черт их дери, они же на месте там

и в курсе дела. И если поступать не по их советам, так на кой тогда платить им десять долларов ежемесячно. Я уже ушел было, но вспомнил и вернулся, дал ей телеграмму. «Все благополучно. К напишет сегодня».

— К напишет? — удивляется телеграфист.

— Да, — говорю. — Ка. Буква такая.

— Я просто для верности спрашиваю, — говорит.

— Вы давайте шлите, как написано, а уж верность я вам гарантирую, — говорю. — Заплатит получатель.

— Телеграммы отбиваем, Джейсон? — встревает Док Райт, заглядывая мне через плечо. — Что это — шифровка маклеру, чтоб покупал?

— Да уж что бы ни было, — говорю. — Вы, ребята, своим умом живете. Вы ведь больше в курсе, чем ньюйоркские дельцы.

— Кому же, как не мне, в курсе быть, — говорит Док. — Я бы деньги сэкономил нынче, если б играл на повышение — по два цента за фунт.

Еще сводка пришла. Упали на пункт.

— Джейсон продает, — говорит Хопкинс. — По физиономии видать.

— Да уж продаю ли, нет ли, — говорю — Продолжайте действовать своим умом, ребята. Этим

богачам евреям из Нью-Йорка тоже надо жить, как всем прочим.

Я пошел обратно в магазин. Эрл занят у прилавка.

Я прошел в заднюю комнату, сел к столу, вскрыл то письмо, что от Лорейн. «Милый папашка хочу чтоб ты приехал Мне без папочки не та компания скучаю об миленьком папашке». Еще бы. Прошлый раз я дал ей сорок долларов В подарок. Женщине я никогда и ничего не обещаю и вперед не говорю, сколько дам. Это единственный способ держать их в узде — Пускай сидит гадает, какой сюрприз я ей преподнесу. Если тебе нечем бабу другим удивить, удиви оплеухой.

Я порвал письмо и зажег над урной. У меня правило: с женским почерком ни клочка бумаги у себя не оставляю, а им я вообще не пишу. Лорейн меня все просит — напиши, но я ей отвечаю: все, что я забыл тебе сообщить, подождет до следующего моего приезда в Мемфис. Ты-то, говорю, можешь написать мне иногда, без обратного адреса на конверте, но посмей только по телефону вызвать — и ты кувырком полетишь из Мемфиса. Когда я у тебя, то я клиент не хуже всякого другого, но телефонных звонков от бабья не потерплю. На, говорю, и вручаю ей сорок долларов. Но если,

говорю, спьяна тебе взбредет в голову позвонить мне, то советую прежде посчитать до десяти.

«Когда же теперь?» — говорит.

«Что?»

«Ждать тебя».

«Там видно будет», — говорю. Она хотела было заплатить за пиво, но я не дал. «Спрячь, — говорю. — Купи себе платье на них». Горничной тоже дал пятерку. В конце концов, я считаю, что деньги сами по себе не имеют цены; важно, как ты их тратишь. Трястись над ними нечего, они же не наши и не ваши. Они того, кто их умеет поймать и удержать. Тут в Джефферсоне у нас есть человек, наживший уйму денег на продаже неграм гнилого товара. Жил он у себя над лавкой, в каморке размером со свиной закут, сам и стряпал себе. А лет примерно пять назад он вдруг заболел. Струхнул, видно, крепко, и когда поднялся на ноги, то начал в церковь ходить и миссионера содержать в Китае. Пять тысяч долларов ежегодно в это дело всаживает. Я частенько думаю — ну и взбесится же он, если после смерти обнаружит вдруг, что никаких небес нет и в помине и что плакали его ежегодные пять тысяч. По-моему, умер бы уж лучше без проволочек и деньги бы сэкономил.

Догорело письмо, я хотел было сунуть обратно

в пиджак остальные, но меня будто толкнуло что-то — дай-ка, думаю, еще до обеда вскрою письмо, которое Квентине; но тут слышу, Эрл орет, чтобы шел обслужить покупателя. Спрятал я письма, вышел к ним, стою жду, пока чертов вахлак четверть часа решает, какой ему ремешок взять для хомута — за двадцать центов или же за тридцать пять.

— Брать — так уж хороший, — говорю. — С дешевеньким инвентарем далеко, братцы, не уедете, хозяйства вперед не подвинете.

— Если этот негодящий, — говорит, — так для чего он на продажу выставлен?

— Я не сказал, что этот не годится, — говорю. — Я сказал, тот лучше.

— А откуда вы знаете? — говорит. — Вы что, пробовали их на хомуте?

— Я оттуда знаю, — говорю, — что у того цена выше на пятнадцать центов. Оттуда ясно, что тот лучше.

Мнет в руках двадцатицентовый ремешок, пропускает его через пальцы.

— Пожалуй, этот все ж таки возьмем, — говорит. Я предложил завернуть, но он смотал его колечком и сунул в карман своей робы. Потом вытащил кисет, развязывал-развязывал, вытряс на

ладонь несколько монеток. Отделил четвертак.

— А на пятнадцать центов я в обед перекушу, — говорит.

— Что ж, — говорю, — дело хозяйское. Только на будущий год не приходите жаловаться, что новую сбрую надо покупать.

— До нового года еще ого-го, — говорит.

Отделался от него наконец, но стоит мне только вынуть из кармана этот конверт, как опять что-нибудь. Они все приехали в город на представление, прямо косяками хлынули отдавать свои денежки ловкачам, от которых городу ни пользы, ни дохода, если не считать того, что хапуги в городской управе поделят между собой. А Эрл хлопочет, суетится, как курица по курятнику: «Слушаю вас, мэм. Мистер Компсон вас обслужит. Джейсон, покажи-ка даме маслобойку», — или: «Джейсон, отпусти на пять центов гардинных колец».

Да уж, Джейсона работа любит. Конечно, говорю матушке, в университеты нас не посылали, не обучали в Гарвардском, как ночью прыгать с моста, не умея даже на воде держаться; а в Сивонийском вообще, что такое вода, не проходят. Так и быть, говорю, пошлите меня в университет нашего штата — может, выучусь пипеткой стен-

ные часы заводить и заступлю на место Бена, и тогда Бена сможете послать служить на флот. А нет — так в кавалерию, там мерины в ходу. А тут еще она Квентину прислала ко мне на прокорм. Что ж, говорю, и это тоже правильно — чем мне на север ехать куда-то на должность к ним в банк, так они мне прямо на дом прислали мою должность. Тут матушка в слезы, а я ей:

— Что вы, что вы, я не возражаю, пусть живет; чтобы вам сделать удовольствие, я и службу могу бросить, и сам буду нянчить ее, а уж вы с Дилси позаботитесь, чтоб у нас мучная кадь не пустовала, или Бена в кормильцы приспособьте. Отдайте его напрокат в бродячий цирк, непременно где-нибудь в других местах найдутся охотники платить за погляденье десять центов.

Тут опять слезы и причитания — дескать, мой бедный убогий малютка, а я ей: Да-да, дайте ему только подрасти, большим помощником вам будет, а то теперь он всего в полтора раза выше меня ростом. А она мне: Скоро я умру, и тогда всем вам будет лучше, — а я на это ей: Ладно, ладно, пускай по-вашему. Спору нет, она вам действительно внучка, вопрос только, кто у нее другая бабушка. Но, говорю, время покажет, кто прав. Если вы думаете, что она сдержит обещание и не

будет ездить к ней сюда, то вы сами себя дурачите. — На похоронах и объявилась в первый раз. Мать сидит причитает — хоть то слава богу, что в тебе ничего компсоновского, кроме фамилии, ты все, что у меня теперь осталось, — ты и Мори, а я ей: Ну, лично я мог бы преспокойно обойтись без дяди Мори, — и тут они входят и говорят, что все готово, можно ехать. Матушка перестала плакать. Опустила вуаль, сошла вниз. Дядя Мори выходит из столовой, платочком прикрывает себе рот. Все расступились, сделали для нас проход, мы вышли на крыльцо — как раз вовремя, чтоб увидать, как Дилси гонит за угол Бена с Ти-Пи. Сошли с крыльца, в карету сели. Дядя Мори все бубнит: «Бедная моя сестрица, бедная сестрица», — и гладит мамашину руку, а во рту у него что-то есть.

— Ты не забыл траурную повязку? — спрашивает она. — Трогали бы уже, пока Бенджамин не вернулся им всем на посмешище. Бедный мальчик. Он и не знает. Не способен даже осознать.

— Ну, ну, ну, — бубнит дядя Мори, не раскрывая рта, и руку ей поглаживает. — Так оно и лучше. Пусть не ощущает своего сиротства, пока может.

— У других женщин дети служат опорой в годину утраты, — говорит матушка.

— У тебя Джейсон есть и я, — утешает дядя

Мори.

— Это такой ужас для меня, — говорит она. — За каких-то два неполных года потерять их обоих, и как потерять.

— Ну, ну, ну, — бубнит тот. А чуть погодя поднес ко рту руку потихоньку и выкинул их за окно. Тут я понял, чем это пахнет для него. Гвоздичками, жевал, чтоб заглушить. Он, должно быть, посчитал, что на отцовских похоронах прямой его долг клюкнуть, а может, это буфет спутал его с отцом и не дал пройти мимо. По-моему, если уж приспичило тогда отцу продавать имущество, чтобы послать Квентина в Гарвардский, то куда больше проку бы нам всем было, если бы он продал лучше этот буфет и на часть денег купил себе смирительную рубашку с одним рукавом. Должно быть, оттого во мне, по мамашиным словам, и компсоновского ничего нет, что он проспиртовался без остатка, пока до меня дошла очередь. По крайней мере, я не слышал, чтоб он хоть раз предложил продать что-нибудь и меня послать в Гарвардский.

Сидит, мямлит: «Бедная сестрица», — и руку ей гладит своей в черной перчатке — за эти перчатки прислали счет через четыре дня, точно двадцать шестого числа, потому что тогда ровно

месяц исполнился, как отец ездил к ним и чадо нам привез, и не захотел даже сказать ни где она, ни как она, а мать плача спрашивает: "И ты с ним даже и не виделся? И не попытался заставить его обеспечить младенчика? — а отец ей: «Нет уж, она ни к центу его денег не притронется». А матушка: «Его по суду можно заставить. Он ничего не может доказать, если только… Джейсон Компсон! Неужели вы были настолько глупы, что…»

«Помолчи, Кэролайн», — отец ей и послал меня, чтобы помог Дилси старую колыбель притащить с чердака. Я и говорю Дилси:

— Вот и должность моя — с доставкой на дом. — Мы ведь все время надеялись, что у них как-то уладится и он не станет ее гнать, и мать все говорит, бывало, что уж мою-то карьеру она просто не вправе подвергать опасности, после того как семья столько сделала для нее и для Квентина.

— А где ей место, как не дома, — Дилси мне. — Кому ее растить, когда не мне? Кто ж, как не я, всех вас вырастила?

— Да уж, хвалиться есть чем, — говорю. — Ну теперь матушке, по крайней мере, будет чем терзаться. — Снесли мы колыбель с чердака, и Дилси поставила ее в бывшей Кэддиной комнате. Того только матушка и ждала.

— Тш-ш, мис Кэлайн, — Дилси ей. — Вы же дитя разбудите.

— В эту комнату? — говорит матушка. — В эту зараженную атмосферу? Не предстоит ли мне и так тяжелая борьба с тем, что она унаследовала?

— Полно тебе, — говорит отец. — Не глупи.

— Где ж ей быть, как не здесь, — говорит Дилси. — В той самой спаленке, где я ее маму каждый божий вечер укладывала с тех самых пор, как она подросла и стала у себя спать.

— Тебе не понять, — говорит матушка. — Чтобы моя родная дочь была брошена собственным мужем. Бедный невинный младенчик, — говорит и смотрит на Квентину. — Ты не узнаешь никогда, сколько ты горя причинила.

— Полно тебе, Кэролайн, — отец говорит.

— Зачем вы такое при Джейсоне, — говорит Дилси.

— Я ли не ограждала Джейсона, — говорит мамаша. — Как только могла ограждала. И уж все, что в моих слабых силах, сделаю, но ее защищу от заразы.

— Хотела бы я знать, какой ей вред от спанья в этой комнате, — говорит Дилси.

— Уж вы как хотите, — говорит матушка. — Я знаю, что я всего-навсего беспокойная старая

женщина. Но я знаю, что нельзя безнаказанно попирать установления господни.

— Сущий вздор, — говорит отец. — Что ж, Дилси, тогда поставь ее в спальню миссис Кэролайн.

— Пусть, по-твоему, вздор, — говорит матушка. — Но она и узнать никогда не должна. Ни разу не должна услышать это имя. Дилси, я запрещаю тебе произносить это имя при ней. Я вознесла бы хвалу господу, если бы она могла вырасти и не знать даже, что у нее есть мать.

— Ты говоришь как дурочка, — отец ей.

— Я никогда не вмешивалась в то, как ты воспитывал их, — говорит матушка. — Но теперь я уже больше не могу. Мы должны решить это сейчас же, нынче же вечером. Либо это имя никогда не будет произнесено в ее присутствии, либо увозите ее прочь, либо же уйду я. Выбирайте.

— Ну, полно, — говорит отец. — Просто ты расстроена. Кроватка здесь пусть и останется, Дилси.

— Как бы вы сами не слегли, — говорит Дилси. — Вид у вас — будто с того света. Идите-ка в постель, я вам стаканчик пунша сделаю, и спите себе. Небось за все эти разъезды ни разу не выспались.

— Никаких стаканчиков, — говорит матуш-

ка. — Разве ты не знаешь, что доктор не велит? Зачем ты потворствуешь ему? Вся его болезнь в этих стаканчиках. Ты на меня взгляни, я тоже ведь страдаю, но я не так слабохарактерна, и я не пью, не свожу себя в могилу этим виски.

— Чепуха, — говорит отец. — Ни аза эти врачи не знают! Зарабатывают себе на жизнь никчемными предписаниями: делай, пациент, чего сейчас не делаешь, принимай, чего не принимаешь, — и в этом весь предел наших познаний в устройстве выродившейся двуногой обезьяны. Сегодня врача, а завтра ты еще духовника мне приведешь. — Матушка в слезы, а он вышел из комнаты. Сошел вниз и — слышу — скрипнул дверцей буфета. А ночью я проснулся и опять слышу, как он сходит к буфету. Матушка уснула, что ли, потому что в доме стало тихо наконец. И он старается, чтобы не зашуметь, отворил дверцу неслышно, только видно подол ночной рубашки и босые ноги у буфета.

Дилси постелила Квентине, раздела, уложила. Как отец внес ее в дом, так она и не просыпалась еще.

— Скоро уж, гляди, из люльки вырастет, — говорит Дилси. — Ну вот и ладно теперь. Постелю себе тюфяк тут же рядом через коридор, чтоб вам

ночью не вставать к ней.

— Я все равно не усну, — говорит мамаша. — Ты ступай домой. Я обойдусь. Я буду счастлива остаток своей жизни посвятить ей, если только смогу оградить ее…

— Тш-ш! — Дилси ей. — Мы уж о ней позаботимся. А ты иди-ка тоже спать, — говорит она мне. — Тебе завтра в школу вставать.

Я пошел, но матушка обратно позвала и поплакала надо мной.

— Ты моя единственная надежда, — говорит. — Ежевечерне я благодарю за тебя господа.

Сидим с ней ждем, пока скажут «готово», и она мне: «Если уж и мужа я лишилась, то хоть за то благодарение господу, что ты мне оставлен, а не Квентин. Слава богу, что ты не Компсон, ибо все, что у меня теперь осталось, — ты и Мори», а я и говорю: «Ну, я лично мог бы обойтись без дяди Мори». А он знай гладит руку ей своей перчаткой черной и бубнит невнятно. Перчатки снял, только когда очередь дошла кинуть ком земли лопатой. Он почти самый первый стоял, где над ними держали зонтики, и могильщики то и дело ногами топали, стучали заступами, чтоб налипшую грязь сковырнуть, и комья глухо шлепались на крышку, а когда потом я отошел к карете, то

увидел, как он за чьим-то могильным камнем тянет из бутылки. Я думал, он навеки присосался, а на мне мой новый костюм, но хорошо, что на колесах еще не так много было грязи, только все равно матушка увидела и говорит: «Нескоро теперь у тебя будет новый», а дядя Мори ей: «Ну, ну, ну. Не волнуйся ни о чем. Ты всегда можешь на меня рассчитывать».

Что верно, то верно. Всегда можем. Четвертое письмо сегодняшнее — от него, но я и не вскрывая знаю, о чем там. Я его письма уже сам писать бы мог или читать мамаше наизусть, набавив десять долларов для верности. Но то, третье, меня так и подмывало проверить. Прямо чувство такое, что уже надо ждать от нее очередной каверзы. С того первого раза она поумнела все же. Я тогда ей быстро дал понять, что со мной — это не с отцом иметь дело. Стали засыпать могилу, матушка расплакалась, конечно, и дядя Мори усадил ее в карету и укатил с ней. «А ты, — говорит, — сядешь в любой другой экипаж; тебя, говорит, каждый с удовольствием подвезет. А мне придется сейчас сопровождать матушку». Я хотел ему сказать: «Да-да, оплошность ваша, конечно. Вам надо было две бутылки взять, а не одну». Но вспомнил, где мы, и промолчал. Им что, пускай я мокну,

зато мамаша хоть всласть набеспокоится, что я воспаление легких схвачу.

Подумал я про все это, посмотрел, как они туда землю валят, шлепают грязь заступами, вроде раствор для кирпичей готовят или забор ставят, и стало не по себе как-то так, и я решил пройтись, что ли. Но если пойду по дороге в город, то они нагонят в экипажах, сажать к себе станут, и я подался от дороги к негритянскому погосту. Встал от дождя под деревьями, где слегка только покапывало и откуда видно будет, когда кончат и уедут. Скоро все уехали, я еще чуть подождал, потом пошел оттуда.

Трава вся мокрая, и я иду по тропке — и только у самой уже почти могилы увидал ее: стоит в черной дождевой накидке и на цветы глядит. Я сразу понял, кто это, — еще прежде чем она обернулась, посмотрела, подняла вуаль.

— Здравствуй, Джейсон, — говорит и руку подает. Поздоровались мы с ней.

— Ты зачем здесь? — говорю. — Ты же как будто дала обещание не ездить к нам. Я думал, у тебя хватит ума не приезжать.

— Да? — говорит. Отвернулась, смотрит на цветы. Их там было долларов на пятьдесят, не меньше. И Квентину на плиту кто-то положил

букетик. — Ума, говоришь?

— Впрочем, меня это не удивляет, — говорю. — Ты же на все способна. Ты ни о ком не думаешь. Тебе на всех плевать.

— А, — говорит. — Ты про свою должность. — Смотрит на могилу. — Мне жаль, Джейсон, что так получилось.

— Сильно тебе жаль, — говорю. — Теперь, значит, кроткие речи в ход пущены. Только напрасно приехала. Наследства нету ни гроша. Мне не веришь — спроси дядю Мори.

— Да никакого мне не нужно наследства, — говорит. Смотрит на могилу. — Почему не сообщили мне? — говорит. — Я случайно увидела в газете. На последней странице. Совсем случайно.

Молчу. Стоим, смотрим на могилу, и мне вспомнилось, как мы маленькие были и всякое такое, и опять стало не по себе, и досада какая-то давит, что теперь дядя Мори все время будет торчать у нас и распоряжаться, как вот сейчас оставил меня под дождем одного добираться домой.

— Да, много ты о нас думаешь, — говорю. — Только умер — сразу шмыг обратно сюда. Но впустую ты хлопочешь. Не думай, что тебе удастся под шумок домой вернуться. Не усидела в седле — пешком ходи, — говорю. — У нас в доме даже

имя твое под запретом, — говорю. — Понятно? Мы знать вас не знаем, тебя, его и Квентина, — говорю. — Понятно тебе?

— Понятно, — говорит. — Джейсон, — говорит и смотрит на могилу. — Если ты устроишь, чтобы я ее на минутку увидела, я дам тебе пятьдесят долларов.

— Да у тебя их нету, — говорю.

— А сделаешь? — говорит и на меня не смотрит.

— Сперва деньги покажи, — говорю. — Не верю, чтоб у тебя было пятьдесят долларов.

Смотрю, задвигала руками под накидкой, потом показала руку. А в руке, будь ты неладно, полно денег. Две или три желтенькие бумажки светят.

— Разве он до сих пор шлет тебе деньги? — говорю. — Сколько в месяц?

— Не пятьдесят — сто дам, — говорит. — Сделаешь?

— Но только на минуту, — говорю. — И чтобы все, как я скажу. Я и за тысячу долларов не соглашусь, чтобы она узнала.

— Да, да, — говорит. — Все, как ты скажешь. Только дай мне увидеть ее на минутку. Я ни просить, ни делать ничего больше не стану. Сразу же уеду.

— Давай деньги, — говорю.

— Ты их после получишь, — говорит.

— Не веришь мне? — говорю.

— Не верю, — говорит. — Я слишком тебя знаю. Мы ведь вместе росли.

— Уж кому бы говорить насчет доверия. Ну что же, — говорю. — Под дождем мне стоять здесь нечего. Прощай, — говорю и вроде ухожу.

— Джейсон, — говорит. Я остановился.

— Что — Джейсон? — говорю. — Скорее только. Льет ведь.

— Ладно, — говорит. — Бери. — Вокруг никого. Я вернулся, беру деньги. А она еще не выпускает их. — Но ты сделаешь? — говорит, глядя на меня из-под вуали. — Обещаешь?

— Пусти деньги, — говорю, — пока никого нет. Хочешь, чтоб нас увидел кто-нибудь?

Разжала пальцы. Я спрятал в карман деньги.

— Но сделаешь, Джейсон? — говорит. — Я бы тебя не просила, если бы иначе как-нибудь могла устроить.

— Вот это ты права, что иначе никак не можешь, — говорю. — Обещал — значит, сделаю. Или, может, я не обещал? Но только чтобы все, как я тебе сейчас скажу.

— Хорошо, — говорит, — согласна. — Я сказал

ей, где ждать, а сам в городскую конюшню. Прибежал — они как раз выпрягают из кареты. Я к хозяину — заплачено, спрашиваю, уже за карету, он говорит — нет, тогда я говорю, что миссис Компсон забыла одно дело и ей опять нужна карета, — и мне дали. Править сел Минк. Я купил ему сигару, и мы до сумерек ездили по разным улочкам подальше от глаз. Потом Минк сказал, что лошадям пора в конюшню, но я пообещал еще сигару, подъехали мы переулком, и я прошел к дому задним двором. Постоял в передней, определил по голосам, что мать и дядя Мори наверху, и — на кухню. Там Дилси с ней и с Беном. Я взял ее у Дилси, сказал, что матушке потребовалось, — и обратно в дом с ней. Там с вешалки снял дяди Морин макинтош, завернул ее, взял на руки — и в переулок с ней, в карету. Велел Минку ехать на вокзал. Мимо конюшни он боялся, пришлось нам взять в объезд, а потом смотрю — стоит на углу под фонарем, и я говорю Минку, чтобы ехал вдоль тротуарной кромки, а когда скажу: «Гони», чтобы хлестнул лошадей. Я раскутал макинтош, поднес ее к окошку, и Кэдди как увидела, прямо рванулась навстречу.

— Наддай, Минк! — говорю, Минк их кнутом, и мы пронеслись мимо не хуже пожарной

бригады. — А теперь, как обещала, — кричу ей, — садись на поезд! — Вижу в заднее стекло — бежит следом. — Хлестни-ка еще разок, — говорю. — Нас дома ждут.

Заворачиваем за угол, а она все бежит.

Вечером пересчитал деньги, спрятал, и настроение стало нормальное. Это тебе наука будет, приговариваю про себя. Лишила человека должности и думала, что это тебе так сойдет. Мне же и в мысль не приходило, что она не сдержит обещания, не уедет тем поездом. Я тогда их еще мало знал, как дурачок им верил. А на следующее утро — пропади ты пропадом — является прямо в магазин, хорошо еще, вуаль опущена и ни с кем ни слова. День субботний, так что с утра Эрла не было, я сижу за столом в задней комнате, и она прямо ко мне быстрым шагом.

— Лгун, — говорит. — Лгун.

— Ты что, с ума сошла? — говорю. — Ты что это? Да как ты смеешь сюда со скандалом? — Осадил ее тут же, не дал и рта раскрыть. — Ты уже стоила мне одной должности, а теперь хочешь, чтоб и эту потерял? Если у тебя есть что сказать мне, то встретимся, когда стемнеет, где-нибудь. Только о чем у нас может идти разговор? — говорю. — Что я, не выполнил все до точки? Уговор был на одну

минутку, так или нет? Минуту ты и получила. — Стоит и только смотрит на меня, трясет ее как в лихорадке; руки стиснула, ломает себе пальцы. — Я-то, — говорю, — сделал все по уговору. Это ты солгала. Ты ведь обещала сразу же на поезд. Ну что? Не обещала, скажешь? Или денежки обратно захотелось? Дудки, — говорю. — Я на такой риск шел, что тысячу долларов если бы взял, и тогда бы ты мне еще должна осталась. Семнадцатый пройдет — если не сядешь на него и не уедешь, я скажу матери и дяде Мори, — говорю. — А тогда можешь крест поставить на своих свиданиях.

Стоит смотрит только и сжимает руки.

— Будь проклят, — говорит. — Будь проклят.

— Правильно, — говорю. — Давай, давай. Только учти мои слова. Не уедешь семнадцатым поездом — и я им все расскажу.

Ушла она, и у меня настроение опять стало нормальное. Теперь-то, говорю себе, ты дважды подумаешь, прежде чем лишать человека обещанной должности. В то время я ведь еще зеленый был. Верил на слово. С тех пор поумнел. Притом я как-нибудь уж без чужой поддержки в люди выйду, с детства привык стоять на собственных ногах. Но тут я вдруг вспомнил про Дилси и про дядю Мори. Дилси она улестит без

труда, а дядя Мори отца родного продаст за десять долларов. А я сижу как прикованный, не могу уйти из магазина, чтобы оградить родную мать от посягательств. Если уж суждено, говорит матушка, было мне лишиться сына, то хвала господу, что оставил мне тебя, а не его: в тебе моя опора верная. Да, говорю, дальше прилавка, видно, мне от вас действительно не уйти. Должен же кто-то поддерживать своим горбом то немногое, что у нас осталось.

Ну, как только я пришел домой, тут же взял Дилси в работу. У нее проказа, говорю, достал Библию и прочел, как человек гниет заживо.[53] Достаточно ей, говорю, на тебя взглянуть, или на Бена, или на Квентину, как проказа и вам передастся. Ну, думаю, теперь дело в шляпе. Но возвращаюсь я потом со службы — Бен мычит на весь дом. И никак его не успокоят. Матушка говорит, ступай принеси уж ему туфельку. Дилси как будто не слышит. Матушка повторно, а я говорю, сам пойду принесу, чтоб только прекратился этот треклятый шум. Я так скажу, человек я терпеливый, многого от них не ожидаю, но, проработав

[53] КОММЕНТАРИИ: 53

…достал Библию и прочел, как человек гниет заживо. — В библейской «Книге Чисел» прокаженный сравнивается с мертворожденным младенцем, «у которого… истлела уже половина тела».

целый день в дрянной лавке, заслуживаю, кажется, немного тишины, чтобы спокойно поесть свой ужин. Говорю, что я сам схожу, а Дилси быстренько так:

— Джейсон! Ну, я мигом смекнул, в чем тут дело, но, просто чтобы убедиться, пошел принес ему туфлю, и как я и думал: только он ее увидел — завопил, как будто его режут. Я за Дилси, заставил сознаться, потом сказал матери. Пришлось тут же вести ее наверх в постель, а когда тарарам поутих, я взял Дилси в оборот, нагнал на нее страху божьего. То есть насколько это с черномазыми возможно. В том-то и горе со слугами-нигерами, что если они у вас долгое время, то начинают так важничать, прямо хоть выкидывай на свалку. Воображают, что они в доме главные.

— Хотела бы я знать, — говорит, — кому какой вред от того, что она, бедняжка, со своим родным дитем свиделась. При мистере Джейсоне было б оно по-другому.

— Беда только, что он в гробу, — говорю. — Меня ты, я вижу, не ставишь ни в грош, но матушкин запрет для тебя, надеюсь, что-то значит. Вот погоди, доволнуешь ее до того, что тоже в гроб сведешь, а тогда уже хоть полон дом напусти подонков и всякого отребья. Но зачем ты еще

идиоту этому несчастному дала с ней увидеться?

— Холодный вы человек, Джейсон, если вы человек вообще, — говорит. — Пускай я черная, но, слава богу, сердцем я теплее вашего.

— Холодный или какой, а только интересно, чей вы все тут хлеб едите, — говорю — Но посмей хоть раз еще такое сделать, и больше тебе у меня его есть не придется.

Так что когда она в следующий раз явилась, я ей сказал, что если опять стакнется с Дилси, то матушка выгонит Дилси в шею, Бена отправит в Джексон, а сама с Квентиной уедет отсюда. Она смотрит так на меня. Мы стоим от фонаря поодаль, и лица мне ее почти не видно. Но я чувствую, как она смотрит. В детстве она, бывало, когда разозлится, а поделать ничего не может, то верхняя губа у нее так и запрыгает. Дерг, дерг, и зубы с каждым разом все видней, а сама стоит как столб, ни мускулом не дрогнет, и лишь губа скачет над оскалом все выше и выше. Однако промолчала. Говорит только:

— Ладно. Сколько платить?

— Ну, если один показ через каретное окошко стоит сотню… — говорю. Так что после этого она заметно посмирнела, раз только как-то захотела посмотреть книжку с банковским счетом.

— Я знаю, мать их получает, — говорит. — Но я хочу видеть банковский отчет. Хочу сама убедиться, куда эти чеки идут.

— Это личное дело матери, — говорю. — Если ты считаешь себя вправе вмешиваться в ее личные дела, то я так и скажу ей, что, по-твоему, деньги по этим чекам незаконно присваиваются и ты требуешь проверки счетов, поскольку не доверяешь ей.

Молчит, не шевельнется. Только слышно, как шепчет: «Будь ты проклят, о, будь проклят, о, будь проклят».

— Говори вслух, — говорю. — Это ведь для нас не секрет, что мы друг о друге думаем. Может, захотелось денежки назад? — говорю.

— Послушай, Джейсон, — говорит — Обещай мне, только без лганья. Относительно нее. Я не стану проверять счета. Если мало, больше буду каждый месяц слать. Обещай мне только, что она… что ей… Тебе же нетрудно это. Бывает, ей что нужно. Чтобы поласковее с ней. Всякие мелочи, которые я не могу ей, не дают мне… Но тебя же не упросишь. В тебе капли теплой крови нет и не было. Тогда вот что, — говорит. — Уговори ты маму, чтобы вернула мне ее, и я дам тебе тысячу долларов.

— Ну уж тысячи у тебя нет, — говорю. — Это ты врешь, я чувствую.

— Нет, есть. Будет. Я могу добыть.

— А я знаю, каким способом, — говорю. — Тем же самым, каким и дочку свою. А подрастет — и она… — Тут я решил, что она на меня сейчас бросится с кулаками, но потом непонятно стало, что она хочет делать. С минуту она была как игрушка, которую слишком туго завели и вот-вот ее разнесет на куски.

— Ох, я с ума сошла, — говорит, — я не в своем уме. Не могу я взять ее. Нельзя мне с ней. И думать об этом нельзя мне. Джейсон, — говорит и за руку мою хватается. А руки у нее горячие, как жар. — Ты должен обещать, что будешь заботиться о ней, что… Она ведь не чужая, она родная тебе. Обещай мне, Джейсон. Ты носишь отцовское имя; как по-твоему, пришлось бы мне папу просить об этом дважды? Или хотя бы раз?

— Что верно, то верно, — говорю. — Он меня не вовсе обделил, имя мне свое оставил. Ну и чего ты хочешь от меня? — говорю. — Чтобы я себе передник повязал и коляску катал? Я, что ли, втравил тебя в это, — говорю — Я и так многим рискую в этом деле, не то что ты. Тебе-то терять нечего. И если еще думаешь…

— Конечно, — говорит, и засмеялась вдруг, и в то же время старается сдержать смех. — Конечно. Мне терять нечего, — говорит, и хохочет, и руки ко рту поднесла. — Н-не-н-не-чего…

— Ну-ка, — говорю, — прекрати шум.

— Се-сейчас, — говорит, зажимая себе рот руками. — О господи. О господи.

— Я пошел, — говорю. — Не хватает еще, чтобы увидели меня с тобой. А ты уезжай сейчас же, слышишь?

— Подожди, — говорит и за руку схватила. — Я уже перестала. Не буду больше. Так обещаешь, Джейсон? — говорит и глазами прямо жжет мне лицо. — Обещаешь? Если у нее нужда в чем будет… Те чеки, что я маме… Если я тебе еще вдобавок к ним присылать стану, будешь ей сам покупать? Не скажешь матери? Будешь заботиться, чтобы у нее все, как у других девочек, было?

— Разумеется, — говорю. — Если ты будешь делать все, как я скажу, и не строить каверз.

Тут Эрл выходит из задней комнаты в шляпе своей и говорит мне:

— Я пошел в закусочную Роджерса, перехвачу чего-нибудь. Домой идти обедать у нас, пожалуй, времени сегодня не будет.

— Это почему же? — говорю.

— Да из-за артистов этих, — говорит. — Сегодня они и дневное представление дают, и народ, который понаехал, захочет до начала покончить со всеми покупками. Так что давай обойдемся сегодня закусочной

— Что ж, — говорю — Желаете себе отравлять желудок, в раба своей торговли обращаться — дело ваше личное

— Уж ты-то, я вижу, не собираешься быть рабом торговли, — говорит.

— Не собираюсь, кроме как под вывеской «Джейсон Компсон», — говорю.

Так что когда я пошел в заднюю комнату и вскрыл конверт, то удивило меня одно только — что там не чек, а почтовый перевод. Это уж так. Им верить нельзя ни одной. На такой риск идти приходится, родной матери лгать, чтобы не узнала, что она ездит сюда ежегодно, а то и по два раза в год. И после всего — вот тебе благодарность С нее станется и на почту написать, чтоб не выдавали никому, кроме Квентины Подростку-девчонке хлоп пятьдесят долларов Да я пятьдесят долларов в руках не держал до двадцати одного года Все парни с обеда гуляют, а в субботу — весь день, а я в магазине гни спину. Что я и говорю: как может кто-нибудь с ней справиться, если она ей

за спиной у нас шлет деньги. Дом, говорю, у нее тот же самый, в котором ты росла, и воспитание даем не хуже А о нуждах ее, я считаю, матери нашей лучше знать, чем тебе, бездомной. «Желаешь давать ей деньги, — говорю, — так матушке их посылай, а не ей в руки. Если уж я на такой риск иду чуть не ежеквартально, то делай как велят, иначе скажу матушке».

А кстати, время заняться тем чеком, потому что если Эрл думает, что я побегу к Роджерсу, чтоб на его счет наглотаться несварения желудка на несчастный четвертак, то он крепко ошибается. Пускай я не сижу, задрав ноги на стол красного дерева, но мне здесь платят за то, что я за прилавком делаю, а не обедаю где И если мне и за пределами этого сарая не дадут жить по культурному, то я могу найти другое место. Я на собственных ногах привык стоять, мне их не надо упирать ни в какие чужие столы красного дерева. Но только достану из пиджака, как приходится бросать все и бежать отпускать вахлакам гвоздей на десять центов и тому подобное, а Эрл уже сжевал, наверно, бутербродик и, того гляди, сейчас назад вернется И вдруг вижу: бланков нет, кончились. Тут-то я вспомнил, что собирался раздобыть еще, но поздновато хватился. В это время

на тебе — Квентина входит. Со двора. Хорошо, я услыхал, как она у Джоба спрашивала, где я. Еле успел сунуть все в стол и задвинуть ящик.

Подходит к столу. Я на часы глянул.

— Уже отобедала? — говорю. — Двенадцать всего, сейчас только било. Ты по воздуху, видно, слетала домой и обратно.

— Я не пойду домой обедать, — говорит. — Письма мне не было сегодня?

— А ты разве ждешь от кого? — говорю. — Среди твоих дружков завелись и грамотные даже?

— От мамы жду, — говорит — Есть мне письмо от мамы? — спрашивает и на меня смотрит.

— Тут есть, на матушкино имя, — говорю — Я не читал. Придется тебе обождать, пока она вскроет. Возможно, она даст тебе прочесть.

— Пожалуйста, Джейсон, — даже не слушает, опять свое. — Есть мне письмо?

— А что случилось? — говорю. — Прежде я не замечал, чтобы ты о ком-нибудь так беспокоилась. Не иначе, денег ждешь от нее.

— Она сказала, что… — говорит. — Ну пожалуйста, Джейсон. Ведь есть мне письмо?

— А ты, я вижу, действительно провела утро в школе, — говорю. — Научили тебя даже говорить «пожалуйста». Обожди минуту, пока я клиента

обслужу.

Вышел к нему, обслужил. Повернулся, чтоб идти обратно, а ее не видать, за стол зашла. Я бегом туда. На горячем поймал — она только руку из ящика дерг. Я хвать и руку эту пальцами об стол, об стол, пока не выпустила конверта.

— Так вот ты как, — говорю.

— Отдайте, — говорит. — Вы уже вскрыли. Дайте его мне. Пожалуйста, Джейсон. Оно мне ведь Я видела адрес.

— Я тебе дам сейчас, — говорю. — Вожжой. Как ты смеешь рыться в моих бумагах?

— Там же деньги должны быть, — говорит и тянется рукой. — Она говорила, что пришлет. Обещала мне. Отдайте.

— А для чего тебе деньги? — говорю.

— Она сказала, что пришлет, — говорит. — Отдайте. Ну пожалуйста, Джейсон Если теперь отдадите, то я никогда ничего больше не попрошу у вас.

— Дам, только без нахрапа, — говорю. Вынул письмо и перевод, отдаю ей письмо. А она на письмо даже не взглянула, за переводом тянется.

— Распишись тут сперва, — говорю.

— На сколько он? — спрашивает.

— А ты прочти, — говорю. — В письме, надо

думать, все сказано.

Пробежала вскользь, в два счета.

— Здесь об этом ничего, — говорит, поднявши глаза от письма. Уронила его на пол. — Сколько там?

— Десять долларов, — говорю

— Десять? — говорит, уставясь на меня.

— Да ты и этому должна быть жутко рада, — говорю. — Ты же еще малолетняя. Зачем тебе вдруг так понадобились деньги?

— Десять долларов? — бормочет, как во сне. — Всего-навсего десять?.. — И цап — чуть было не выхватила у меня перевод. — Врете вы, — говорит. — Вор, — говорит. — Вор!

— Ах, ты так? — говорю и рукой ее на расстоянии от себя держу.

— Отдайте! — говорит. — Он мой. Он мне послан. Все равно прочту, сколько там. Все равно.

— Неужели? — говорю и подальше ее от себя отодвигаю. — Это каким же способом?

— Дайте только взгляну, Джейсон. Ну пожалуйста. Больше я у вас никогда ничего не буду просить.

— По-твоему, выходит, я лгу? — говорю. — Вот в наказание за это и не дам.

— Но как же так, десять долларов только, —

говорит. — Она же сказала мне, что… сказала… Джейсон, ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Мне очень надо. Очень-очень. Отдайте мне, Джейсон. Я все сделаю, только отдайте.

— Скажи, зачем тебе деньги, — говорю.

— Они мне обязательно нужны, — говорит. Смотрит на меня. Потом раз — и перестала смотреть, хотя и не отвела глаз. Понятно, сейчас врать начнет. — Я в долг брала, — говорит. — И мне надо отдать. И обязательно сегодня.

— Брала — где? — говорю. Она пальцами этак задвигала. Прямо видно, как старается испечь ложь. — Опять в магазинах? — говорю. — И не трудись, не поверю. Если найдется в городе торговец, который продаст тебе в долг после того, как я их всех предупредил, то пускай это мой убыток будет.

— У девочки брала, — говорит, — у девочки. Заняла у нее деньги. И надо вернуть. Отдайте мне, Джейсон. Пожалуйста. Я все сделаю. Мне надо обязательно. Мама вам заплатит. Я напишу ей, чтобы заплатила и что больше я никогда у нее ничего не попрошу. Напишу и письмо вам покажу. Ну пожалуйста, Джейсон. Мне без них никак нельзя.

— Признайся, зачем тебе, а тогда посмот-

рим, — говорю. — Признавайся. — Стоит, платье теребит. — Ну, что ж, — говорю. — Если десять долларов тебя не устраивают, то я этот перевод доставлю домой матушке, и сама знаешь, что с ним тогда будет. Конечно, если ты такая богачка, что десять долларов для тебя не деньги…

Стоит, опустила глаза, бормочет словно про себя;

— Она сказала, что пришлет мне денег. Сказала, что все время сюда шлет деньги, а вы говорите, что нет. Сказала, что прислала уже очень много. На мое содержание. И что часть их я могу брать себе. А вы говорите, никаких денег нет.

— Ты сама не хуже меня знаешь, — говорю. — Сама видела, что матушка с этими чеками делает.

— Да, — говорит. — Десять долларов, — говорит. — Десять долларов.

— Благодари еще судьбу, что десять, — говорю. — Ну-ка, — говорю. Положил перевод оборотной стороной кверху и рукой придерживаю. — Распишись вот тут.

— Но дайте же взглянуть! — говорит. — Я просто взгляну. Все равно, на сколько б ни был, я возьму только десять долларов. А остальное берите. Я хочу только взглянуть.

— Нет уж, — говорю, — раз ты действовала нахрапом.

Придется тебе усвоить одну вещь, а именно — что если я тебе чего велю, то надо выполнять беспрекословно. Вот на этой черте распишись.

Взяла перо, но не расписывается, а стоит понурясь и перо в руке держит. В точности как мать ее.

— О господи, — говорит. — О господи.

— Вот так-то, — говорю. — Если ничего другого, то уж это ты наверняка усвоишь у меня. Расписывайся и ступай отсюда.

Расписалась.

— Где деньги? — говорит. Я взял перевод, промокнул, спрятал в карман. Потом дал ей десятку.

— После обеда чтоб обратно в школу, слышишь ты? — говорю. Молчит, Скомкала деньги в кулаке, как тряпку какую-нибудь, и вон из лавки. А тут как раз Эрл входит и ведет к прилавку покупателя. Я собрал свои бумаги, надел шляпу, вышел к ним.

— Ну как, народу густо было? — спрашивает Эрл.

— Не слишком, — говорю. Он выглянул на улицу.

— Это твоя машина там стоит? — говорит. — Не

ездил бы ты сегодня обедать домой. Перед самым представлением опять надо ждать наплыва. Поешь у Роджерса, а чек мне в стол положишь.

— Покорнейше благодарю, — говорю. — Уж как-нибудь сами прокормимся.

И вот так он и будет торчать, глаз не спускать с двери, пока я не войду в нее обратно. Что ж, придется ему подзапастись терпением — я разорваться не могу. Еще в прошлый раз говорю себе: заметь, последний бланк расходуешь; не откладывая, надо новых раздобыть. Но кто может что-нибудь упомнить в этом тарараме. А теперь, плюс ко всем домашним заботам, гоняй по городу, ищи в последний момент бланки чеков, а тут еще сегодня этот балаган проклятый в городе и Эрл зыркает, как ястреб.

Заехал в типографию и говорю хозяину, что хочу подшутить над одним парнем, но у него не нашлось ничего. Посоветовал заглянуть в бывший театр, там полно бумаг свалено и рухляди, что остались от прогоревшего Коммерческо-сельского банка. Я дал крюку переулками, чтоб не попасться Эрлу на глаза, разыскал старика Симмонса и взял у него ключ. Рылся там, рылся, нашел книжку чеков на какой-то банк в Сент-Луисе. И, уж конечно, именно сегодня ей взбредет

в голову поближе приглядеться к чеку. А, ладно, сойдут и эти. Больше времени терять я не могу.

Я вернулся в магазин. «Кой-что забыл тут из бумаг. Мать хочет сегодня в банк идти», — говорю. Сел к столу, заполнил чек. Все наспех делается. Хорошо хоть, у нее зрение стало сдавать, а тут еще эта потаскушка в доме — каково все это матушке. Действительно, можно сказать, христианка многотерпеливая. Говорю ей, сами знаете не хуже моего, кем она станет, когда вырастет, но, говорю, дело ваше, если желаете держать и воспитывать ее у себя в доме потому, что отец так хотел. Тут она в слезы: мол, родная плоть и кровь, а я на это: ладно. Пускай по-вашему. Вам терпится — и я могу терпеть.

Вложил письмо обратно, заклеил опять, выхожу.

— Постарайся не задерживаться, — говорит Эрл.

— Постараюсь, — говорю. Зашел на телеграф. А там все эти умники в полном сборе.

— Ну как, ребята, — говорю, — кого поздравить с миллионом?

— Как можно сделать что-нибудь при такой конъюнктуре? — говорит Док.

— А сколько теперь? — говорю Вошел, посмот-

рел. На три пункта ниже начального. — Да ну, ребята, — говорю, — неужели вы дадите этим маклеришкам — хлопковикам вас нагреть? Вам же ума не занимать.

— Ага, не занимать, — говорит Док. — В полдень на двенадцать пунктов было понижение. Как липку меня ободрали.

— На двенадцать пунктов? — говорю. — Какого же дьявола меня не известили? Почему вы мне не сообщили? — спрашиваю телеграфиста.

— Мое дело принять сводку, — говорит. — У меня не подпольная биржевая контора.

— Смотри ты, какой умник, — говорю. — Я тут плачу столько денег, а у него и сообщить мне нет, видите ли, времени. Или, может, ваша чертова компания в одной шайке с этими проклятыми нью-йоркскими акулами?

Молчит. Делает вид, будто занят.

— Много на себя берете, — говорю. — Избаловались вы легких хлебах, как бы вы их не лишились.

— А чего ты горячишься? — Док мне — у тебя и сейчас еще три пункта в запасе.

— Да, говорю. — Это если б я продавал. А я пока вроде не говорил, что продаю. Так, значит, вас, ребята, всех обчистили?

— Меня дважды, — говорит Док, — и отключился.

— Что же, — говорит Ай. О. Сноупс. — Так и положено. Не все ж мне их уделывать, надо, чтоб иногда и они меня.

Ушел я, а они остались продавать — покупать меж собой по пять центов за пункт. Я подозвал Нигера, послал за моей машиной, сам стою на углу, жду. Эрл там обязательно торчит в дверях, одним глазом на часы, а другим меня высматривает, и если я его не вижу, то лишь потому, что отсюда дверей не видно. Часов примерно через сто подъехал тот нигер в машине.

— Ты где околачивался? — говорю. — Перед черномазыми шлюхами ездил покрасоваться?

— Я никак быстрей не мог, — говорит. — Там все фургонами забито, пришлось в объезд площади.

Я еще не встречал такого черномазого, у которого бы не было припасено железной отговорки на все случаи жизни. Но ты только дай ему машину, обязательно форсить покатит перед бабами. Я сел, взял в объезд. На той стороне мельком Эрла в дверях заметил.

Дома я прошел прямо на кухню и велел Дилси поскорей накрывать на стол.

— Квентины еще нету, — отвечает.

— Ну и что? — говорю. — Скоро ты мне еще скажешь, что Ластера придется подождать. Квентине известно, в котором часу здесь обед. Поторапливайся.

Матушка была у себя в комнате. Я дал ей то письмо. Распечатала, вынула чек и сидит, держит его в руке. Я пошел, взял в углу совок, подаю ей спичку.

— Давайте, — говорю, — кончайте. А то сейчас плакать начнете.

Взяла спичку, но не зажигает. Сидит, смотрит на чек. Так я и знал.

— Я с великой неохотой это делаю, — говорит. — Добавлять к твоему бремени еще и содержание Квентины…

— Как-нибудь проживем, — говорю. — Ну давайте же. Кончайте.

Сидит, как сидела, и держит чек в руке.

— Этот чек на другой банк, — говорит. — Прежние были на индианаполисский.

— Да, — говорю. — Женщинам это тоже разрешается.

— Что разрешается? — спрашивает.

— Держать деньги в двух разных банках.

— А, — говорит. Еще поглядела на чек. — Я рада, что она так… что у нее столько… Господь

не допустит, чтобы я поступала неправильно, — говорит.

— Давайте же, — говорю. — Кончайте забаву.

— Забаву? — говорит. — Каково мне думать…

— А я думал, вы для забавы каждый месяц жжете двести долларов, — говорю. — Ну, давайте же. Хотите, я вам зажгу спичку.

— Я бы сумела переломить себя и принимать их, — говорит. — Ради детей моих. Я лишена гордыни.

— Вы же навсегда бы покой потеряли, — говорю. — Сами знаете. Один раз решили, так и оставайтесь при своем решении. Проживем как-нибудь.

— Воля твоя, — говорит. — Но временами я начинаю опасаться, что, поступая так, лишаю вас средств, принадлежащих вам по праву. Возможно, я буду за это покарана. Если ты желаешь, я подавлю в себе гордость и стану принимать их.

— Какой смысл начинать сейчас, после того как вы пятнадцать лет их жгли? — говорю. — Если вы и дальше будете уничтожать их, то вы не потеряли ничего. Но если начнете принимать эти чеки, то вы потеряли пятьдесят тысяч долларов. До сих пор мы вроде жили как-то, — говорю. — Вы пока еще не в богадельне.

— Да-да, — говорит. — Мы, Бэскомы, не принимаем ничьей милостыни. А от падшей женщины — и подавно.

Чиркнула спичкой, зажгла чек, бросила в совок, следом бросила конверт и смотрит, как горит.

— Тебе не понять этого, — говорит. — И слава богу, тебе не дано испытать материнских терзаний.

— На свете есть сколько угодно женщин таких же, как она, — говорю.

— Но они не дочери мои, — говорит. — Я не ради себя, — говорит. — Я бы с радостью приняла ее в дом, со всеми ее грехами, ибо она моя плоть и кровь. Я ради Квентины.

Ну, тут я мог бы ответить, что уж Квентину этим черта с два вгонишь в краску, но как я всегда говорю: многого я не хочу, но хочу хоть спокойно есть и спать, без бабьих ссор и плача в доме.

— И ради тебя, — говорит. — Я ведь знаю, как она оскорбляет твои чувства.

— По мне, пусть возвращается хоть завтра, — говорю.

— Нет уж, — говорит. — Это мой долг перед памятью покойного отца твоего.

— Да ведь он вас уговаривал все время, он хотел, чтобы она домой вернулась, когда Герберт ее

выгнал, — говорю.

— Тебе не понять, — говорит. — Я знаю, ты вовсе не хочешь усугубить мои огорчения. Но кому и страдать за детей, как не матери, — говорит. — И я приемлю свой тяжелый крест.

— Думается, вы еще и сами от себя центнер-другой тяжести накидываете, — говорю. Бумага догорела. Я отнес совок к камину, сунул за решетку. — Жалко все же полноценные деньги зря жечь, — говорю.

— Да не доживу я до дня, когда дети мои примут эту мзду греха, — говорит. — Да увижу я прежде тебя неживого в гробу.

— Будь по-вашему, — говорю. — Так скоро мы сядем обедать? — говорю. — Мне обратно надо ехать. Сегодня у нас денек жаркий. — Встала с постели. — Я уже сказал ей раз, — говорю. — Но она ждет, что ли, Квентину, или Ластера, или еще кого. Погодите, я сам позову.

Но она подошла уже к перилам, зовет Дилси.

— Квентины еще нету, — откликается Дилси.

— Что ж, мне пора, — говорю. — Куплю себе в городе бутерброд. Не стану вмешиваться в Дилсины распорядки, — говорю. Ну, матушке скажи только. Тут уж Дилси заковыляла взад-вперед, ворчит:

— Ладно уж, ладно, сейчас подаю.

— Я всем вам угодить стараюсь, — говорит мамаша. — Стараюсь вас как можно меньше обременять собой.

— Я как будто не жалуюсь, — говорю. — Сказал я хоть слово, кроме что мне пора?

— Знаю я, — говорит, — знаю, что у тебя не было тех возможностей, какие даны были им, что тебе приходится прозябать в захолустной лавчонке. А я так мечтала о твоем преуспеянии. Я знала, отцу твоему не понять, что ты единственный из них всех, обладающий здравым практическим умом. И когда все остальное рухнуло, я надеялась, что хоть она, выйдя замуж за Герберта… он обещал ведь…

— Ну, он и солгать мог вполне, — говорю. — Возможно, у него и банка никакого не было. А и был, так не думаю, чтобы ему понадобилось везти работника через всю страну из Миссисипи.

Сидим обедаем. Из кухни Бен голос подает, его там Ластер кормит. Что я и говорю, если уж у нас прибавился едок, а деньги за нее принимать не хотите, то почему бы не отправить Бена в Джексон. Ему там веселее будет среди таких, как он. Где уж нам, говорю, в нашей семье заводить речь о гордости, но какая же это гордость, если

неприятно видеть, как тридцатилетний остолоп по двору мотается на пару с негритенком, бегает вдоль забора и мычит коровой, стоит им только начать партию в гольф. Если бы, говорю, с самого начала поместили его в Джексон, мы все бы теперь были в выигрыше. Вы, говорю, и так свой долг перед ним выполнили, совершили все, что можно от вас ожидать, редкая мать на такое способна, — так почему бы не поместить его туда и хоть эту выгоду иметь от налогов, что мы платим. А она мне: «Скоро уж я уйду от вас. Я знаю, что я только в тягость тебе», на что я ей: «Я столько раз уже слыхал это ваше насчет тягости, что, того и гляди, вы меня в этом убедите». Только, говорю, когда уйдете, то так, чтоб я не знал, а то я его как миленького в тот же вечер отправлю семнадцатым поездом. Притом, говорю, я, кажется, знаю местечко, куда и ее можно определить, и помещается оно никак не на Молочной улице и не на Медвяном проспекте. Тут она в слезы, а я: «Ладно вам, ладно. Я за свою родню не хуже всякого другого — пусть даже я не про всех родственников знаю, откуда они взялись».

Обедаем дальше. Мать опять посылает Дилси на парадное крыльцо: не идет ли Квентина.

— Сколько вам твердить, что она не придет

нынче обедать, — говорю.

— Как так не придет? — мамаша свое. — Она ведь знает, что я не разрешаю ей бегать по улицам и что надо удивляться к обеду домой. Ты хорошенько там глядела, Дилси?

— Надо — так заставьте, — говорю.

— Что же я могу, — говорит. — Вы все воспитаны в неуважении ко мне. Всегда не слушались.

— Если бы вы не вмешивались, я б ее живо заставил слушаться, — говорю. — В течение одного дня бы приструнил.

— Ты слишком был бы груб с ней, — говорит. — У тебя тот же горячий нрав, что у твоего дяди Мори.

При этих словах я вспомнил про письмо. Достал его, даю ей.

— Можете и не вскрывать, — говорю. — Банк известит вас, сколько он в этот раз возьмет.

— Оно адресовано тебе, — говорит.

— Ничего, читайте, — говорю. Вскрыла, прочла и протянула мне. Читаю:

Дорогой племянничек!

Тебе приятно будет узнать, что я располагаю в настоящее время возможностью, относительно которой — по причинам, весомость которых уяснится из последующего, — я не стану вдаваться

в подробности, пока не представится случай снестись с тобой по этому вопросу более надежным образом. Деловой опыт научил меня избегать сообщения сведений конфиденциальных всяким иным более конкретным способом, нежели изустный; сугубые предосторожности, к каким я прибегаю, дадут тебе намек на ценность упомянутой возможности. Излишне присовокуплять, что мною уже завершено самое исчерпывающее рассмотрение всех ее фаз и аспектов, и не побоюсь сказать, что предо мною — тот золотой шанс, какой представляется нам в жизни лишь однажды, и что я ныне ясно различаю цель, к которой стремился долго и неутомимо, — то есть ту окончательную консолидацию моих дел и финансов, каковая позволит роду, коего я имею честь быть последним представителем мужеского пола, вновь занять подобающее общественное положение; к роду же этому я всегда сопричислял не только твою уважаемую матушку, но равно и детей ее.

Нынешние, однако, мои обстоятельства не позволяют мне в надлежащей и наиполнейшей мере воспользоваться представившейся мне возможностью, и, не желая выходить за пределы семейного круга, я прибегаю к заимствованию с

банковского счета твоей матушки незначительной суммы, необходимой для восполнения моего начального взноса, и в этой связи прилагаю, в порядке чистой формальности, свой вексель из расчета восьми процентов годовых. Нужно ли говорить, что формальность эта соблюдена мною единственно затем, чтобы обеспечить твою матушку на тот прискорбнейший исход и случай, игралищем которого являемся все мы. Ибо я, разумеется, употреблю эту сумму, как если бы она была моя собственная, и тем позволю и матушке твоей вкусить от выгод упомянутой возможности, которую мое исчерпывающее изучение явило мне как чистейшей воды и ярчайшей игры бриллиант и лакомый кусочек, — да простится мне этот вульгаризм.

Все вышеизложенное прошу рассматривать как доверительную информацию, направленную одним деловым человеком другому. Огласка — враг успеха, не так ли? А зная хрупкое здоровье твоей матушки и эту робость, натурально свойственную таким, как она, деликатно воспитанным дамам-южанкам в отношении материй деловых, равно как их очаровательную склонность нечаянным образом разглашать таковые в ходе своих разговоров, я, пожалуй, просил бы тебя

и не сообщать ей совсем. По зрелом же раздумий, я даже настоятельно советую тебе воздержаться от такого сообщения. Не лучше ли, если по прошествии времени я попросту возвращу эту сумму на ее банковский счет купно, скажем, с другими небольшими, мною ранее заимствованными, суммами, а она ничего о том и знать не будет. Ведь ограждать ее по мере сил от грубого материального мира — не что иное, как долг наш.

Твой любящий дядя

Мори Л. Бэском.

— Ну и как, дадите? — спрашиваю и щелчком переправляю письмо ей обратно через стол.

— Я знаю, тебе жаль их, — говорит.

— Деньги ваши, — говорю. — Захотите птичкам их бросать — тоже никто вам запретить не сможет.

— Он ведь родной брат мне, — говорит мамаша. — Последний из Бэскомов. С нами и род наш угаснет.

— То-то потеря будет, — говорю. — Ну, ладно вам, ладно, — говорю. — Деньги ваши, как вам угодно, так и тратьте. Значит, оформить в банке, чтоб перевели?

— Я знаю, что тебе их жаль, — говорит. — Я понимаю, какое на плечах твоих бремя. Вот не

станет меня, и наступит тебе облегчение.

— Я бы мог прямо сейчас сделать себе облегчение, — говорю. — Ну ладно, ладно. Молчу — хоть весь сумасшедший дом здесь поселите.

— Бенджамин ведь родной твой брат, — говорит. — Пусть даже и прискорбный главою.

— Я захвачу вашу банковскую книжку, — говорю. — Сегодня внесу на счет свое жалованье.

— Шесть дней заставил тебя ждать, — говорит. — Ты уверен, что дела его в порядке? Как-то странно, чтобы платежеспособное предприятие не могло своевременно производить выплату жалованья.

— Да все у него в ажуре, — говорю. — Надежней, чем в банке. Я ему сам твержу, что не к спеху, могу обождать, пока соберем месячную задолженность. Потому иногда и бывает задержка.

— Я просто не перенесла бы, если бы ты потерял то немногое, что я могла внести за тебя, — говорит. — Я часто думаю, что Эрл неважный бизнесмен. Я знаю, он не посвящает тебя в состояние дел в той мере, какая соответствует доле твоего участия. Вот я поговорю с ним.

— Нет-нет, — говорю, — не надо его трогать. Он хозяин дела.

— Но ведь там и твоих тысяча долларов.

— Оставьте его в покое, — говорю. — Я сам за всем слежу. Вы же дали мне доверенность. Все будет в полном ажуре.

— Ты и не знаешь, какое ты мне утешение, — говорит. — Ты и прежде был моею гордостью и радостью, но когда ты сам пожелал вносить ежемесячно жалованье на мое имя и не стал даже слушать моих возражений — вот тогда я возблагодарила господа, что он оставил мне тебя, если уж отнял всех их.

— А чем они плохи были? — говорю. — Исполнили свой долг блестяще.

— Когда ты говоришь так, я чувствую, что ты не добром поминаешь отца, — говорит. — И думается, ты имеешь на то право. Но слова твои терзают мне сердце.

Я встал из-за стола.

— Если вам захотелось поплакать, — говорю, — то вы уж без меня как-нибудь, а мне надо ехать. Пойду вашу банковскую книжку возьму.

— Я принесу сейчас, — говорит.

— Сидите на месте, — говорю. — Я сам. — Поднялся наверх, взял у нее из стола банковскую книжку и поехал в город. В банке внес тот чек и перевод плюс еще десятку, потом на телеграф заехал. Поднялись на пункт выше начального.

Итого, потеряно тринадцать пунктов, а все потому, что она ко мне вперлась в двенадцать часов, пристала с ножом к горлу — подавай ей письмо.

— Когда эта сводка получена? — спрашиваю.

— С час назад, — говорит.

— Целый час? — говорю. — Да за что же мы вам деньги платим? — говорю. — За недельные сводки, наверно? Там вся биржа полетит вверх тормашками, а мы тут ни черта и знать не будем. Как можно действовать в таких условиях?

— А я от вас и не требую никаких действий, — говорит. — Тот закон, по которому все граждане обязаны играть на хлопковой бирже, уже отменен.

— Неужели? — говорю. — Не слыхал, представьте. Наверно, и об этом тоже сообщено было через ваш «Вестерн Юнион»[54].

Поехал обратно в магазин. Тринадцать пунктов. Ни шиша в этой чертовой механике никто не смыслит, кроме штукарей, что сидят развалясь в своих нью-йоркских конторах и только смотрят, как провинциальные сосунки подносят на тарелочке им деньги и умоляют принять. Да, но тот, кто не рискует повышать ставку, лишь пока-

---

[54] КОММЕНТАРИИ: 54

«Вестерн Юнион» — американская телеграфная компания.

зывает, что у него нет веры в себя. И, по-моему, так: не хочешь поступать по совету, так на кой ты тогда платишь за совет. Притом они ведь там сидят на месте и в курсе дела полностью. Вот она, телеграмма, в кармане. Доказать бы только, что у них сговор с телеграфной компанией с целью надувательства клиентов. Это вещь подсудная. И мне недолго. Черт их дери, однако, неужели крупная такая и богатая компания, как «Вестерн Юнион», не может вовремя передавать сводки? Вот если телеграмму «Ваш счет закрыт» — это они тебе мигом передадут. Крепко эти сволочи о народе беспокоятся. Они же одна шайка с той нью-йоркской сворой. Это и слепому ясно.

Вошел я — Эрл покосился на свои часы. Но ни слова, пока не ушел покупатель. А тогда говорит:

— Домой, значит, ездил обедать?

— К зубному пришлось заехать, — говорю, потому что хотя не его чертово дело, где я обедаю, но после обеда он тут же обязан вернуться опять за прилавок. И так с утра на части разрываюсь, а теперь еще от него выслушивай. Что я и говорю: возьмите вы такого мелкоплавающего лавочника захолустного — человечку цена пятьсот долларов со всеми потрохами, а хлопочет, шуму подымает на пятьдесят тысяч.

— Ты мог бы меня предупредить, — говорит. — Он ждал, что ты сразу же вернешься.

— Хотите, уступлю вам этот зуб и еще приплачу десять долларов? — говорю. — У нас по уговору часовой ушел на обед, — говорю, — а если мой образ действий вам не нравится, то вы прекрасно знаете, что делать. — Знаю, и давненько, — говорит. — И если не делаю, то из уважения к твоей матушке. Я ей крепко сочувствую, Джейсон. Если бы кой-кто из моих знакомых так ее уважал и сочувствовал ей.

— Ну и держите при себе свое сочувствие, — говорю. — Когда оно нам потребуется, я вам заблаговременно сообщу.

— Я ведь все молчу про это дельце, покрываю тебя, Джейсон, — говорит.

— Да? — подзуживаю его. Прежде чем осадить, дай послушаю, что скажет.

— Думается, я больше твоей матушки в курсе, откуда у тебя автомобиль.

— Вот как? — говорю. — Ну и когда же вы собираетесь объявить эту новость, что я его купил на уворованные у родной матери деньги?

— Я ничего не говорю. Я знаю, — говорит, — она тебе дала доверенность на ведение дел. Но знаю также, что она все еще думает, будто та тысяча

долларов до сих пор в деле.

— Что ж, — говорю. — Раз вы уже столько знаете, то сообщу вам еще одну мелочь: сходите-ка в банк и спросите, на чей счет я каждый месяц первого числа вот уже двенадцать лет вношу сто шестьдесят долларов.

— Я ничего не говорю, — говорит. — Только прошу, чтобы ты впредь не опаздывал.

Я не стал и отвечать. Бесполезно. Давно понял, что если человек вбил себе что в голову, то разубеждать его — пустое дело. А если к тому же втемяшил себе, что он обязан осведомить кого-то насчет вас для вашего же блага, то и вовсе ставь крест. У меня тоже есть совесть, но, слава богу, мне с ней не надо вечно няньчиться, как с хилым щеночком. Уж я бы не щепетильничал, как он, чтоб ненароком не получить от своей лавчонки больше, чем восемь процентов прибыли. Ясное дело, боится, как бы не привлекли по закону о лихоимстве, если больше восьми процентов выжмет. Какой тут, к черту, шанс может быть у человека в таком городке и при таком хозяине. Да посади он меня на свое место, я бы за год обеспечил его на всю жизнь, только он все равно отдал бы на церковь или еще куда. Кого я не переношу, так это сволочных лицемеров. Которые если сами

чего недопонимают до конца, то сразу кричат про мошенничество и морально обязаны тут же доложить кому не следует, хоть это совсем не их собачье дело. Что я и говорю: если б я, чуть только чего недопойму в поступках человека, сразу же записывал его в мошенники, то я бы мог без труда откопать что-нибудь в бухгалтерских книгах, и тогда б вы вряд ли захотели, чтобы я счел себя обязанным побежать с докладом к третьим лицам, которые и так в курсе дела побольше меня, а не в курсе, так все равно нечего мне соваться. А он мне на это:

— Мои книги открыты для всех. Всякий, кто имеет — или имел и считает, что и посейчас имеет, — пай в моем деле, может проверить по книгам, пожалуйста.

— Вот, вот, — говорю. — Сами вы, конечно, ей не скажете. Вам совесть не позволит. Вы только раскроете перед ней книги, чтоб она сама дозналась. А вы — вы ничего не скажете.

— Я вовсе не желаю вмешиваться в твои дела, — говорит. — Я знаю, тебе не дали тех возможностей, какими пользовался Квентин. Но ведь и у матери твоей жизнь сложилась несчастливо, и если вдруг она придет сюда ко мне и спросит, что понудило тебя выйти из дела, то мне при-

дется рассказать ей. И не из-за той тысчонки, ты сам знаешь. Но — что на деле, то и в отчетности должно быть, иначе далеко не уедешь. И лгать я никому не стану, ради себя ли самого или чтобы другого покрывать.

— Ну что ж, — говорю. — Видно, эта ваша совесть ценнее меня как приказчик, поскольку она не отлучается домой обедать. Но поститься я пока не собираюсь, — говорю, потому что разве можно что-нибудь обделать более-менее гладко, когда у тебя на шее эта чертова семейка, а мамаша и ее и всех их распустила окончательно, только знает, как в тот раз: увидела, что один из тех целует Кэдди, и назавтра весь день проходила в черных платье и вуали, и даже отец от нее не мог добиться ничего, кроме плача и причитаний, что ее доченька умерла: а Кэдди всего пятнадцать лет было, и если тогда уже траур, то что же через три года — власяницу или из наждачной бумаги чего-нибудь? По-вашему, говорю, я могу допустить, чтоб она бегала по улицам с каждым заезжим коммивояжером и чтоб они потом своим приятелям на всех дорогах сообщали, что когда заедешь в Джефферсон, то есть там одна на все готовая. Хоть я человек и не гордый, не до гордости тут, когда приходится кормить полную кухню нигеров и

лишать джексонский сумасшедший дом главной его звезды и украшения. Голубая, говорю, кровь, губернаторы и генералы. Это еще жутко повезло, что у нас в роду не было королей и президентов, а то мы бы все теперь в Джексоне за мотылечками гонялись. Было бы, говорю, достаточно скверно, если б я ее с кем прижил, но хоть знал бы, что она просто незаконная, а теперь сам господь бог вряд ли точно знает, кто она такая.

Немного погодя слышу: оркестр заиграл, и покупателей как ветром сдуло. Все поголовно — туда, в балаган. Торгуются из-за двадцатицентового ремешка, чтоб зажать пятнадцать центов и отдать их потом банде приезжих янки, которые за весь грабеж уплатят городу каких-то десять долларов. Я вышел на задний двор.

— Ну, — говорю, — при таких темпах ты смотри, как бы этот болт не врос тебе в руку. А тогда придется мне его вырубать оттуда топором. Пока ты с культиваторами возишься, сев пройдет, чем тогда прикажешь долгоносику питаться — шалфеем?

— А здорово ихние трубы гремят, — мне старикашка Джоб в ответ. — Говорят, там у них есть один, играет на пиле. Прямо как на банджо.

— Это ладно, — говорю. — А вот известно ли

тебе, сколько эти ловкачи потратят денег у нас в городе? Десять долларов, — говорю. — Те самые десять долларов, что сейчас уже у Бака Тэрпина в кармане.

— А за что мистер Бак взял с них десять долларов? — спрашивает.

— За право давать здесь свои представления, — говорю. — А что они протратят сверх этой десятки, то поместится у тебя в ухе.

— То есть они нам представляют и они же еще платят десять долларов?

— Всего-навсего, — говорю. — А сколько, потвоему, они…

— Надо же такое, — говорит. — Значит, с них еще и деньги дерут, а иначе представлять не дадут? Да я бы им за то одно дал десять долларов, чтоб поглядеть, как он там на пиле играет. Так что завтра утром я им еще останусь должен девять долларов и семьдесят пять центов.

И после этого какой-нибудь паршивый северянин будет вам морочить голову, что неграм надо вперед продвигаться. Ладно, я скажу, давай двигай их вперед. Двигай отсюда с ними, чтоб и духу их южнее Луисвилла не осталось. Я ему толкую, что за сегодня и за субботу они облапошат наш округ минимум на тысячу долларов и поминай

как звали, а он мне отвечает:

— И на здоровье. Мне моего четвертака для них не жалко.

— Кой там черт четвертак, — говорю. — Как будто на этом конец. Ты приплюсуй-ка сюда десять-пятнадцать центов, что ты им выложишь за несчастную двухцентовую пачечку конфет. И еще приплюсуй время, что ты сейчас ухлопываешь, слушая этот оркестр.

— Спорить не стану, — говорит. — Однако если доживу до вечера, то они отсюда увезут еще и мои четверть доллара, это как пить дать.

— Ну, и дурак дураком будешь, — говорю.

— Что ж, — говорит, — и против этого спорить не стану. Только если б дураков в тюрьму сажали, то не все бы арестанты были негры.

В это примерно время гляжу — она переулком идет. А его не успел сразу и рассмотреть, потому что я скорей за дверь и часы из кармашка. Ровно половина третьего, и еще сорок пять минут до конца школы, где все, кроме меня, считают, что она сейчас сидит и занимается. Выглянул из-за двери, и сразу же мне бросилось в глаза, что на нем галстук красной расцветки, и я тут же подумал — что это еще за пижон в таком галстуке. Но она спешит мимо прошнырнуть и смотрит

на дверь, и я о другом пока что думаю. Неужели, думаю, у нее в такой мере нет ко мне уважения, чтоб не только в пику мне прогуливать уроки, но еще и мимо магазина сметь пройти у меня на глазах. Ей-то меня не видно, потому что солнце светит прямо в дверь и в тени сбоку ничего не разглядеть — все равно как сбоку от автомобильной фары, а я стою и смотрю, как она идет — рожа у нее раскрашенная, точно у клоуна, волосы перекручены и слеплены все вместе, а платьице — если бы, когда я парнем был, какая-нибудь даже шлюха мемфисская вышла на улицу из своего борделя светить ногами и задницей в таком платье, то моментально бы угодила за решетку. Будь я проклят, если они не нарочно для того так одеваются, чтоб каждому прохожему хотелось рукой пощупать. Стою, значит, и думаю, какому это пижону взбрело нацепить красный галстук, и вдруг дошло, — как будто она мне сама сказала, — что это из тех артистов. Ну, я многое способен вытерпеть; иначе не знаю, что б я делал. Завернули они за угол, я раз — и за ними. Мне — без шляпы, среди бела дня — бегать за ней переулками, чтобы матушкино доброе имя не дать замарать. Что я и говорю, раз это у нее в крови, то ничего с ней не поделаете. Горбатого могила

исправит, а шлюху тем более. Единственное, что можно, — это выставить ее за дверь, пусть отправляется к себе подобным.

Выскочил на улицу из переулка, но их и след простыл. А я посреди тротуара стою без шляпы, как будто я тоже рехнулся. Натурально, так все и подумают: один ненормальный у них, другой утопился, а третью муж из дома выгнал, стало быть, и остальные психи. Как коршунье следят все время, так и чувствую, ждут только повода, чтобы сказать: «Ну, я-то не удивляюсь, я всегда этого ожидал, у них вся семья сумасшедшая». Продали землю, чтоб послать его в Гарвардский, а сами всю жизнь налоги платим властям штата на местный университет, который я только и видел, что два раза на бейсболе их команду. Запретила имя дочери родной упоминать у себя в доме, а отец скоро вообще перестал в городе бывать в конторе, только целый день сидел с графином, и ночью видишь подол сорочки и ноги босые и слышишь, как дребезжит графином об стакан, так что под конец уже не мог и налить себе сам без Ти-Пи, а она мне говорит: «Ты не хранишь, не уважаешь памяти отца», а я ей на это: «Не знаю, как ее еще хранить. Она как будто проспиртована неплохо»; только если я тоже такой, то

пес его знает, в чем мне свою ненормальность проявить: к реке мне даже подходить противно, а чем рюмку виски, так я скорей бензину выпью, и Лорейн им в ответ: «Пускай он у меня непьющий, но если вы хотите убедиться, что он мужчина, то я научу вас как. Если я, — говорит, — застукаю тебя с какой-нибудь из этих стерв, ты знаешь, что я сделаю. Исхлещу ее, за волосы поганку, места живого на ней не оставлю». А я ей говорю: «Что не пью, так это мое дело, но тебе я вроде не жалею. Да я тебе столько пива куплю, хоть ванны принимай, потому что честную и приличную прости — господи я крепко уважаю»… чтобы при здоровье матушкином и при моих стараниях поддержать нашу репутацию, чтоб она так не уважала моих забот о ней, с грязью смешивала и свое, и мое, и матушкино имя всему городу на посмеяние.

Улизнули куда-то. Заметила, что я сзади, и шмыгнула в другой переулок, шныряет закоулками с паршивым пижоном в красном галстуке, при одном взгляде на который каждый подумает — ну и шантрапа. А мальчик все не отстает, и я взял у него телеграмму совершенно без соображения. Очнулся, только когда стал за нее расписываться. Развернул ее, и как-то даже все

равно мне, что там. Так я, собственно, и знал все время. Только этого еще и можно было ожидать. Притом додержали, пока не внес чек в книжку.

Не пойму я, как в пределах всего-навсего Нью-Йорка может уместиться весь тот сброд, что занят выкачкой денег из нашего брата сосунка провинциального. Как проклятый трудись день-деньской, шли им деньги, а в итоге получай клочок бумажки — Ваш счет закрыт при курсе 20.62". Мажут тебя, дурачка, по губам, считаешь центы липового своего барыша, а потом — хлоп! «Ваш счет закрыт при курсе 20.62». И при этом ты еще за советы, как побыстрей лишиться своих денег, десять долларов ежемесячно платишь сволочам, которые либо не смыслят ни шиша, либо же стакнулись с телеграфной компанией. Ладно, с меня хватит. Это последний раз я им дался. Да любой дурак, не замороченный евреями, смекнул бы, что дело пахнет повышением, когда тут всю дельту, того и гляди, затопит, как в прошлом году, и смоет весь хлопок к чертям. Тут год за годом паводок губит фермам посевы, а правительство там в Вашингтоне знай всаживает по пятьдесят тысяч долларов в день на содержание армии

где-нибудь в Никарагуа.[55] Опять, конечно, будет наводнение, и цена хлопку подскочит до тридцати центов за фунт. Мне ведь только б разок их поддеть и вернуть свои деньги. Мне не надо многотысячных кушей, они только мелкоте провинциальной снятся. Мне единственно вернуть деньги, что у меня эти евреи выжулили своей гарантированной конфиденциальной информацией. А потом баста, пусть поцелуют меня в пятку, чтоб я им выдал еще хоть медный цент.

Вернулся в магазин. Почти половина четвертого. Попробуй сделай что-нибудь в оставшееся время до закрытия биржи, но мне не привыкать, хотя мы в Гарвардском не учены. И оркестр отдудел уже. Пентюхи уже внутри все, чего ж им зря энергию расходовать. Эрл спрашивает:

— Ну как, вручили тебе телеграмму? Он забегал сюда не так давно. Я думал, ты где-то во дворе.

— Да, — отвечаю, — вручили. Не удалось им оттянуть до вечера — слишком маленький наш городок… Мне тут нужно домой на минутку, — говорю. — Можете сделать вычет из моего жалованья, если вам от этого легче будет.

---

[55] КОММЕНТАРИИ: 55

…на содержание армии… в Никарагуа. — Американские морские похотинцы находились в Никарагуа с 1912 по 1925 г., а затем с 1926 по 1933 г.

— Валяй, — говорит. — Теперь и сам управлюсь. В телеграмме, надеюсь, никаких худых вестей?

— Это вам придется сходить на телеграф и выяснить, — говорю. — У них есть время для разговоров. А у меня нет.

— Я просто спросил, — говорит. — Твоя матушка знает, что всегда может рассчитывать на меня.

— Она вам весьма за то признательна, — говорю. — Постараюсь не задерживаться.

— Можешь не спешить, — говорит. — Теперь я и сам управлюсь. Валяй себе спокойно.

Я сел в машину, поехал домой. Утром раз, в обед вторично, теперь снова, плюс грызня и беготня за ней по всему городу, а дома еле выпросил обед, на мои деньги купленный и сваренный. Иногда так подумаю — к чему биться как рыба об лед. Действительно, я тоже ненормальный, как прочие наши, если не бросил давно все к дьяволу. А теперь приеду домой как раз вовремя, чтоб совершить еще чудесную автомобильную прогулку к черту на рога за корзиной каких-нибудь помидоров и вернуться после в город провонявшим насквозь камфарой, иначе голова тут же в машине расколется. Твердишь ей, что в этом аспирине одна только мука, на водичке замешанная, для мнимых больных. Вы, говорю, еще

не знаете, что такое настоящая головная боль. По-вашему, говорю, я бы сидел за рулем в этой проклятой машине, если б от меня зависело? Я и без нее бы прожил, я привык без всего обходиться, но если вы желаете рисковать своей жизнью в этом ветхом шарабане с сопляком Нигером за кучера, то дело ваше, говорю, притом о таких, как Бен, господь заботится, поскольку хоть что-то он ему обязан уделить, но если думаете, что я доверю тонкий механизм ценой в тысячу долларов черномазому подростку или даже взрослому, то вы лучше сами купите им машину, потому что кататься, говорю, вы любите, чего тут скрывать.

Дилси сказала, что матушка в доме. Я вошел в холл, прислушался — нигде ее не слышно. Поднялся наверх, но только хотел пройти мимо ее двери, как она окликнула меня.

— Я всего лишь хотела узнать, кто идет, — говорит. — Я все ведь одна да одна и каждый шорох слышу.

— А кто вам велит, — говорю. — Если бы хотели, могли бы весь день по гостям, как другие.

Подошла к двери.

— Не заболел ли ты, — говорит. — Тебе пришлось сегодня обедать в такой спешке.

— Ничего, сойдет, — говорю. — Вы что-нибудь

хотели?

— Не стряслось ли чего? — говорит.

— А что могло стрястись? — говорю. — Неужели нельзя мне днем заехать лишний раз, чтобы не переполошить весь дом?

— Ты не видел, Квентина не пришла еще? — спрашивает.

— Она в школе, — говорю.

— Четвертый час, — говорит. — Три пробило по крайней мере полчаса тому назад. Она должна бы уже быть дома.

— Должна? — говорю. — А она за все время хоть раз вернулась домой засветло?

— Из школы она должна прямо домой, — говорит матушка. — Когда я была девочкой…

— Вас было кому в руках держать, — говорю. — А ее некому.

— Я бессильна совладать с ней, — говорит. — Я столько раз пыталась.

— А мне вмешаться тоже не даете почему-то, — говорю. — Вот и радуйтесь. — Прошел к себе в комнату. Заперся тихонько на ключ, постоял. Она подошла, ручку подергала.

— Джейсон, — говорит за дверью.

— Чего вам? — говорю.

— Я все думаю, не случилось ли чего.

— Только не у меня, — говорю. — Вы ошиблись адресом.

— Я вовсе не хочу тебя сердить, — говорит.

— Рад это слышать, — говорю. — А то я усомнился было. Совсем было засомневался. Вам что-нибудь угодно?

Помолчала. «Нет, ничего». Ушла. Я достал шкатулку, деньги отсчитал, обратно ее спрятал, отпер дверь и вышел. Вспомнил про камфару, но уже все равно поздно. Притом осталось мне один раз в город и обратно. Она у меня в дверях стоит, ждет.

— Вам что-нибудь из города привезти? — спрашиваю.

— Нет, — говорит. — Я вовсе не хочу вмешиваться в твои дела. Но не знаю, что бы я стала делать, Джейсон, если бы с тобой что-нибудь случилось.

— Со мной все в порядке, — говорю. — Просто голова болит.

— Ты бы хоть аспирину принял, — говорит. — Раз уж не можешь без этого автомобиля.

— При чем тут автомобиль? — говорю. — Как от автомобиля может болеть голова?

— Ты сам знаешь, от бензина у тебя с детства голова разбаливалась, — говорит. — Я бы хотела, чтобы ты принял аспирину.

— Продолжайте хотеть, — говорю. — Хотение — вещь безобидная.

Сел в машину, направился обратно в город. Только вырулил на улицу, смотрю — «форд» навстречу на предельной скорости. Вдруг как тормознет с ходу, заскользил, визжа колесами, дал задний, развернулся круто. Я успел только подумать, что за дурацкие фокусы, и тут за ветровым стеклом мне мелькнул красный галстук. А затем и ее лицо узнал в боковом стекле, ко мне повернутое. «Форд» метнулся в наш переулок, оттуда повернул на параллельную улицу. Но когда я до угла доехал следом, то их еще секунду только видно было, прямо как бешеные рванули.

Ну, у меня помутилось в глазах. Чтобы после всех моих предупреждений этот галстучек — тут уж я про все забыл. Даже про голову свою, пока не доехал до первой развилки и встал, не знаю, куда дальше. Дерут, дерут с нас деньги на дороги, а ехать — как по проклятому железу кровельному гофрированному. Интересно знать, как по такой дороге угнаться даже за паршивой тачкой. А я своей машиной дорожу, на куски ее растряхивать не собираюсь, это не «фордик» ихний. Притом они его скорей всего украли, так что им тем более плевать. Что я и говорю, кровь

не может не сказаться. Раз в ней такая кровь, то на все будет способна. Если вы, говорю, считаете, что у вас в отношении ее родственный долг, то он давно уже вами выполнен, и с этих пор, говорю, можете единственно себя винить, потому что сами знаете, как любой разумный человек поступил бы. Если уж, говорю, мне половину времени приходится быть несчастным сыщиком, то я по крайней мере пойду наймусь, где мне за это платить будут.

Встал, значит, у развилки. И сразу же голова. Будто кто изнутри бьет молотом. И я еще всегда старался, говорю, не волновать вас ее поведением; что же касается меня, говорю, то туда ей и дорога на самое дно, и чем скорей, тем лучше. Чего от нее и ожидать другого, кроме как с каждым комми и площадным скоморохом заезжим, потому что здешние пижоны и то уже от нее воротят нос. Вы же не в курсе совсем, что творится, говорю, вы же не слышите всего того, что мне приходится выслушивать, притом я их еще осаживаю, уж насчет этого будьте спокойны. Мои деды, говорю им, владели тут рабами, когда вы держали грошовые ларечки или издольщиками копались на клочках, на которые даже нигер не польстился бы.

Если бы хоть обрабатывали как положено. Хорошо еще, господь бог позаботился уплодородить эту землю, потому что здешний народ пальцем о палец не ударит. Пятница сегодня, а от развилки отсюда кругом на три мили еще даже и не вспахано, а все трудоспособное мужское население округа сейчас в городе там, в балагане. Будь сейчас на моем месте приезжий и умирай он тут с голоду, так спросить даже дорогу в город не у кого, ни души кругом. А она мне сует аспирин. Мучное, говорю, я только за столом употребляю. Вы вот, говорю, все хвалитесь, что стольким жертвуете для нас, а сами могли бы себе десять новых платьев ежегодно покупать на те деньги, что тратите на эти липовые патентованные лекарства. Не глушить мозги лекарствами мне требуется, а хоть бы небольшой промежуток спокойный, чтоб она и не болела вовсе, но пока не перестану гнуть горб по десять часов в день, чтоб кормить полную кухню нигеров, которые привыкли на широкую ногу жить и на каждом представлении торчать вместе с прочими черномазыми со всего округа, — только он припоздал. Пока дойдет, там уже кончится.

Поравнялся он с машиной, спрашиваю его, не проезжали тут мимо двое в «форде»; наконец до-

шел до него такой вопрос, говорит — проезжали, и я поехал дальше. Доехал до места, где от дороги отходит проселок, и по следам шин вижу, что свернули на него. Вон Эб Рассел на своем участке, но не к чему и спрашивать, и чуть скрылся его коровник за пригорком, как я увидел их «форд», это у них называется спрятать. Так же умело сделано, так она все прочее делает. Что я и говорю, меня не так само по себе оно бесит — может, она естество свое и побороть не в силах, — но меня возмущает, насколько у нее нет уважения к семье — чтоб не соблюдать приличия ни капли. Все время так и боюсь, что наткнусь на них где-нибудь посреди улицы или под фургоном на площади, как на собачью свадьбу.

Поставил машину, вышел. А теперь придется зайти с тыла, пересечь все поле-первое вспаханное, что мне встретилось с самого города, и каждый шаг по этой пахоте, как будто кто идет за мной сзади и дубиной по голове — грох, грох. Дойду, думаю, до опушки, дальше хоть будет по ровному. Но вошел в лес, а там полно кустарника, надо петлять, продираться, а потом уперся я в лощину, сплошь заросшую шиповником. Взял вдоль нее, а заросли глуше, а Эрл домой уже, наверно, звонит, меня ищет и матушку опять всю

растревожил.

Пробился наконец через шиповник, но столько уже напетлял, что пришлось остановиться и соображать, в какую теперь сторону идти к этому «форду». Понимаю, что их далеко искать не надо, под ближайшим же от «форда» кустиком. Повернул, продираюсь к дороге, но насколько к ним близко, я теперь не знаю, то и дело замираю и прислушиваюсь, и тогда вся кровь из ног мне ударяет в голову — сейчас вот пополам расколется, а солнце уже снизилось и точно в лицо мне бьет, и в ушах такой звон, что ровно ничего не слышу. Иду, стараюсь, чтоб не хрустнуть, как вдруг чья-то собака голос подала: Ну, думаю, сейчас она меня учует, прибежит, подымет лай и пиши пропало.

Стою весь в шипах, колючках, дряни всякой, в башмаки полно набилось и за шиворот везде, смотрю, а у меня рука на ветке ядовитого сумаха. Странно только, что всего-навсего за эту ветку взялся, а не, скажем, за гремучую змею. Пусть — я не стал и руку убирать. Постоял так, переждал собаку. Потом пошел дальше.

А в какой стороне их машина, уже не имею понятия. И ни про что уже не думаю, кроме как про свою голову, и только приостановлюсь так и не знаю вроде, а видел ли я вообще этот «форд»

или нет, и даже как-то почти все равно мне. Что я и говорю: пускай себе хоть днюет и ночует под кустами со всяким кобелем, на котором штаны, — какое мне дело. Что мне до нее, раз она так меня не уважает и настолько низко пала, чтоб прятать там этот «фордик», причем заставила меня полдня ухлопать, а Эрл в это время препроводит матушку к своему столу и покажет ей книги, по той причине, что он чересчур для этого мира праведный. Вы, говорю, на небесах изноетесь от скуки, там же не к кому будет в грешные дела соваться; только, говорю, не дай бог, если я тебя застукаю, я закрываю глаза на твое поведение единственно ради бабушки, но пусть только раз тебя застану за твоим занятием — здесь в городе, где моя мать живет. Эти собачьи пижоны прилизанные думают, что они черт-те какие ухари, — я их так ухну, я тебе покажу с ними вместе. Я ему такого задам жару, что он одного цвета станет со своим галстуком, если он думает, что может безнаказанно мою племянницу в лес водить.

Солнце в глаза, кровь в висках бухает, еще шаг — и голова лопнет и кончится мучение, а шипы, сучья цепляют за одежу, и тут я вышел к песчаному рву, где они сейчас были, и дерево узнал то, под которым «форд», и только выкарабкался

из рва и пустился бегом, как слышу — завели мотор у «форда» и ходу, а сами сигналят непрерывно. Гудок за гудком, как будто насмехаются ослино: «И-а. И-а. И-аааа», и все дальше отсюда. Только мелькнули багажником, когда я на дорогу выбрался.

Пока добежал до своей машины, они уже исчезли из виду, но гудки еще слышно. А я сразу не догадался, только приговариваю: «Давай-давай. Жми обратно в город. Домой к бабушке беги. Убеди ее, что я тебя не видел в этом „фордике“. Что я не знаю, с кем ты там была. Что я не был от вас в пяти шагах, чуть-чуть не застукал во рву. И что ты в этот момент и не лежала вовсе».

Все еще сигналят: «И-аааа, и-аааа, и-ааааааа», но доносится слабее и слабее. Замерло, и слышно стало, как корова у Рассела мычит. А я все еще не догадываюсь. Подошел, открыл дверцу, занес ногу. Подумалось, правда, что машина как-то слишком накренилась по сравнению с дорожным уклоном, но не сообразил, пока не сел за руль и не тронул с места.

Ну, я так и остался сидеть, как сидел. А время уже к закату, и до города пять миль. Им даже не хватило храбрости сделать прокол, продырявить шину. Просто воздух выпустили. А я сижу

и думаю про всю эту ораву черномазых на кухне у меня, и хоть бы один нашел время поставить запасное колесо на место и пару гаек затянуть. Немного только странновато, ведь даже она не могла предвидеть все заранее и насос из машины стянуть — разве что сейчас тут, пока он выпускал воздух из камеры. Но всего вернее, что насос отдали Бену играть вместо брызгалки, потому что захоти он, так они для него всю машину разберут по винтику, а Дилси мне: «Никто до вашей машины не касался. На что она сдалась нам трогать». А я ей так скажу: «Ты и не знаешь, какие вы, нигеры, счастливчики. Я в любое время готов с тобой меняться шкурами, потому что только белый может быть таким безмозглым, чтоб портить себе кровь из-за дрянной девчонки».

Пешком направился к Расселу. Автомобильный насос у него нашелся. Вот это уж просчет с их стороны. Но я все еще не мог поверить, что она настолько обнаглела. Просто не укладывалось в голове. Не знаю почему, но я никак до сих пор не усвою, что женщина способна на все. Ладно, думаю, забудем на минуту, что мы чувствуем друг к другу, поговорим спокойно. Я бы по отношению к тебе не смог так поступить. Какую б на тебя ни держал обиду. Что ни говори, а родство

есть родство. И дело тут не в шуточке, на которую восьмилетний малыш и то способен, а в том, что ты родного дядю выставила на посмешище вперед пижоном в красном галстучке. Наезжают к нам сюда, чтоб облапошить, и дальше — на кой им тут засиживаться у вахлачья, как они нас считают. Что правда, то правда, он у меня тут не засидится. Да и она тоже. Если ты так, то скатертью дорожка, можешь хоть и домой не заезжая.

У фермы Рассела я остановился, вернул ему насос и поехал дальше в город. Зашел в аптеку, выпил кока-колы, а оттуда на телеграф. К закрытию биржи курс упал до 12.21, на сорок пунктов. Помножь пять долларов на сорок и купи себе ума на эту сумму, а она тебе тут будет петь: мне обязательно надо, мне без них нельзя. Очень жаль, скажу ей, но обратись к кому-нибудь другому, а у меня нет — я слишком занят был, некогда было деньги зарабатывать.

Стою и только гляжу на него.

— Я вам сообщу новость, которая вас крайне удивит, — говорю. — Представьте, меня интересует курс на хлопковой бирже, — говорю. — Вам это и в голову не приходило никогда, не правда ли?

— Я сделал все, что мог, чтобы вручить ее вовремя, — говорит. — Дважды посылал в магазин

и домой к вам звонил, но никто не знал, где вы, — говорит и роется в ящике.

— Вручить что? — спрашиваю. Подает мне телеграмму. — Она когда получена? — спрашиваю.

— В половине четвертого, — говорит.

— А сейчас десять минут шестого, — говорю.

— Я пытался вручить ее вовремя, — говорит, — но не мог нигде вас найти.

— А я при чем? — говорю. Распечатал ее, просто интересно глянуть, какую ложь они мне испекли на этот раз. Туговато, видимо, беднягам, если приходится им из Нью-Йорка в штат Миссисипи тянуть лапу, чтобы уворовать десять долларов в месяц. Продавайте, советуют. Ожидаются колебания курса общей тенденцией к понижению. Не впадайте панику связи правительственным отчетом.

— Во сколько такая писулька могла обойтись? — спрашиваю. Сказал.

— Она оплачена отправителем, — добавил.

— Премного им обязан, — говорю. — И без них знал. Пошлите-ка им вот что, с оплатой получателем, — говорю и беру бланк. Покупайте, пишу. Биржа накануне резкого поднятия. Колебания целью подловить дюжину-другую свеженьких провинциальных сосунков. Не впадайте пани-

ку. — Вот. С оплатой получателем, — говорю.

Пробежал глазом, потом на часы.

— Биржа закрылась час назад, — говорит.

— Ну, — говорю, — я тут тоже ни при чем. Я этой музыки не сочинял, я только позволил втянуть себя на небольшую сумму — понадеялся, что телеграфная компания будет держать меня в курсе.

— Мы вывешиваем сводку сразу же по получении, — говорит.

— Да ну, — говорю. — А в Мемфисе каждые десять секунд на доске новая, — говорю. — Я всего на шестьдесят семь миль не доехал туда днем.

— Так хотите, чтоб я передал это? — спрашивает.

— Все еще не изменил намерения, — говорю. Написал вторую телеграмму и отсчитал за нее деньги. — И эту тоже. Не спутайте только «покупайте» с попугаем.

Я вернулся в магазин. С конца улицы опять оркестр доносится из балагана. Замечательная вещь сухой закон. Бывало, в субботу приезжает семейство фермерское в город — сам при башмаках, остальные босиком, и шествуют улицей в пересыльную контору за своим заказом; теперь же все являются босые, включая «самого», и прямиком к балагану, а торговцы стоят в дверях

лавок и только смотрят, все равно как тигры в клетках в два ряда. Эрл говорит:

— Надеюсь, ничего серьезного не случилось?

— Чего? — говорю. Он взглянул на свои часы. Потом подошел к дверям и сверил с башенными, что на здании суда. — Вам бы надо часики ценой в один доллар, — говорю. — Тогда не обидно хоть будет сверять каждый раз.

— Чего? — говорит.

— Ничего, — говорю. — Надеюсь, я не затруднил тут вас своим отсутствием.

— Народу было не особо, — говорит. — Все там на представлении. Так что все в порядке.

— А если не в порядке, — говорю, — то вы знаете, как поступить.

— Я сказал, все в порядке, — говорит.

— Я не глухой, — говорю. — А если не в порядке, то вы знаете, как поступить.

— Ты что, уволиться желаешь? — говорит.

— Хозяин здесь вы, — говорю. — Мои желания в расчет не принимаются. Только не воображайте, что вы держите меня здесь из милости.

— Ты был бы неплохой работник, Джейсон, если бы хотел, — говорит.

— По крайней мере, свою работу я исполняю, а в чужие дела носа не сую, — говорю.

— Не пойму, зачем ты так напрашиваешься на увольнение, — говорит. — Знаешь ведь, что в любое время можешь уйти по-хорошему и мы расстанемся друзьями.

— Потому я, может, и не ухожу, — говорю. — Пока что я свои обязанности выполняю, даром жалованья не беру. — Я пошел в заднюю комнату, выпил воды и вышел на крыльцо. Джоб кончил с культиваторами все-таки. Тихо во дворе, и скоро голове стало легче немного. Слышно, как в балагане запели, а вот опять оркестр. А ну их, пусть хоть до последнего цента обирают округ, не с меня ж они дерут. Я свое сделал; в моем возрасте надо уже знать, когда махнуть рукой и отойти, иначе будешь просто-напросто дурак. Тем более какое мне дело. Будь она мне дочь, тогда разговор другой, тогда бы ей не до того было, она бы у меня тоже трудилась на прокорм нашего сборища инвалидов, кретинов и нигеров, потому что я просто постеснялся бы ввести жену в наш дом. Я слишком уважаю человека. Я-то мужчина и способен выносить, притом они родня мне, и я желал бы посмотреть, какого цвета глаза будут у того, кто неуважительное слово посмеет сказать про женщину, мою приятельницу, именно добропорядочные этим-то и занимаются. Най-

дите мне такую из добропорядочных и церковь посещающих, чтоб была хоть вполовину такая честная, как Лорейн, даром что прости-господи. Попробовал бы я жениться, говорю, то-то бы вы взвились, скажете, нет? А она мне: я хочу, чтобы ты был счастлив, завел бы семью, не тратил бы свою жизнь в каторжном труде на нас. Вот скоро уж я уйду навеки, и тогда ты женишься, но тебе не найти женщину, достойную тебя. Как же, говорю, женись я только. Да вы бы из гроба вскочили — нет, скажете? Нет уж, говорю, спасибо, достаточно с меня заботы о тех женщинах, которые у меня уже в доме. Стоит мне жениться — и наверняка окажется какая-нибудь наркоманка. А в нашей семейке единственно этого недостает.

Солнце спустилось уже за методистскую церковь, вокруг шпиля голуби туда-сюда летают, и когда оркестр кончил, то стало слышно, как они бормочут. Еще и четырех месяцев не прошло с рождества, а их опять уже столько почти, сколько было. Пастор Уолтолл может сиять и радоваться. Такой шум поднял, как будто мы людей убиваем, лезет с увещеваниями, даже у одного за ружье ухватился, мешает прицелиться. Про мир на земле нам поет и благоволение ко всему сущему

и что малая птица не должна упасть.[56] Ему-то что, пусть хоть миллион их расплодится. Зачем ему знать, который час, что он — делом занят? Притом и налогов не платит, не его ж это денежки ежегодно ухлопываем на чистку башенных часов, чтоб хоть шли мало-мальски. Сорок пять долларов ухнули мастеру в тот раз. Больше сотни новооперившихся я насчитал там сейчас на земле. Дурачье, что не улетают отсюда, из этого города. А хорошо все же, что я семьей не связан, свободен, как голуби.

Опять заиграли, наяривают, как обычно под занавес. Вахлачье, надо думать, довольно. Возможно, им хватит теперь этой музыки на четырнадцать-пятнадцать миль обратной тряски в фургоне и пока в потемках распрягать будут, корму задавать, доить. Коровам своим смогут насвистывать эти мотивчики и пересказывать остроты, а после смогут прикинуть, сколько выгадали на том, что скотину не водили с собой в балаган. Скажем, если у тебя детей пятеро, а мулов семеро и был ты с семьей на представлении, то в итоге получилось четверть доллара чистого

---

[56] КОММЕНТАРИИ: 56

…малая птица не должна упасть. — Новозаветная аллюзия. Ср.: «Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего…»

прибытку. Такие калькуляции в их духе. Эрл в дверях показался со свертками.

— Вот еще несколько заказов для доставки на дом, — говорит. — А где дядюшка Джоб?

— Надо думать, на представление отправился, — говорю. — За ними глаз да глаз.

— Он не сказавшись не уйдет, — говорит. — На него-то я могу положиться.

— То есть не то что на меня, — говорю.

Эрл подошел к дверям, выглянул, прислушался.

— А хорош у них оркестр, — говорит. — Пожалуй, сейчас они и кончат.

— Если не собираются заночевать там, — говорю. Ласточки засновали уже, и слышно, как на деревьях во дворе суда воробьи начинают базар. То и дело стайка вспорхнет, затолчется над крышей и обратно скроется. По-моему, от них вреда не меньше, чем от голубей. И во дворе не посидишь там из-за них. Не успел присесть — кап! Прямо на шляпу. Но это надо быть миллионером, чтобы стрелять их, когда заряд стоит пять центов. Вот рассыпать бы отравленной приманки на площади, и в течение одного бы дня избавились, потому что если торговец не может углядеть за курами, чтоб не бродили по всей площади, то

ему не птицу надо продавать, а нежрущий товар — капусту или там плуги. А если собак не могут удержать при доме, то, значит, не нужна хозяину собака или такой уж никудышный он хозяин. Что я и говорю, если в городе всю торговлю и дела вести по-деревенски, то и будет не город, а деревня.

— Все равно мало радости вам, если даже и кончили, — говорю. — Они сразу же запрягать и по домам, и то доберутся только к полуночи.

— Что ж, — говорит. — Зато хоть развлечение им было. Не страшно, если они иногда и потратятся на такое дело. Фермер на холмах у нас трудится как каторжный, а благ — никаких.

— Никто его не принуждает, — говорю. — Ни на холмах, ни в низинах.

— А где бы мы с тобой были, когда бы не фермеры? — говорит.

— Я лично лежал бы сейчас дома, — говорю. — И на лбу у меня сейчас пузырь был бы со льдом.

— У тебя слишком часто эти головные боли, — говорит. — Ты бы занялся своими зубами как следует. Он утром их тебе все как следует проверил?

— Кто — он? — говорю.

— Ты же сказал, что у зубного был?

— Вам досадно, что у меня головная боль в рабо-

чее время? — говорю. — Вам это досаждает? — Через переулок уже потянулись с представления.

— Идут гуляки наши, — говорит Эрл. — Пойдука за прилавок. — И ушел. Забавное дело, на что б вы ни пожаловались, мужчина вам посоветует сходить к зубному, а женщина посоветует жениться. Причем всегда так: у самого всю жизнь все из рук валится, а вас станет поучать, как вести дело. Какой-нибудь профессоришка из колледжа — пары целых носков за душой нет, а вас будет учить, как за десять лет сделаться миллионером, а баба, которая даже мужа себе подцепить и то не сумела, будет вас наставлять по семейным вопросам.

Старикашка Джоб во двор въехал. Когда замотал наконец вожжи вокруг державки для кнута, я спрашиваю его:

— Ну как, понравились артисты?

— Я еще там не был, — говорит. — Но если меня вечером сегодня арестовывать придут, то смогут найти в той палатке.

— Так я и поверю тебе, — говорю. — Не был, как же. С трех часов дня пропадаешь. Мистер Эрл сейчас только во двор выходил, искал тебя.

— Я делом занимался, — говорит. — Мистер Эрл знает, где я был.

— Это ты его морочить будешь, — говорю. — Да не бойся, я тебя не выдам.

— А как же, — говорит, — кого ж мне тут другого и морочить, кроме него. Какой мне расчет тех морочить, с кем на исходе дня субботнего что мы видались, что мы не видались. Нет уж, вас я морочить не стану, — говорит. — Слишком вы хитрый, где уж мне. Это точно, — говорит и укладывает несчастных пять-шесть сверточков в фургон со страшно занятым видом. — Слишком вы хитрый. Вас во всем городе нету хитрей. На что уж тут есть человек, сам себя кругом пальца обведет, а вы и его в дураках оставляете. — Влез в фургон, отмотал вожжи.

— Это какой такой человек? — спрашиваю.

— А мистер Джейсон Компсон, — говорит. — Н-но, коняга!

Колесо одно вот-вот соскочит. Смотрю вслед: интересно, успеет хоть он выехать из переулка. Дай только черномазому фургон или там шарабан. В этом ветхом драндулете, говорю, срам и на люди показываться, а вы будете держать его в каретнике еще сто лет, чтоб только принца этого раз в неделю катать в нем на кладбище. Не он, говорю, первый, кому не все то по вкусу, что делать приходится. Я бы с ним так: либо в машине

езди, как все люди, либо торчи дома. Как будто он понимает, куда его везут и на чем везут, а мы для него шарабан держи и лошадь, чтобы выезд совершал по воскресеньям.

Сильно Джоба беспокоит, слетит колесо или нет, — ему только бы пешком идти обратно не слишком далеко было. Что я и говорю: им место в поле, гнуть горб от зари и до зари. Сытость, легкая работа — для них хуже нет. Достаточно Нигеру чуть пообжиться при белых — и хоть на помойку выбрасывай. Такими становятся ловчилами — прямо на глазах тебя обжулит, отвертится от дела. Взять хоть Роскуса, что единственную допустил оплошность — однажды взял нечаянно и помер. Отлынивать и воровать мастера, причем огрызаться тебе будут с каждым днем все наглее, пока не доведут, что схватишь первую попавшуюся планку тарную и раскроишь ему башку. Дело, конечно, хозяйское. Но я б на месте Эрла посчитал это убийственной рекламой магазину, чтобы мой товар по городу развозил нигер, из которого песок сыплется, причем в фургоне, который, того и гляди, тоже рассыплется на первом повороте.

Солнце уже все ушло в верхушки деревьев, и в магазине понемногу делается темно. Я прошел к входным дверям. На площади пусто. Эрл в задней

комнате запирает сейф, а вот и часы ударили на башне.

— Замкни-ка со двора, — говорит. Я пошел, запер, вернулся. — Ты, значит, вечером на представление, — говорит. — Я, помнится, дал тебе вчера контрамарки?

— Да, — говорю. — Хотите их обратно?

— Нет-нет, — говорит. — Я просто уточнить, дал их или нет. А то еще зря пропадут.

Эрл запер двери, сказал «до свиданья» и пошел. Воробьи по-прежнему трещат на деревьях, но на площади пусто, только машины две-три. У аптеки какой-то «форд», но я даже не взглянул, проходя. Хорошенького понемножку. Попробовал на путь ее наставить — и хватит с меня. Научить, что ли, Ластера водить машину, пусть тогда гоняются за ней хоть целыми днями, а я дома посижу, поиграю с Беном.

Вошел, купил сигар. Потом — дай, думаю, еще головной боли себе подбавлю для ровного счета — постоял, поболтал с ними.

— Ну, а ты, — говорит Мак, — надо думать, на «Янки»[57] в нынешнем сезоне ставишь?

— Это с какой стати? — говорю.

---

[57] КОММЕНТАРИИ: 57

«Янки» — нью-йоркская бейсбольная команда.

— Как с какой? — говорит. — Ведь первая команда во всей лиге.

— Дудки, — говорю. — Они уже выдохлись. Что ж, по-твоему, им вечно будет так везти?

— По-моему, тут не в везении дело, — говорит Мак.

— А я в жизни не поставлю на команду, где этот лбина Рут[58] играет, — говорю. — Даже если буду знать заранее, что они выиграют.

— Да ну? — говорит Мак.

— Я тебе в обеих лигах насчитаю по десятку игроков куда более ценных, чем Рут, — говорю.

— А что ты имеешь против Рута? — спрашивает Мак.

— Ничего, — говорю. — Ровно ничего. Мне даже на фотографию его смотреть противно. — Я вышел на улицу. Фонари загораются, народ домой идет. Иногда воробьи не унимаются до самой ночи. В тот вечер, когда у суда зажгли новые фонари, свет разбудил их, и всю ночь они летали и тыкались в лампочки. И так несколько дней подряд, а потом утром как-то их не стало. А месяца через два опять вернулись всей оравой.

Поехал домой. В доме у нас огней еще не зажи-

---

[58] КОММЕНТАРИИ: 58

Рут Джордж Герман, по прозвищу «Бейб» (1895–1948) — знаменитый бейсболист-рекордсмен, выступавший за клуб «Янки» с 1920 по 1933 г.

гали, но все они высматривают меня в окна, а Дилси на кухне разоряется, что ужин преет на плите, — как будто на ее деньги куплено. Послушать ее — можно подумать, что этот ужин всемирной важности и все пропало, если он из-за меня на несколько минут задержан. Зато хоть раз приехал и не вижу Бена с нигеренком за воротами. Как медведь с мартышкой в одной клетке. Чуть только завечереет — он к воротам, как корова в родной сарай, — уцепится за прутья, мотает башкой, постанывает. И науки ему никакой. Кажется, крепко поплатился за тот раз с незапертой калиткой. Если бы надо мной такое сотворили, я бы как от огня от этих школьниц. Мне иногда любопытно, о чем он думает там у калитки, когда смотрит, как девочки идут из школы, и силится что-то хотеть, а что — не помнит, и не помнит того даже, что оно уже ему не нужно и не может быть нужно теперь. Или о чем он думает, когда его спать кладут и он раздетый на себя вдруг глянет и тут же заревет. Только я скажу, что зря они им ограничились. Знаю, говорю, какое к тебе надо средство. То же самое, что к Бену, тогда бы ты вела себя прилично. А если тебе не ясно, о чем речь, — поразузнай у Дилси.

У матушки в комнате горит свет. Я поставил

машину в гараж, вошел в кухню. Там Ластер с Беном.

— А где Дилси? — спрашиваю. — На стол накрывает?

— Мэмми наверху у мис Кэлайн, — говорит Ластер. — Там у них шум. Как мис Квентина вернулась домой, так и началось. Мэмми их там разнимает. Мистер Джейсон, а артисты сегодня уже представляют?

— Да, — говорю.

— Я так и думал, что это их оркестр играет, — говорит. — Вот бы мне пойти, — говорит. — Если б только было у меня четверть доллара.

Вошла Дилси.

— Пожаловали-таки наконец? — говорит. — Где это вас носило? Вы же знаете, сколько у меня работы, неужели не можете вовремя?

— Возможно, я ходил на представление, — говорю. — Готов ужин?

— Вот бы мне пойти, — говорит Ластер. — Если б только у меня был четвертак.

— Нечего тебе ни на какие представления, — говорит Дилси. — А вы идите в гостиную посидите, — говорит. — Наверх не ходите, а то снова их разбудоражите.

— А что там такое? — спрашиваю.

— Квентина пришла и говорит, вы гонялись за ней весь вечер, а мис Кэлайн на нее как накинется. Зачем вы ее обижаете? Неужели нельзя вам жить в одном доме с собственной племянницей родной и не ссориться?

— Когда мне было с ней ссориться, если я ее с утра сегодня не видел, — говорю. — И чем это я ее обидел? Что в школу заставил пойти? Свинство, конечно, с моей стороны, — говорю.

— Вы лучше занимайтесь своими делами, а ее не трожьте, — говорит Дилси. — Я уж сама с ней полажу, только вы с мис Кэлайн не даете мне вот. Идите посидите тихо-мирно, пока на стол накрою.

— Если бы мне четвертак, — говорит Ластер, — то я бы пошел на артистов.

— А если бы тебе крылья, то на небо полетел бы, — говорит Дилси. — Хватит, ни словечка мне больше про этих артистов.

— Да, кстати, — говорю. — Мне тут дали два билета. — Достал их из пиджачного кармашка.

— И вы пойдете? — спрашивает Ластер.

— Ни за что, — говорю. — Десять долларов приплатят, и то не пойду.

— Дайте мне один, мистер Джейсон, — говорит он.

— А ты купи у меня, — говорю. — Желаешь?

— У меня денег нету, — говорит.

— Жаль-жаль, — говорю. И вроде ухожу.

— Дайте мне один, мистер Джейсон, — говорит. — Вам же они оба не нужны.

— Да уймись ты, — Дилси ему. — Знаешь ведь, он даром ничего не даст.

— А сколько вы за него хотите? — Ластер меня спрашивает.

— Пять центов, — говорю.

— У меня столько нету, — говорит.

— А сколько у тебя есть? — спрашиваю.

— Нисколько нету, — говорит.

— Ну что ж, — говорю. И к дверям направляюсь.

— Мистер Джейсон, — опять он.

— Да замолчишь ты? — Дилси ему. — Он же тебя нарочно дразнит. Ему самому нужны эти билеты. Идите себе, Джейсон, не мучьте его зря.

— Они мне вовсе не нужны, — говорю и вернулся обратно к плите. — Я, собственно, вошел, чтобы сжечь их. Но если хочешь, за пятак уступлю один, — говорю и смотрю на него, а сам открываю конфорку.

— Да у меня нету, — говорит.

— Ну что ж, — говорю. И бросил в огонь одну

контрамарку.

— Ох, Джейсон, — Дилси мне. — И не стыдно вам?

— Мистер Джейсон, — говорит Ластер. — Пожалуйста, сэр. Я целый месяц буду вам шины каждый день накачивать.

— Деньги на бочку, — говорю. — Всего за пятак уступаю.

— Молчи, Ластер, — говорит Дилси и за руку его как отдернет от плиты. — Ну, что же вы? — говорит. — Жгите и второй. Кончайте.

— Всего за пятак, — говорю.

— Да кончайте, — говорит Дилси. — Нет у него пятака. Кончайте. Кидайте в огонь.

— Ну что ж, — говорю. Бросил и вторую в огонь, и Дилси задвинула конфорку.

— А еще взрослый человек, мужчина, — говорит. — Уходите из моей кухни. Замолчи, — говорит она Ластеру. — А то и Бенджи заплачет. Я нынче у Фрони возьму для тебя четвертак, завтра вечером пойдешь. Ну, уймись.

Я пошел в гостиную. Наверху там они как воды в рот набрали. Раскрыл газету. Немного спустя вошли Бен с Ластером. Бен прямо к темному пятну на стене, где раньше зеркало висело, водит по этому месту руками, слюни пускает, мычит.

Ластер давай кочергой ковыряться в камине.

— Ты зачем? — говорю. — Нечего камин сегодня разжигать.

— Это я чтобы он утихомирился, — говорит. — И на пасху всегда же холодно.

— Сегодня пока что не пасха, — говорю. — Поставь кочергу где стояла.

Поставил, с матушкиного кресла взял подушечку, дал Бену, тот ссутулился перед камином на полу и замолчал.

Читаю газету. Наверху у них по-прежнему ни шороха, а уже Дилси вошла к нам, Ластера с Беном услала на кухню кормиться и «Ужин подан» говорит.

— Хорошо, — говорю. Вышла. Сижу, газету читаю. Немного погодя слышу: Дилси дверью скрипнула, засматривает.

— Что ж вы не идете кушать? — спрашивает.

— Жду ужина, — говорю.

— Ужин подан, — говорит. — Я же сказала.

— Вот как? — говорю. — Виноват, но я не слышал, чтобы сверху кто-нибудь сошел в столовую.

— Они не сойдут, — говорит. — Идите поужинайте, тогда я смогу им наверх отнести.

— Скоропостижно заболели? — говорю. — Ну и что сказал доктор? Надеюсь, не оспа?

— Идите же, Джейсон, — говорит. — Не задерживайте.

— Ну что ж, подождем ужина, — говорю и опять газету раскрываю.

Дилси, чувствую, смотрит на меня с порога. Продолжаю читать.

— Ну зачем вы это? — говорит. — Знаете же, сколько у меня и без того хлопот.

— Днем матушка спускалась вниз обедать, — говорю. — Конечно, если сейчас она себя чувствует хуже, делать нечего. Но тем, кто меня помоложе, придется потреблять купленные мной продукты за общим столом. Позовешь меня, когда ужин будет подан, — говорю и продолжаю читать газету. Слышу, как Дилси наверх взбирается, волоча ноги, кряхтит, охает, как будто лестница отвесная и каждая ступенька вышиной в три фута. Слышу голос ее у матушкиной двери, потом у Квентининой — та заперлась, должно быть, — потом обратно к матушке заковыляла, и матушка сама пошла, зовет Квентину. Теперь спускаются. Читаю газету.

Дилси снова стала на пороге.

— Ну идите же, — говорит, — пока нового неподобства не выдумали. Раскуролесились сегодня.

Вошел в столовую. Квентина сидит, опустив

голову. Опять уже накрасилась. А нос белеет, как фарфоровый изолятор.

— Приятно, что вы чувствуете себя в состоянии сойти к столу, — говорю матушке.

— Я рада угодить тебе хоть этой малостью, — говорит. — Как бы плохо я себя ни чувствовала. Я ведь знаю, что после целодневного труда человеку хочется поужинать в кругу семьи. Я уж стараюсь угождать. Если бы только вы с Квентиной были в лучших отношениях. Мне бы тогда легче было.

— У нас с ней отношения нормальные, — говорю. — Я же не против, пускай хоть весь день у себя дуется там запершись. Но завтракать, обедать и ужинать попрошу к столу. Я понимаю, что я чересчур многого от нее требую, но такой порядок в моем доме. В вашем то есть.

— Дом твой, — говорит матушка. — Глава дома теперь ты ведь.

Квентина так и сидит, опустив голову. Я распределил жаркое по тарелкам, принялась за еду.

— Как там у тебя — хороший кусок мяса? — говорю. — Если нет, то я получше выберу.

Молчит.

— Я спрашиваю, хороший кусок мяса достался тебе? — говорю.

— Что? — говорит. — Да. Хороший.

— Может, еще риса положить? — говорю.

— Не надо, — говорит.

— А то добавлю, — говорю.

— Я больше не хочу, — говорит.

— Не за что, — говорю. — На здоровье.

— Ну, как голова? — опрашивает матушка.

— Какая голова? — говорю.

— Я боялась, что у тебя начинается приступ мигрени, — говорит. — Когда ты днем приезжал.

— А-а, — говорю. — Нет, раздумала болеть. Не до головы мне было, дел было по горло в магазине.

— Потому-то ты и приехал позже обычного? — спрашивает матушка. Тут, замечаю, Квентина навострила уши. Наблюдаю за ней. По-прежнему ножом и вилкой действует, но глазами — шнырь на меня и тут же обратно в тарелку.

— Да нет, — говорю. — Я днем, часа в три, дал свою машину одному человеку, пришлось ждать, пока он вернется. — И ем себе дальше.

— А кто он такой? — спрашивает матушка.

— Да из этих артистов, — говорю. — Там муж его сестры, что ли, укатил за город со здешней одной, а он за ними вдогонку.

У Квентины нож и вилка замерли, но жует.

— Напрасно ты вот так даешь свою машину, —

говорит матушка. — Слишком уж ты безотказный. Я сама только ведь в экстренных случаях беру ее у тебя.

— Я и то начал было подумывать, — говорю. — Но он вернулся, все в порядке. Нашел, говорит, что искал.

— А кто эта женщина? — спрашивает матушка.

— Я вам потом скажу, — говорю. — Эти вещи не для девичьего слуха.

Квентина перестала есть. Только воды отопьет и сидит, крошит печенье пальцами, уткнувшись в свою тарелку.

— Да уж, — говорит матушка. — Затворницам вроде меня трудно себе даже и представить, что творится в этом городе.

— Да, — говорю. — Это точно.

— Моя жизнь так далека была от всего такого, — говорит матушка. — Слава богу, я прожила ее в неведении всех этих мерзостей. Не знаю и знать не хочу. Не похожа я на большинство женщин.

Молчу, ем. Квентина сидит, крошит печенье. Дождалась, пока я кончил, потом:

— Теперь можно мне уйти к себе? — не поднимая глаз.

— Чего? — говорю. — Ах, пожалуйста. Тебе ведь

после нас не убирать посуду.

Подняла на меня глаза. Печенье уже докрошила все, но пальцы еще двигаются, крошат, а глаза прямо как у загнанной в угол крысы, и вдруг начала кусать себе губы, будто в этой помаде и правда свинец ядовитый.

— Бабушка, — говорит. — Бабушка…

— Хочешь еще поесть чего-нибудь? — говорю.

— Зачем он со мной так, бабушка? — говорит. — Я же ничего ему не сделала.

— Я хочу, чтобы вы были в хороших отношениях, — говорит матушка. — Из всей семьи остались вы одни, и я так бы хотела, чтобы вы не ссорились.

— Это он виноват, — говорит. — Он мне жить не дает, это из-за него я. Если он не хочет меня здесь, почему ж не отпускает меня к…

— Достаточно, — говорю. — Ни слова больше.

— Тогда почему он мне жить не дает? — говорит. — Он… он просто…

— Он тебе с младенчества взамен отца дан, — матушка ей. — Мы обе едим его хлеб. Он ли не вправе ждать от тебя послушания?

— Это все из-за него, — говорит. Вскочила со стула. — Это он довел меня. Если бы он хоть только… — смотрит на нас, глаза загнанные, а

локтями как-то дергает, к бокам жмет.

— Что — если б хоть только? — спрашиваю.

— Все, что я делаю, все будет из-за вас, — говорит. — Если я плохая, то из-за вас одного. Вы довели меня. Лучше бы я умерла. Лучше б мы все умерли. — И бегом из комнаты. Слышно, как пробежала по лестнице. Хлопнула дверь наверху.

— За все время первые разумные слова сказала, — говорю.

— Она ведь прогуляла сегодня школу, — говорит матушка.

— А откуда вы знаете? — говорю. — В городе, что ли, были?

— Так уж, знаю, — говорит. — Ты бы помягче с ней.

— Для этого мне надо бы видеться с ней не раз в день, — говорю, — а чуточку почаще. Вот вы добейтесь, чтобы она приходила к столу в обед и в ужин. А я тогда ей буду каждый раз давать дополнительный кусок мяса.

— Ты бы мог проявить мягкость в разных других вещах, — говорит.

— Скажем, не обращал бы внимания на ваши просьбы и позволял бы ей прогуливать, да? — говорю.

— Она прогуляла сегодня, — говорит. — Уж я

знаю. По ее словам, один мальчик днем повез ее кататься, а ты за ней следом поехал.

— Это каким же способом? — говорю. — Я ведь отдал на весь день машину. Прогуляла она нынче или нет — это дело уже прошлое, — говорю. — Если вам обязательно хочется переживать, попереживайте-ка лучше насчет будущего понедельника.

— Мне так хотелось, чтобы вы с ней были в хороших отношениях, — говорит. — Но ей передались все эти своевольные черты. И даже те, что были в характере у Квентина. Я тогда же подумала — зачем еще давать ей это имя вдобавок ко всему, что и так унаследовано. Временами приходит на ум, что господь покарал меня ею за грехи Кэдди и Квентина.

— Вот так да, — говорю. — Хорошенькие у вас мысли. С такими мыслями немудрено, что вы беспрерывно хвораете.

— О чем ты? — говорит. — Я не пойму что-то.

— И слава богу, — говорю. — Добропорядочные женщины много такого недопонимают, без чего им спокойнее.

— Оба они были с норовом, — говорит. — А только попытаюсь их обуздать — они тотчас к отцу под защиту. Он вечно говорил, что их незачем

обуздывать, они, мол, уже научены чистоплотности и честности, а в этом вся возможная наука. Теперь, надеюсь, он доволен.

— Зато у вас остался Бен, — говорю. — Так что не горюйте.

— Они намеренно выключали меня из круга своей жизни, — говорит матушка. — И вечно вдвоем с Квентином. Вечно у них козни против меня. И против тебя, но ты слишком мал был и не понимал. Они всегда считали нас с тобой такими же чужаками, как дядю Мори. Не раз, бывало, говорю отцу, что он им слишком дает волю, что они чересчур отъединяются от нас. Пошел Квентин в школу, а на следующий год пришлось и ее послать раньше времени; раз Квентин — значит, и ей непременно. Ни в чем буквально не хотела от вас отставать. Тщеславие в ней говорило, тщеславие и ложная гордость. А когда начались ее беды, я так и подумала, что Квентин захочет перещеголять ее и в этом отношении. Но как могла я предположить, что он таким эгоистом окажется и… мне и не снилось, что он…

— Возможно, он знал, что ребенок будет девочка, — говорю. — И что двух таких цац ему уже просто не выдержать.

— А он мог бы наставить ее на хорошее, — гово-

рит. — Он был, кажется, единственным, кто мог в какой-то мере на нее влиять. Но и в этом господь покарал меня.

— Да-да, — говорю. — Какая жалость, что он утонул, а я остался. С ним бы вам совсем другое дело.

— Ты говоришь это в упрек мне. Впрочем, я его заслуживаю, — говорит. — Когда стали продавать землю, чтобы внести плату за университет, я говорила отцу твоему, что он и тебя обязан обеспечить в равной мере. Но затем Герберт предложил устроить тебя в своем банке, я и подумала, что теперь уж твоя карьера обеспечена; потом, когда стали накопляться долги, когда мне пришлось продать нашу мебель и остаток луга, я тотчас написала ей — не может же она не осознать, думаю, что ей с Квентином досталось помимо их доли частично также доля Джейсона и что теперь ее долг возместить ему. Она, говорю, сделает это хотя бы из уважения к отцу. Тогда я верила еще — я ведь всего только бедная старуха, с детства приученная верить, что люди способны чем-то поступиться ради родных и близких. В этой вере я повинна. Ты вправе меня упрекать.

— По-вашему, выходит, я нуждаюсь в чужой поддержке? — говорю. — Тем более от женщины,

которая даже кто отец ее ребенка затрудняется сказать.

— Ах, Джейсон, — мамаша в ответ.

— Нет-нет, — говорю. — Я нечаянно. Не подумавши сказал.

— Неужели еще и это уготовано мне после всего, что я перестрадала.

— Что вы, что вы, — говорю. — Я не подумавши.

— Надеюсь, хоть сия чаша минует меня, — говорит.

— Само собой, — говорю. — Она слишком похожа на них обоих, чтобы еще сомневаться.

— Я просто уж не в состоянии ее испить, — говорит.

— Так перестаньте вы об этом думать, — говорю. — Что, опять она вас растревожила, не хочет сидеть дома вечерами?

— Нет. Я заставила ее осознать, что это делается для ее же блага и что когда-нибудь она сама мне будет благодарна. Она берет к себе наверх учебники, я запираю ее на ключ, и она сидит, учит уроки. У нее до одиннадцати часов иногда горит свет.

— А откуда вам известно, что она уроки учит? — говорю.

— Я уж не знаю, чем ей больше одной там заниматься, — говорит. — Книг ведь она не читает.

— Натурально, — говорю. — Где вам знать. И благодарите судьбу, что не знаете, — говорю, но не вслух. Все равно без толку. Расплачется только опять, и возись с ней.

Слышу, как всходит по лестнице в спальню. Потом окликнула Квентину, и та отозвалась из-за двери: «Чего вам?» — «Покойной ночи», — матушка ей. Щелкнула в дверном замке ключом и обратно к себе в спальню.

Я докурил сигарету и поднялся наверх, а у Квентины еще горит свет. Замочная скважина светится, но ни звука оттуда. Что-то тихо очень она занимается. Возможно, в школе выучилась этому искусству. Я пожелал матушке спокойной ночи, прошел к себе, достал шкатулку и снова пересчитал. За стеной Великий Американский Мерин басом храпит, как лесопилка. Я где-то читал, над певчими нарочно производят эту операцию, чтоб голос стал как женский. Но, возможно, он не знает, что над ним произвели. По-моему, он даже и не знает, ни зачем он на ту девочку тогда, ни почему мистер Берджес доской от забора его успокоил. А если бы со стола его прямо, пока под наркозом, переправили в Джек-

сон, то он даже не заметил бы и разницы — что ему там, что дома. Но Компсону такой простой выход и в голову не придет. Сложности нам подавай. И вообще зачем с этим было ждать, пока он вырвется на улицу и на школьницу набросится на глазах у ее родного отца. Я так скажу, тем хирургам раньше бы начать и позже кончить. Я знаю по крайней мере еще двух, кого бы заодно не мешало оформить в том же духе, причем одну из них недалеко искать. Хотя, по-моему, и это не поможет. Что я и говорю, шлюхой родилась, шлюхой подохнет. Но вы мне дайте одни сутки, чтоб ко мне не совались с советами эти нью-йоркские обиралы. Мне не надо тысячных кушей — на эту удочку ловите игрочишек-сосунков. Дайте мне только честный шанс вернуть свои деньги обратно. А после чего можете вселять ко мне хоть все мемфисские бордели и сумасшедший дом в придачу: парочка ложись в мою постель, третий займи за столом мое место — милости прошу.

8 апреля 1928 года

День начинался промозгло и мутно, надвигался с северо-востока пеленой серого света, сеющей не капли, а пылевидную едкую морось, и, когда Дилси отворила дверь своей хибары и показалась в проеме, ее косо и колюче обдало этой словно бы не водяной, а какой-то жидко-масляной леденеющей пылью. В черной жесткой соломенной шляпе поверх платка-тюрбана, в шелковом пурпурном платье и в бурого бархата накидке, отороченной облезлым безымянным мехом, Дилси встала на пороге, подняв навстречу ненастью морщинистое впалое лицо и дрябло-сухую, светлую, как рыбье брюшко, ладонь, затем отпахнула накидку и осмотрела перед платья.

Цвета царственного и закатного, оно поло падало с плеч на увядшие груди, облегало живот и вновь обвисало, слегка раздуваясь над нижними юбками, что с разгаром весны и тепла будут сбрасываться слой за слоем. Дилси смолоду была дородна, но ныне только остов громоздился, дряблo драпированный тощей кожей, тугою разве лишь на животе, почти отечном, как если бы

мышца и ткань были зримый запас стойкости или бесстрашия духа, весь израсходованный за дни и годы, и один костяк остался неукротимо выситься руиной иль вехой над чревом глухим и дремотным, неся над собой опавшее и костяное лицо, подставленное сейчас непогоде с выражением вместе и покорствующим, и по-детски удивленно-огорченным. Постояв так, Дилси повернулась, ушла обратно в хибару и затворила дверь.

Земля вокруг порога была голая, точно от многих поколений босых ног покрывшаяся патиной, налетом, какой бывает на старом серебре или на стенах мексиканских мазанок. Рядом с хибарой, в летнюю пору ее затеняя, стояли три тутовых дерева, и молодая листва их, которая позднее станет спокойной и широкой, как ладони, плоско трепетала, струилась под ветром. Порывом его неизвестно откуда принесло двух соек, пестрыми клочками бумаги или тряпок взметнуло на сучья, и они закачались там, хрипуче ныряя и вскидываясь на ветру, рвущем, уносящем — тоже как тряпье или бумагу — их резкие крики. Еще три сойки прилетели, и все впятером заныряли и загалдели на мятущихся ветвях. Дверь открылась, и снова показалась Дилси, на этот раз в мужской

войлочной шляпе, в синем ситцевом линялом платье, в армейской шинели, и пошла через двор в кухню, а платье трепыхалось вокруг ног, криво пузырясь из-под обшарпанных шинельных пол.

Минутой позже она вышла из кухни с зонтиком и, наклонно загораживаясь им, направилась к поленнице; там положила было раскрытый зонтик наземь, но — еле поймав — ухватила снова, озираясь, борясь с ветром. Затем закрыла, положила зонтик, набрала поленьев в охапку, подняла зонтик, раскрыла его наконец, понесла дрова на крыльцо и, шатко удерживая их на согнутой руке, ухитрилась закрыть зонтик и поставила в углу за дверью. Дрова ссыпала у плиты в ящик. Сняла шинель и шляпу, сдернула с гвоздя грязный передник, надела и принялась растапливать плиту, стуча колосниками и гремя конфорками. В это время с черной лестницы послышался призывающий голос миссис Компсон.

Она стояла на верхней площадке, запахивая у горла стеганый черный атласный халат. В другой руке она держала красную резиновую грелку и через безжизненноравные промежутки роняла «Дилси!» в тихий лестничный пролет, уходящий во мрак и снова светлеющий в самом низу от серого окошка. «Дилси», — звала она тоном бес-

цветным, ровным и неторопливым, как бы вовсе и не ожидающим ответа «Дилси».

Та откликнулась и перестала громыхать, но не успела еще подойти к дверям столовой, как зов раздался снова, а пока дошла до лестницы — еще раз. Голова Дилси очертилась на брезжущем пятне окна.

— Иду, иду, — сказала Дилси. — Вот она я. Только нагреется, сразу же налью вашу грелку. — Подобрав подол, она стала всходить, заслонив собою совершенно свет окошка — Положьте ее на пол и идите обратно в постель.

— Мне не понять было, в чем дело, — сказала миссис Компсон. — Я проснулась не менее часа назад, и все это время из кухни ни звука.

— Положьте грелку и в постель идите, — сказала Дилси. Она одолевала ступеньки, бесформенная, тяжело сопящая. — Через минуту растоплю, а еще через две — закипит.

— Я пролежала не менее часа так, — сказала миссис Компсон. — Стала уж думать: возможно, ты ждешь, чтобы я сама спустилась и разожгла плиту.

Дилси взошла наверх, взяла грелку.

— Сейчас будет вам горяченькая, — сказала она. — Ластер нынче проспал, вчера с представ-

ления ночью вернулся. Сама уж растоплю. Ну, идите, не будите остальных, пока я не управлюсь.

— Раз ты позволяешь Ластеру манкировать обязанностями, то и страдай сама из-за него, — сказала миссис Компсон. — Джейсон узнает — не похвалит. Сама знаешь.

— Не на Джейсоновы денежки билет был бран, — сказала Дилси. — За это уж будьте спокойны. — Она стала спускаться. Миссис же Компсон вернулась в свою комнату. Ложась снова в постель, она слышала, как Дилси все еще спускается, и эта мучительная медленность стала бы полностью невыносимой, если бы шаги наконец не убыли, не заглохли за качающейся створкой двери.

Войдя в кухню, Дилси развела огонь в плите и принялась готовить завтрак. Среди дела она вдруг подошла, глянула в окно на хибару, затем отворила дверь во двор и крикнула сквозь непогодь:

— Ластер! — Прислушалась, клоня, пряча лицо от ветра. — Ла-астер! — Прислушалась, снова хотела позвать, но тут Ластер вынырнул из-за угла.

— Да, мэм? — сказал он столь невинным голоском, что Дилси так на него и уставилась, удивленно и проницающе.

— Ты где там куролесишь? — спросила она.

— Нигде, — ответил он. — Просто в погребе был.

— А зачем ты туда лазил? — сказала она. — Да не стой под дождем, дуралей.

— Ни за чем, — ответил Ластер. Поднялся на крыльцо.

— И не смей мне на порог без охапки дров, — сказала Дилси. — Я тут и дрова за тебя таскай, и плиту за тебя топи. Говорено тебе было вчера, чтоб наносил полон ящик, прежде чем на артистов идти.

— Я наносил, — сказал Ластер. — Полный-полный.

— Куда же дрова девались — улетели?

— Не знаю, мэм. Я их не трогал.

— Сейчас же давай наноси, — сказала Дилси. — А потом ступай наверх, займись Бенджи.

И закрыла дверь. Ластер пошел к поленнице. Сойки крикливо взмыли над домом всей стайкой и опять вернулись на деревья. Ластер поглядел. Поднял камень, швырнул в них:

— Кы-ыш! Обратно в пекло улетайте.[59] Вам

---

[59] КОММЕНТАРИИ: 59

Обратно в пекло улетайте. — В фольклоре американского Юга сойки — шпионы дьявола; раз в неделю они должны летать в ад, чтобы сообщить земные новости.

там срок до понедельника.

Нагрузясь гороподобной, застящею свет охапкой, он взобрался, пошатываясь, на крыльцо и слепо ткнулся, грохнул в дверь дровами, роняя поленья. Дилси подошла и открыла дверь, и он двинулся наугад через кухню.

— Полегче, Ластер! — крикнула она, но Ластер уже с громом и треском обрушил дрова в ящик.

— Уфф! — выдохнул он.

— Ты что, хочешь разбудить весь дом? — сказала Дилси и шлепнула его ладонью по затылку. — А теперь марш наверх одевать Бенджи.

— Да, мэм, — сказал Ластер. Направился опять к наружной двери.

— Куда ж ты? — сказала Дилси.

— Я лучше обойду кругом, подымусь с парадного, а то еще разбужу и мис Кэлайн, и всех.

— Иди с черного хода, делай, что велят, — сказала Дилси. — Ну иди же, одень Бенджи.

— Да, мэм, — сказал Ластер, вернулся и пошел через столовую. Створка двери покачалась, перестала. Дилси занялась тестом. Мерно вертя ручку мукосейки над хлебной доской, она вполголоса запела что-то почти без мотива и слов, монотонное, строго-печальное, а мука негустым ровным снегом сеялась на доску. В кухне стало теплеть,

внятнее забормотали миноры огня, и Дилси запела погромче, словно голос ее оттаял в тепле, — и тут из внутренних покоев опять донесся голос миссис Компсон. Дилси подняла лицо, вгляделась — как будто глаза ее, проницая потолок и стены, способны были видеть и действительно увидели старуху, вставшую на лестничной площадке и с неукоснительностью автомата повторяющую ее имя.

— О господи! — сказала Дилси. Положила мукосейку, обтерла руки о подол передника, взяла грелку со стула и, обкутав передником ручку, сняла было чайник, пустивший уже струйку пара. — Несу-несу, — отозвалась она. — Только что закипело.

Однако хозяйке требовалось теперь другое, и, за горлышко держа грелку, как неживую курицу, Дилси прошла к лестнице.

— А Ластер не с ним разве? — спросила она, задрав голову.

— Ластер и не поднимался еще к нам. Я лежу, прислушиваюсь, а его все нет и нет. Я знаю, что Ластеру не к спеху, но я все же надеялась, что он придет, вовремя оденет и уведет Бенджамина и даст Джейсону отоспаться за неделю каторжного труда.

— Хотите, чтоб спали, а сами ни свет ни заря шумите тут на весь коридор, — сказала Дилси. С усилием начала всходить по лестнице. — Я этого Ластера еще полчаса тому послала наверх.

Придерживая у горла свой халат, миссис Компсон смотрела на Дилси.

— Что ты намереваешься делать? — спросила она.

— Пойду одену Бенджи и в кухню сведу, чтоб не разбудил Джейсона и Квентину, — сказала Дилси.

— А завтрак готовить ты еще не принималась?

— Будет вам и завтрак, — сказала Дилси. — Вы лучше в постель пока ложитесь. Придет Ластер, затопит вам камин. Утро холодное нынче.

— Ох, знаю я. Мои ноги как лед, оттого я и проснулась, — сказала миссис Компсон, глядя, как Дилси подымается — медленно, долго. — Ты ведь знаешь, как сердится Джейсон, когда завтрак запаздывает.

— Не могу ж я сто вещей делать разом, — сказала Дилси. — Идите ложитесь, а то еще с вами придется мне с утра возиться.

— Раз ты решила бросить все и идти одевать Бенджамина, то надо, видно, мне самой спуститься вниз и заняться завтраком. Ты не хуже меня

знаешь, как нервирует Джейсона, когда завтрак не подан вовремя.

— А вы мне скажите сперва, кто станет есть вашу стряпню, — сказала Дилси. — Ложитесь идите, — сказала она, продолжая свой трудный подъем. Миссис Компсон стояла и смотрела, как она взбирается, одной рукой опираясь о стену, другой придерживая юбку.

— И ради того только, чтобы одеть, ты его решила разбудить? — сказала миссис Компсон.

Дилси остановилась. Нога поднята на следующую ступеньку, рука уперта в стену — и так она застыла, бесформенно и смутно обозначаясь на сером фоне окошка.

— Так он, выходит, спит еще? — сказала она.

— Спал, когда я к нему заглянула, — сказала миссис Компсон. — Но ему давно уж пора просыпаться. Он никогда не спит долее половины восьмого. Сама ведь знаешь.

Дилси не ответила. Она стояла неподвижно, держа за горлышко пустую грелку, и, хотя миссис Компсон различала Дилси лишь как округлое пятно, ей знакома была эта Дилсина поза — слегка понурая, точно у коровы под дождем.

— Тебе-то что, — сказала миссис Компсон. — Не на тебе ведь тяготеет это бремя. Ты всегда вольна

уйти. Не тебе проходится день за днем нести на плечах своих всю тяжесть. Что тебе до них всех и до уважения к памяти мистера Компсона. Я ведь знаю, ты никогда не любила Джейсона. Ты никогда и не скрывала свой нелюбви к нему.

Дилси не ответила. Медленно повернулась и, держась рукой за стену, стала спускаться, обеими ногами становясь на каждую ступеньку, как это делают маленькие дети.

— Вы уж его не будите, — сказала она. — Не входите к нему сейчас больше. Я пришлю Ластера, как только разыщу. А вы уж не будите его.

Она вернулась в кухню. Проверила плиту, затем сняла через голову передник, надела шинель, отворила наружную дверь и окинула глазами двор. Ветер нес в лицо колючую морось, но иного чего-либо движущегося в поле зрения не отмечалось. Она осторожно, как бы крадучись, сошла с крыльца и обогнула угол кухни. И в это самое время Ластер с невинным видом вышвырнул из погреба.

Дилси остановилась.

— Ты чего это затеял? — спросила она.

— Ничего, — сказал Ластер. — Мистер Джейсон велел поглядеть, откуда там вода в погребе.

— Велел — только когда? — сказала Дилси. —

Помнится, еще на Новый год.

— Я подумал — дай поищу, пока спят, — сказал Ластер. Дилси подошла к двери погреба. Ластер посторонился, и она стала вглядываться в сумрак, отдающий сырой землей, плесенью и резиной.

— Хм, — сказала Дилси. Опять посмотрела на Ластера. Он встретил ее взгляд своим — спокойным, невинным, открытым. — Что ты затеял, не знаю, но не смей делать этого. Сегодня мне с утра покоя не дают, и ты туда же? Сейчас же ступай займись Бенджи, слыхал?

— Да, мэм, — сказал Ластер и побежал к крыльцу.

— Постой, — сказала Дилси, подымаясь следом. — Пока ты под рукой, принеси-ка еще охапку дров.

— Да, мэм, — сказал Ластер. Прошел мимо нее к поленнице. Когда через минуту он снова ткнулся в дверь, опять ослепший и скрытый в своей дровяной оболочке, Дилси отворила ему и твердой рукой провела через кухню.

— Посмей только опять грохнуть, — сказала она, — Только посмей.

— А как же мне их? — сказал, пыхтя, Ластер. — Я никак иначе не могу.

— Так стой смирно и держи, — сказала Дилси,

разгружая его по чурбачку. — Что это с тобой за чудо нынче. В жизни ты больше чем полешек шесть за раз не приносил, хоть режь тебя. Ну-ка, что опять у тебя на уме? Что будешь просить, чтоб разрешила? Разве артисты не уехали еще?

— Уехали, мэм.

Она опустила в ящик последнюю чурку.

— А теперь ступай наверх за Бенджи, как велено тебе, — сказала она. — Чтоб я достряпала спокойно, чтоб больше мне не орали оттуда. Слыхал, что говорю?

— Да, мэм, — сказал Ластер и скрылся за качающейся створкой двери. Дилси подбросила дров, вернулась к тесту. И вскоре запела опять.

От плиты шло тепло, и кожа у Дилси приняла лоснящийся, сочный оттенок взамен прежнего, зяблого, ластеровского, словно припорошенного пеплом. Она двигалась по комнате, сноровисто действуя, собирая на стол. На стене над буфетом тикали кабинетные часы, различимые лишь вечером при лампочке, но и вечером многозначительно загадочные из-за недостающей стрелки; заскрежетав, как бы прокашлявшись, они пробили пять раз.

— Восемь часов, — проговорила Дилси. Оторвавшись от дела, подняла голову, прислушалась.

Но в доме ни звука, лишь часы да огонь. Она открыла духовку и, нагнувшись к противню с булочками, насторожилась — по лестнице спускался кто-то. Шаги прошли столовую, дверь отворилась, и явился Ластер, а за ним — мужчина, крупное тело которого казалось странно развинченным, рыхлым, расклеенным. Кожа его была землиста, безволоса; одутловатый, он ступал, косолапо шаркая подошвами на манер ученого медведя. Белесые тонкие волосы гладко, челочкой, зачесаны на лоб, как на старинных детских фотографиях. Глаза чистые, нежно-васильковые; толстые губы обвисли слюняво.

— Он не озяб? — спросила Дилси. Вытерла пальцы о передник и коснулась его руки.

— Он — не знаю, а я зверски, — сказал Ластер. — На пасху всегда холодно. Прямо как закон. Мис Кэлайн сказала про грелку, что если вам некогда, то она обойдется.

— Ах ты, господи, — сказала Дилси. Подвинула стул в угол между плитой и ящиком для дров. Мужчина пошел и сел послушно. — Поди-ка поищи в столовой, я там где-то ее положила, — сказала Дилси. Ластер принес грелку. Дилси налила, подала ему. — Отнеси скорей, — сказала она. — И посмотри, не проснулся там Джейсон.

Скажи им, что завтрак готов.

Ластер вышел. Бен сидел у плиты. Он сидел вяло, неподвижно и, зыбким синим взором глядя на занятую Дилси, только головой все поматывал вверх-вниз. Вернулся Ластер.

— Встал уже, — сказал он. — Мис Кэлайн велела подавать на стол. — Он подошел к плите, протянул над ней руки ладонями книзу. — Причем встал с левой ноги.

— А что там с Джейсоном такое? — спросила Дилси Да отойди ты от плиты. Ничего же делать не даешь мне.

— Я замерз, — сказал Ластер.

— А не надо было в погребе торчать, — сказала Дилси. — Так на кого там Джейсон?

— Да на меня с Бенджи, будто мы окно разбили в его комнате.

— А что, у него окно разбито?

— Разбито, говорит, — сказал Ластер. — И меня виноватит.

— Как же ты мог, когда у него дверь день и ночь заперта?

— А будто я камни в окно кидал.

— А оно правда твоя работа?

— Нет, мэм, — сказал Ластер.

— Только не лги мне, парень, — сказала Дилси.

— Да не разбивал я, — сказал Ластер. — Спросите хоть у Бенджи. Не видал я окон, что ли?

— А кто же тогда разбил? — сказала Дилси. — Это он нарочно подымает шум, чтоб разбудить Квентину, — сказала она, вынимая из духовки противень.

— Не иначе, — сказал Ластер. — Чокнутый они народ. А хорошо, что я не Компсон.

— Тебя послушать только, — сказала Дилси. — А я тебе, парень, скажу, что в тебе сидит компсоновский бес не хуже, чем в любом из них. Правду говори: разбил окно?

— Да на что мне его разбивать?

— А на что ты творишь другие свои неподобства? — сказала Дилси. — Присмотри за ним, чтоб снова руку не обжег, а я принесу тарелку.

Пошла в столовую, погремела там посудой, затем вернулась, поставила тарелку на кухонный стол, наполнила ее. Бен глядел, пуская слюнки, нетерпеливо поскуливая.

— Ну вот, голубок, — сказала Дилси. — Вот и завтрак тебе. Захвати его стул, Ластер. — Ластер принес стул, и Бен сел, слюняво похныкивая. Дилси повязала ему тряпку на шею, концом ее утерла губы. — И хоть раз постарайся не заляпать ему одежу, — сказала она, вручая Ластеру ложку.

Бен замолчал. Глядел, как ложка поднимается ко рту. Казалось, даже нетерпение в нем связано по рукам и ногам, даже голод неосознан, бессловесен. Ластер кормил его с небрежной ловкостью. Мысли Ластера явно витали где-то; порой внимание ненадолго возвращалось, тогда он делал обманное движение ложкой, и губы Бена смыкались впустую. — Левая рука Ластера лежала на спинке стула, поигрывая, потрагивая ее пальцами, словно пробуя добыть из мертвой пустоты неслышную мелодию. Позабыв о розыгрышах ложкой, он даже разыграл по неживому дереву беззвучное и сложное арпеджио, но Бен хныкнул, и кормление продолжилось.

В столовой Дилси накрывала на стол. Затем прозвенел чистым звуком колокольчик в ее руке. Послышались шаги спускающихся миссис Компсон и Джейсона, донесся голос Джейсона, и Ластер повел яркими белками глаз, прислушиваясь.

— Само собой, — говорил Джейсон. — Натурально, не они разбили. От перемены погоды раскололось.

— Мне непонятно, каким образом оно могло разбиться, — говорила миссис Компсон. — Уезжая в город, ты ведь запираешь свою комнату, и так она и остается на весь день. Мы никто туда не

входим, разве что по воскресеньям для уборки. Я не хочу, чтобы ты заподозрил, будто я способна непрошеною войти в твою комнату или другим позволить это.

— Я вас, кажется, не обвиняю, — сказал Джейсон.

— Мне незачем туда входить, — сказала миссис Компсон. — Я не привыкла вторгаться непрошено. Будь даже у меня ключ, и тогда бы я на порог не ступила.

— Да, — сказал Джейсон. — Я знаю, что ваши ключи не подходят. Для того и замок менял. Но меня другое интересует — я хочу знать, кто разбил окно.

— Ластер говорит, не разбивал, — сказала Дилси.

— Без него знали, — сказал Джейсон. — А Квентина где? — спросил он.

— Там же, где каждое утро воскресное, — сказала Дилси. — Да что за бес в вас вселился последние дни?

— Ну так вот, придется нам этот порядок поломать, — сказал Джейсон. — Ступай наверх, скажи ей, что завтрак готов.

— Вы уж ее не трожьте, Джейсон, — сказала Дилси. — Она всю неделю к завтраку встает, а уж

в воскресенье мис Кэлайн разрешает ей поспать подольше. Будто вы не знаете.

— И целая кухня нигеров будет сидеть и ждать, чтоб ее обслужить, — сказал Джейсон. — К сожалению, этой роскоши мы себе не в состоянии позволить. Ступай позови ее.

— Да никому не надо ни ждать, ни обслуживать, — сказала Дилси. — Я ее завтрак ставлю в духовку, и она сама…

— Ты слышала, что я тебе велел? — сказал Джейсон.

— Слышала, — сказала Дилси. — Когда вы дома, только вас одного и слыхать. Если не Квентину пилите, то маму вашу, а не маму, так Ластера с Бенджи. Хоть бы вы его усовестили, мис Кэлайн.

— Ты лучше делай, как велят, — сказала миссис Компсон. — Он ведь у нас глава семьи. Он вправе требовать от нас, чтобы воля его уважалась. Я стараюсь исполнять ее, а уж если я, то ты и подавно можешь.

— Но зачем это надо — подымать Квентину только потому, что он сердитый и ему так хочется? — сказала Дилси. — Или, по-вашему, она окно ваше разбила?

— Не додумалась еще, а вообще-то она способна, — сказал Джейсон, — Ты ступай и делай, что

велят.

— А и поделом бы, — сказала Дилси, идя к лестнице. — Как вы дома, так житья ей от вас ни минутки.

— Молчи, Дилси, — сказала миссис Компсон. — Не нам с тобой учить Джейсона. Временами думается мне, что он не прав, но и тогда ради всех вас я стараюсь выполнять его желания. А уж если я нахожу в себе силы спуститься к столу, то Квентина и подавно может.

Дилси вышла. Начала всходить по лестнице. Слышно было, как длится ее восхождение.

— Первоклассная у вас прислуга, — сказал Джейсон, накладывая в тарелку матери, потом себе. — Но хоть один не паралитик Нигер был у вас все-таки когда-нибудь? На моей памяти не было.

— Я вынуждена им потакать, — сказала миссис, Компсон. — Я ведь всецело от их услуг завишу. Если бы только мне силы. Как бы я желала быть здоровой. Как бы желала сама выполнять всю их работу по дому. Хоть бы это бремя сняла с твоих плеч.

— И в отменном бы свинушнике мы жили, — сказал Джейсон. — Веселей там, Дилси, — крикнул он.

— Я знаю, — сказала миссис Компсон, — ты за

то на меня сердишься, что я разрешила им всем пойти сегодня в церковь.

— Куда пойти? — сказал Джейсон. — Разве этот чертов балаган еще в городе?

— В церковь, — сказала миссис Компсон. — У черномазеньких нынче пасхальная служба. Я еще две недели назад дала Дилси разрешение.

— Другими словами, обед сегодня будем есть холодный, — сказал Джейсон. — Или вообще останемся без обеда.

— Я знаю, что выхожу виновата, — сказала миссис Компсон. — Знаю, что ты возлагаешь вину на меня.

— За что? — сказал Джейсон. — Христа как будто не вы воскрешали.

Слышно было, как Дилси взошла на верхнюю площадку, медленно прошаркали ее шаги над головой.

— Квентина, — позвала она. Тут же Джейсон опустил нож и вилку, и оба, сын и мать, застыли друг против друга в одинаковых, ждущих позах — он, холодный и остро глядящий карими с черной каемкой глазамикамушками, коротко остриженные волосы разделены прямым пробором, и два жестких каштановых завитка рогами на лоб пущены, как у бармена с карикатуры; и

она, холодная и брюзгливая, волосы совершенно белые, глаза же с набрякшими мешками, оскорбленно-недоумевающие и такие темные, будто сплошь зрачок или начисто лишены его.

— Квентина, — звала Дилси. — Вставай, голубушка. Тебя завтракать ждут.

— Я не могу понять, как оно разбилось, — сказала миссис Компсон. — Ты уверен, что это случилось вчера, а не раньше? Дни ведь стояли теплые, ты мог и не заметить. Тем более — вверху, за шторой.

— Последний раз вам повторяю, что вчера, — сказал Джейсон. — По-вашему, я своей комнаты не знаю? По-вашему, я могу в ней неделю прожить и не заметить, что в окне дыра, куда свободно руку просунуть… — Голос его пресекся, иссяк, и он вперился в миссис Компсон глазами, из которых на миг улетучилось все выражение. Глаза его словно дыханье затаили, а мать сидела, обратясь к нему своим обрюзглым и брюзгливым лицом, и взгляд ее был нескончаем, вместе и ясновидящ и туп. А Дилси между тем звала:

— Квентина, милая. Не играй со мной в прятки. Иди, милая. Они там ждут.

— Непостижимо, — сказала миссис Компсон. — Как будто в дом пытались проникнуть

взломщики… — Джейсон вскочил. Грохнул опрокинувшийся стул. — Что ты… — проговорила миссис Компсон, уставясь на сына, но он ринулся мимо нее на лестницу, взбежал наверх в несколько прыжков. Навстречу шла Дилси. Лицо Джейсона было в тени, и Дилси сказала:

— Она там дуется. Мама ваша еще и не отперла… — Но Джейсон пробежал мимо нее и — коридором, к одной из дверей. Квентину окликать не стал. Схватился за ручку, подергал, постоял, держась за ручку и чуть склонив голову, точно прислушиваясь к чему-то, не в комнатке происходящему за дверью, а где-то гораздо удаленней и уже расслышанному им. Вид у него был человека, который наклоняется, прислушивается затем лишь, чтобы разуверить себя в том, что уже внятно прозвучало. А за спиной у него миссис Компсон подымалась по лестнице и звала его. Затем она увидела Дилси и заладила «Дилси» взамен.

— Говорю ж вам, дверь еще не отперта, — сказала Дилси.

Он повернулся на голос и подскочил к Дилси, но не с криком, а с негромким и деловитым вопросом:

— Ключ у нее? То есть при ней он, или придется

ей еще…

— Дилси, — звала миссис Компсон с лестницы.

— Чего ключ? — не поняла Дилси. — Погодите, она…

— От комнаты от этой ключ, — сказал Джейсон. — В кармане он у нее сейчас? У матушки. — Тут он увидел миссис Компсон, обежал к ней. — Ключ дайте, — сказал. И зашарил по карманам ее заношенного черного халата. Она не давалась.

— Джейсон, Джейсон! Вы с Дилси, я вижу, хотите, чтобы я слегла снова, — говорила она, отталкивая шарящие руки. — Неужели даже в воскресенье не дадите мне покоя?

— Ключ, — сказал Джейсон, продолжая шарить. — Дайте сюда. — Оглянулся, словно в надежде, что дверь распахнется сама еще до того, как он вернется к ней с ключом, которого нет.

— Дилси! — звала на помощь миссис Компсон, обеими руками зажимая карманы.

— Дай же ключ, дура старая! — крикнул вдруг Джейсон. Выдернул у нее из кармана огромную связку ржавых, точно у средневекового тюремщика, ключей на железном кольце и побежал обратно к двери, а обе женщины — за ним.

— Дже-ейсон! — сказала миссис Компсон. —

Дилси, ему без меня и не найти там нужного ключа… Я никому не разрешаю брать мои ключи, — запричитала она слезно.

— Тш-ш, — сказала Дилси. — Он ей ничего не сделает.

Я не допущу его.

— Но чтобы в воскресное утро, в моем доме, — сказала миссис Компсон. — Когда я так старалась воспитать их в христианском духе. Джейсон, дай я найду этот ключ. — Взяла его за руку. Затем стала было силой отнимать, но он движением локтя отбросил ее, покосился холодным и страждущим глазом и опять занялся дверью и непослушными ключами.

— Тихо! — сказала Дилси. — Ох, Джейсон.

— Случилось ужасное что-то, — запричитала снова миссис Компсон. — Я знаю, знаю, Джейсон, — снова уцепилась она за него — Она даже не дает мне найти ключ от комнаты в моем собственном доме!

— Ну, ну, — сказала Дилси. — Что может случиться? Я с вами. Я ее не дам ему в обиду. Квентина, — громко позвала она. — Не бойся, голубка, я здесь.

Дверь отомкнулась, растворилась внутрь. Джейсон постоял на пороге с момент, заслоняя

собой комнату, затем отступил в сторону.

— Входите, — сказал он сипловатым, неотчетливым каким-то голосом. Они вошли. Комната была — не девичья, ничья. И слабый запах дешевой косметики, две-три дамские вещицы и прочие следы неумелых и гиблых попыток сделать комнату уютной, женской лишь усугубляли ее безликость, придавая ей мертвенно-стереотипную временность номера в доме свиданий. Постель не смята. На полу — грязная сорочка дешевого шелка, не в меру ярко-розового; из незадвинутого ящика комода свисал чулок. Окно распахнуто. Груша росла там у самого дома. Она была в цвету, ветви скреблись и шуршали о стену, и вместе с пылинками мороси в окно несло грушевым печальным ароматом.

— Ну вот, — сказала Дилси. — Говорила же я, что ничего с ней не случилось.

— Ничего? — сказала миссис Компсон. Дилси вошла вслед за ней, тронула за руку.

— Идите ложитесь, — сказала она. — Я через десять минут разыщу вам ее.

Миссис Компсон стряхнула Дилсину руку.

— Ищи записку, — сказала она. — Квентин тоже перед этим оставил записку.

— Ладно, — сказала Дилси — Буду искать. А вы

к себе идите.

— Я знала, что это случится, с той минуты знала, как ей дали это имя, — сказала миссис Компсон. Подошла к комоду, начала перебирать валявшееся там — склянки от духов, коробочки пудры, огрызок карандаша, одноногие ножницы, а под ними — штопаный шарф, весь в пудре и пятнах румян. — Записку ищи, — повторила она.

— Хорошо, хорошо, — сказала Дилси. — Вы идите.

Я и Джейсон — мы разыщем. А вы к себе идите.

— Джейсон, — сказала миссис Компсон. — Где Джейсон? — Пошла из комнаты, Дилси следом. Прошли по коридору к другой двери. Она была заперта. — Джейсон, — позвала миссис Компсон через дверь. Ответа не было. Миссис Компсон повертела ручку, снова позвала. Но ответа опять не последовало: Джейсон в это время вышвыривал без оглядки из глубокого стенного шкафа одежду, туфли, чемодан. Вот он показался из шкафа с аккуратно выпиленным куском деревянной обшивки в руках, положил его на пол, скрылся в шкафу и явился оттуда опять — с металлической шкатулкой. Поставил ее на кровать, воззрился на взломанный замок, порывшись, зачем-то извлек из кармана ключи, отделил один от связки,

постоял с этим ключиком в пальцах, глядя на замок, спрятал ключи в карман, бережно высыпал содержимое шкатулки на кровать. Все так же бережно разобрал бумаги, подымая каждую и встряхивая. Опрокинул шкатулку вверх дном, встряхнул ее тоже, не спеша вложил в нее бумаги, еще постоял со шкатулкой в руках, нагнув голову и глядя на сломанный замок. За окном пролетела, провихрила стайка соек, ветер свеял и унес их крики, автомобиль проехал где-то, замер. За дверью мать снова позвала его, но он не шелохнулся. Он слышал, как Дилси увела ее и как закрылась в коридоре дверь. Отнес шкатулку на место в тайник, покидал обратно выброшенные вещи и пошел вниз к телефону. Прижав трубку к уху, он стоял и ждал, пока соединят. Дилси сошла сверху, поглядела на него и прошла, не останавливаясь.

Соединили.

— Говорит Джейсон Компсон, — сказал он так хрипло и невнятно, что пришлось повторить. — Джейсон Компсон, — сказал он опять, совладав с голосом. — Готовьте полицейскую машину, через десять минут едем, с вами или с вашим помощником. Я сейчас приеду… Что?.. Ограбление. В моем доме. Знаю кто… Ограбление, говорят вам. Машину готовьте. Что? А за что вам платят?

Вы охраняете правопорядок… Да, через пять минут буду. Приготовьте машину, едем сейчас же вдогон. В противном случае подаю губернатору жалобу.

Он со стуком повесил трубку, прошел через столовую, мимо тарелок с почти не тронутой, уже остывшей едой, вошел в кухню. Дилси наливала грелку кипятком. Бен сидел незамутненный, безмятежный. Рядом с ним зорко — ушки на макушке — поглядывал Ластер. Он что-то ел. Джейсон направился во двор.

— Вы же не завтракавши, — сказала Дилси. Джейсон молча шел к двери. — Идите дозавтракайте, Джейсон. — Он вышел, хлопнув дверью. Ластер встал, подошел к окну, выглянул.

— Ух ты! — сказал он. — Что у них там? Он мис Квентину побил, да?

— Помалкивай знай, — сказала Дилси. — Только разбудоражь мне Бенджи, я тебя самого побью. Сидите тут с ним тихо-мирно, пока не вернусь. — Навинтив крышечку на грелку, она вышла. Им слышно было, как она подымалась по лестнице, как Джейсон провел машину мимо дома со двора. И в кухне наступила тишина, только чайник сипел и часы тикали.

— А спорим, — сказал Ластер. — Спорим, он

побил ее. Спорим, он ей дал по голове и теперь за доктором поехал. На что хочешь поспорю. — Часы потикивали многозначительно — словно это слышался бескровный пульс запустевающего дома; вот они зажужжали, прокашлялись и пробили шесть раз. Бен поднял глаза к часам, посмотрел затем на круглый, как ядро, затылок Ластера в окне и опять закивал головой, заслюнил. Хныкнул.

— Заткнись, придурок, — сказал Ластер не оборачиваясь. — А пожалуй, раз такое, ни в какую церковь нас сегодня не потащат. — Но, сидя обмякло на стуле, свесив вялые ручищи меж колен, Бен тихо постанывал. Внезапно он заплакал — мычаньем неспешным, бессмысленным, долгим. — Тихо, — сказал Ластер. Повернулся к Бену, замахнулся. — Хочешь, чтоб выпорол? — Но Бен глядел на него, при каждом выдохе протяжно мыча. Ластер подошел, качнул его, прикрикнул: — Замолчи сейчас же! На вот, смотри… — Поднял Бона со стула, подтащил стул к устью плиты, открыл дверцу, пихнул Бена обратно на стул — точно буксир, орудующий неуклюжей громадиной танкером в узком доке. Бен сел, лицом к алому зеву. Замолчал. Опять слышны стали часы, затем медленная поступь Дилси на лестнице.

Она вошла, и Бен захныкал снова. Потом громко замычал.

— Ты зачем обижал его? — сказала Дилси. — И без того сегодня, а тут ты еще.

— Не трогал я его нисколечко, — сказал Ластер. — Это мистер Джейсон его испугал, вот и ревет. Что, он там не насмерть зашиб мис Квентину, а?

— Тш-ш-ш, Бенджи, — сказала Дилси. Бен затих. Дилси подошла к окну, глянула на двор. — Перестал, значит, дождь? — спросила.

— Да, мэм, — сказал Ластер. — Давно перестал.

— Тогда идите погуляйте от греха, — сказала Дилси. — Я сейчас только утихомирила мис Кэлайн.

— А в церковь как же — идти сегодня? — спросил Ластер.

— Потерпи — узнаешь. Гуляй с ним подальше от дома, пока не кликну.

— А на луг можно? — спросил Ластер.

— Можно. Лишь бы не у дома. А то у меня уже сил нет.

— Хорошо, мэм, — сказал Ластер. — Куда мистер Джейсон поехал, — а, мэмми?

— Тоже твое дело, — сказала Дилси. Примялась убирать со стола. — Тш-ш, Бенджи. Сейчас пойде-

те с Ластером на волю, в игры играть.

— Что он сделал мис Квентине — а, мэмми? — спросил Ластер.

— Ничего не сделал. Ну, ступайте отсюда.

— А спорим, ее и дома нету, — сказал Ластер.

Дилси поглядела на него.

— А ты откуда знаешь, что нету?

— Мы с Бенджи видели, как она вчера вечером из окна спускалась. Правда, Бенджи?

— Видели? — сказала Дилси, глядя на Ластера.

— Да она каждый вечер, — сказал Ластер. — Прямо по той груше и слазит.

— Не врал бы ты мне, парень, — сказала Дилси.

— Я не вру. Спросите хоть у Бенджи.

— Тогда почему ж ты молчал?

— А оно не мое дело, — сказал Ластер. — Дурак я, что ли, мешаться к белым в дела ихние. Ну, топай, Бенджи, поехали на двор.

Они вышли. Дилси постояла у стола, затем убрала из столовой посуду, позавтракала, прибрала в кухне. Сняла с себя передник и повесила на гвоздь, подошла к лестнице, прислушалась — сверху ни звука. Надела шинель, шляпу и пошла в свою хибару.

Дождь кончился. Дуло теперь с юго-востока,

голубели плывущие разрывы туч. За деревьями, крышами, шпилями города солнце белесым лоскутом крыло гребень холма, снова меркло. Приплыл по ветру удар колокола, и его, как по сигналу, подхватили и завторили другие колокола.

Дверь хибары открылась, показалась Дилси, снова в бурой накидке, пурпурном платье, черной соломенной шляпе, но теперь без платка — и в грязновато-белых перчатках до локтей. Она вышла во двор, позвала: «Ластер!» Помедлив, направилась к дому, обогнула угол, держась поближе к стене, и заглянула в дверь погреба: Бен сидит на ступеньках. Перед ним, на сыром полу на корточках — Ластер. Левой рукой Ластер упирает стоймя в пол пилу, слегка изогнув, напружинив ее, в правой же руке у него стертый деревянный пест, который уже тридцать с лишним лет служит Дилси для приготовления печенья. Вот ударил сбоку по пиле. Пила лениво дзинькнула и смолкла с безжизненной моментальностью застыла под рукой Ластера тонкой, ровной дугой полотнища. Выгнулась, немая и непостижимая.

— Он точка в точку так делал, — сказал Ластер. — Видно, мне биту надо другую.

— Так вот ты чем занят, — сказала Дилси. — Дай-ка сюда пест.

— Ничего с ним не поделалось, — сказал Ластер.

— Дай его сюда, — сказала Дилси. — Но сперва поставь пилу на место.

Он поставил пилу, принес пест. И снова раздался плач Бена, звук безнадежный и длинный. Шум. Ничего более. Как если бы — игрой соединения планет — все горе, утесненье всех времен обрело на миг голос.

— Слышите, мычит, — сказал Ластер. — Вот так он все время, что мы во дворе. Не знаю, что это сегодня с ним.

— Веди его сюда, — сказала Дилси.

— Идем, Бенджи, — сказал Ластер. Сошел по ступенькам, взял за руку. Бен пошел покорно, плач его подобен был пароходным сиплым гудкам, чей медленный звук возникает и гаснет как бы с опозданием.

— Сбегай за его шапкой, — сказала Дилси. — Только тише, не потревожь мис Кэлайн. Ну, быстрей. И так замешкались.

— Она все равно услышит Бенджи, если не уймете, — сказал Ластер.

— Выйдем со двора, он и уймется, — сказала Дилси. — Чует он. Потому и плачет.

— Чует — а что чует, мэмми? — спросил

Ластер.

— Ты беги за шапкой, — сказала Дилси. Ластер ушел. Дилси с Беном остались стоять в дверях погреба, Бен ступенькой пониже. Ветер гнал по небу облачные клочья, их быстрые тени скользили убогим огородом, поверх щербатого забора, через двор. Дилси медленно, мерно гладила Бена по голове, разглаживала челку на лбу. Он плакал ровно и неторопливо. — Тш-ш-ш, — сказала Дилси. — Тихо. Еще минутка — и уйдем отсюда. Ну, тихо же. — Бен плакал спокойно и ровно.

С матерчатой шапкой в руке вернулся Ластер — в новой жесткой соломенной шляпе с цветной лентой. Шляпа эта резко обрисовывала, высветляла, как юпитером, углы и грани черепа. Столь своеобразна была его форма, что на первый взгляд казалось, будто шляпа не на Ластере надета, а на ком-то, стоящем вплотную за ним. Дилси покосилась на шляпу.

— А почему не в старой своей? — сказала она.

— Я не мог ее найти, — сказал Ластер.

— Так я и поверила тебе. Ты ее с вечера еще небось запрятал, чтоб не найти было. Новую шляпу решил загубить.

— Ой, мэмми, — сказал Ластер. — Дождя ж не будет.

— Как ты можешь знать? Ступай старую одень, а эту спрячь.

— Ой, мэмми.

— Тогда зонтик возьми.

— Ой, мэмми.

— Одно из двух, — сказала Дилси. — Или старую шляпу, или зонтик. Мне все равно что.

Ластер ушел в хибару. Бен ровно плакал.

— Идем, — сказала Дилси. — Они нас догонят. Пойдем пение послушаем. — Они обогнули дом, пошли по аллее к воротам. — Тш-ш, — время от времени повторяла Дилси. Дошли до ворот. Дилси открыла калитку. Позади в аллее показался Ластер с зонтиком. Рядом с ним шла женщина. — Вот и они, — сказала Дилси. Вышла с Беном за ворота. — Ну, теперь уймись. — Бен замолчал. Ластер и Фрони, мать Ластера, поравнялись с ними. На Фрони — худощавой, с плоским приятным лицом — была украшенная цветами шляпа и ярко-голубое шелковое платье.

— Это платье, что на тебе, — оно твой шестинедельный заработок — сказала Дилси. — А если дождь польет, что ты тогда будешь делать?

— Мокнуть буду, — сказала Фрони. — Моему приказу дождь пока не подчиняется.

— Мэмми всегда думает, что дождь польет, —

сказал Ластер.

— Если я не подумаю, то не знаю, кто еще об вас подумает, — сказала Дилси. — Ну пошли, а то опаздываем.

— Нынче проповедь будет говорить преподобный Шегог, — сказала Фрони.

— Да? — сказала Дилси. — А кто он такой?

— Из Сент-Луиса, — сказала Фрони. — Большой мастак на проповеди.

— Хм, — сказала Дилси. — Проповедник нужен такой, чтоб научил страху божьему эту нашу нынешнюю непутевую молодежь.

— Преподобный Шегог будет, — сказала Фрони. — Объявлено было.

Они шли улицей. Во всю ее нешумную длину нарядными группами двигались, направляясь в церковь, белые — под ветровыми колоколами, в переменчивых проблесках солнца. Ветер налетал порывами с юго-востока, сырой и холодный после недавних теплых дней.

— Вы бы не брали его в церковь, мэмми, — сказала Фрони. — А то меж людей разговоры.

— Меж каких это людей? — спросила Дилси.

— Да уж приходится выслушивать, — сказала Фрони.

— Знаю я, какие это люди, — сказала Дилси. —

Шваль белая, вот кто. Мол, для белой церкви — он нехорош, а негритянская — для него нехороша.

— Так ли, этак ли, а люди говорят, — сказала Фрони.

— А ты их ко мне посылай, — сказала Дилси. — Скажи им, что господу всемилостивому неважно, есть у него разум или нет. Это только для белой швали важно.

Поперечная улочка повела их вниз и легла грунтовою дорогой. По обе стороны ее, под откосами насыпи, широко стлалась низина, усеянная хибарками, обветшалые крыши которых были вровень с полотном дороги. Дворики захламлены битым кирпичом, обломками штакетин, черепками. Вместо травы — бурьян, а из деревьев попадались здесь акация, платан, тутовник, пораженные тем же тлетворным оскудением, что и все кругом лачуг, — и даже зелень на деревьях этих казалась всего-навсего печальной и стойкой памяткою сентября, словно весна и та их обделила, оставила питаться лишь густым запахом негритянской трущобы, которого ни с чем не спутать.

Адресуясь большей частью к Дилси, обитатели лачуг окликали их с порогов.

— А, сестра Гибсон! Как живется-можется с утра

сегодня?

— Ничего. А вы как?

— Пожаловаться не могу, спасибо.

Негры выходили из хибар, пологой насыпью подымались на дорогу — мужчины в солидных и скромных коричневых, черных костюмах, с золотой цепочкой от часов по жилету, иные — с тросточкой; кто помоложе — в дешевом броско-синем или полосатом, в залихватских шляпах; женщины шуршали платьями чопорновато, а дети шли в поношенной, купленной у белых одежонке и посматривали на Бена со скрытностью ночных зверьков.

— Слабо тебе подойти к нему дотронуться.

— А вот и не слабо.

— Спорим, не дотронешься. Спорим, побоишься.

— Он на людей не кидается. Он дурачок просто.

— А дурачки как будто не кидаются?

— Этот — нет. Я уже пробовал.

— А спорим, сейчас побоишься.

— Так ведь мис Дилси смотрит.

— Ты и так бы побоялся.

— Он не кидается. Он просто дурачок.

Люди постарше то и дело заговаривали с Дилси,

но сама она отвечала только совсем уж старикам, с прочими же разговор вести предоставляла Фрони.

— Мэмми с утра нынче нездоровится.

— Это не годится. Ну ничего, преподобный Шегог ее вылечит. Он даст ей облегченье и развязку.

Дорога пошла в гору, и местность впереди стала похожа на декорацию. Окаймленный поверху дубами, открылся обрывистый разрез красной глины, дорога вклинилась в него и кончилась, как обрубили. А рядом траченная непогодами церквушка взнесла хлипкую колокольню, словно намалеванная, и весь вид был плосок, лишен перспективы, точно раскрашенный картонный задник, установленный по самому краю плоской земли, на солнечном и ветровом фоне пространства, апреля и утра, полного колоколов. Сюда-то и тек народ с праздничной степенностью. Женщины и дети проходили внутрь, а мужчины, собираясь кучками, негромко толковали меж собой при входе, покуда не отзвонил колокол. Тогда и они вошли.

Внутренность была украшена необильными цветами с грядок и изгородей да полосками цветной жатой бумаги, пущенными сверху и по

стенам. Над кафедрой подвешен видавший виды рождественский колоколец. На кафедральном возвышении — пусто, но хор уже на месте и обмахивается веерами, невзирая на прохладу.

Большинство пришедших в церковь женщин, сгрудясь в сторонке, занято было разговором. Но вот звякнул колоколец, они разошлись по местам, и с минуту паства сидела и ждала. Колоколец звякнул вторично. Хор встал, запел, и все головы, как одна, повернулись к входящим. В упряжи из белых лент и цветов шестерка малышей — четыре девочки с тряпичными бантиками в тугих косичках и два под машинку остриженных мальчика — подвигалась по проходу, а позади детей шли друг за другом двое. Шедший вторым был внушителен размерами, светло-кофеен лицом, сановит, в белом галстуке и сюртуке. Голова его была величественна и глубокодумна, сочными складками выпирала холка из воротника. Но он был здешний пастор, и головы остались по-прежнему обращены назад, в ожидании приезжего священнослужителя, и лишь когда хор смолк, все поняли, что проглядели его; когда же тот, проследовавший первым, взошел на возвышение, все так же держась впереди пастора, — смутный ропот, вздох разнесся, звук удивления и разоча-

рования.

Приезжий был щуплый человечек в потертом аляпововом пиджачке. Личико у него было черное и сморщенное, как у престарелой обезьянки. Опять запел хор, — малыши встали все шестеро и пропели безголосо, писклявыми испуганными шепоточками, — и все это время прихожане в какой-то оторопи глядели на замухрышку, присевшего рядом с монументальной тушей пастора и от этого казавшегося еще щуплей и захудалой. Все так же оторопело, не веря глазам, сидели они и слушали, как пастор, встав, представлял гостя собравшимся в сочных и раскатистых тонах, елейная торжественность которых лишь подчеркивала весь мизер приезжего.

— И стоило везти такое к нам аж из Сент-Луиса, — шепнула Фрони.

— Что ж, я видывала и почудней орудия божьи, — ответила Дилси. — Тш-ш-ш, — зашептала она Бену. — Они запоют сейчас снова.

Гость поднялся и заговорил, и речь его звучала как речь белого. Голос у него оказался бесстрастный, холодный, несоразмерно зычный. И они прислушались — из любопытства, как если бы мартышка вдруг заговорила. Стали следить за ним, как за канатоходцам. Даже невзрачность

его позабыли — так виртуозен был этот бег, балансировка и скольженье по ровной и холодной проволоке голоса; и когда наконец, плавно и стремительно сойдя на низы, он смолк, стоя у аналоя, положив на него поднятую на уровень плеча руку, а обезьяньим своим тельцем застыв, как мумия или как опорожненный сосуд, слушатели вздохнули и пошевелились, точно пробуждаясь от сна, приснившегося всем им сообща. Позади кафедры хор обмахивался веерами не переставая. Дилси прошептала: «Тш-ш. Запоют, запоют сейчас».

И тут раздался голос:

— Братие.

Проповедник не изменил позы. Не снял с аналоя руки, так и стоял недвижно, пока голос затухал в гулких отзвуках меж стенами. Как день от ночи, разнился этот голос от прежнего; печалью тембра напоминая альтгорн и западая в сердца их, он заново звучал там, когда уже и эхо кончило накатывать, затихло.

— Братие и сестрие, — раздалось снова. Проповедник убрал руку, заходил взад-вперед пред аналоем — убогая, в три погибели скрюченная фигурка человека, давно и наглухо замуровавшегося в борьбу с беспощадной землей. — Во мне

жива память и кровь агнца божьего! — Сгорбясь, заложив руки за спину, он упорно вышагивал из угла в угол помоста под колокольцем и бумажными фестонами. Он был как стертый обломок утеса, снова и снова захлестываемый, крушимый волнами собственного голоса. Казалось, он телом своим питает этот голос, что, как упырь, впился в него и поглощает на глазах у них всех, и вот уже не осталось ни его, ни их, ни даже голоса, а одни лишь сердца говорили с сердцами в поющих ладах, и в словах уже не было нужды, — и когда он застыл, заведя руку на аналой для опоры, задрав обезьянье лицо, точно распятый в светлой муке, преодолевшей, лишившей всякого значения неказистость его и убогость, — протяжный выдох-стон исторгся из слушателей, и чье-то сопрано: «Да, Иисусе!»

По небу рваными облаками плыл день, и тусклые окна зажигались и меркли в призрачных отсветах. Автомобиль проехал, пробуксовывая по песку дороги, и затих вдалеке. Дилси сидела выпрямившись, положив руку Бену на колени. Две слезы проползли по ее запавшим щекам, изморщиненным годами, жертвенностью, самоотреченьем.

— Братие, — произнес проповедник трудным

шепотом, не двигаясь.

— Да, Иисусе! — послышался тот же высокий женский голос, приглушенный покамест.

— Братья и сестры! — вновь зазвучали грустные альтгорны. Он распрямился, воздел обе руки. — Во мне жива память про божье ягня и про кровь его пролитую! — Они не заметили, когда именно речь его, интонация, выговор стали негритянскими, — они лишь сидели и слегка раскачивались, и голос вбирал их в себя без остатка.

— Когда долгие, холодные… О братья, говорю вам, когда долгие, холодные… Я, бедный грешник, вижу свет и вижу слово! Рассыпались в прах колесницы египетские, ушли поколенья. Жил богач — где он теперь, о братья? Жил бедняк — где он теперь, о сестры? Говорю вам — горе будет вам без млека и росы спасенья древлего, когда холодные, долгие годы пройдут и минут!

— Да, Иисусе!

— Говорю вам, братья, и говорю вам, сестры, — придет срок для каждого. Скажет бедный грешник: допустите меня лечь у Господа, дозвольте сложить мою ношу. Что же спросит Иисус тогда, о братья? О сестры? А жива в тебе, спросит, память про божье ягня и про кровь его? Ибо негоже мне небеса отягощать сверх меры!

Он порылся в пиджаке, достал носовой платок, утер пот с лица. В комнате стоял негромкий, дружный гул: «Мммммммммммм!» Высокий женский голос восклицал: «Да, Иисусе! Иисусе!»

— Братья! Взгляните на малых детей, что сидят вон там. Когда-то и Иисус был как они. Его мэмми знала материнскую радость и муку. Она, может, на руках усыпляла его вечерами, и ангелы пели ему колыбельную; и, может, выглянув из двери, видела она, как проходят полисмены-римляне. — Проповедник вышагивал взад-вперед, отирая потное лицо. — Внимайте же, братья! Я вижу тот день. Мария сидит на пороге, и на коленях у нее Иисус, младенец Иисус. Такой же, как вон те малые дети. Я слышу, как ангелы баюкают его, поют мир и славу в вышних, вижу, как дитя закрывает глаза, и вижу, как Мария всполохнулась, вижу лица солдат: «Мы несем смерть! Смерть! Смерть младенцу Иисусу!» Я слышу плач и стенанье бедной матери — у нее отымают спасение и слово божье!

— Мммммммммммммммм! Исусе! Младенче Исусе! — и еще голос:

— Вижу, о Исусе! Вижу! — и еще голос без слов, и еще, — как вскипающие в воде пузырьки.

— Вижу, братья! Вижу! Вижу то, от чего вянет

сердце и слепнут глаза! Вижу Голгофу и святые древеса крестов, и на них вижу вора, и убийцу, и третьего вижу; слышу похвальбу и поношенье: «Раз ты Иисус, чего ж ты не сходишь с креста?»[60] Слышу вопли женщин и стенания вечерние; слышу плач, и рыданье, и отвратившего лицо свое Господа: «Они убили Иисуса, сына моего убили!»

— Мммммммммммммммммммм! Исусе! Вижу, о Исусе!

— О слепой грешник! Братья, вам говорю, сестры, вам глаголю — отворотился Господь лицом мощным и сказал: «Не отягощу небеса ими!» Вижу, как затворил осиротелый Господь двери свои, как воды, преграждая, хлынули; вижу мрак и смерть вековечную на все поколения. Но что это! Братья! Да, братья! Что вижу? Что вижу, о грешник? Я вижу воскресение и свет, вижу кроткого Иисуса, говорящего: «Меня убили, дабы вы воскресли; я принял смерть, чтоб те, кто видит и верит, жили бы вечно». Братья, о братья! Я вижу час последнего суда, слышу золотые трубы, трубящие славу с небес, и вижу, как встают из мертвых сберегшие память об агнце и пролитой

---

[60] КОММЕНТАРИИ: 60

...вижу вора, и убийцу... с креста? — Согласно Евангелиям, Христос был распят вместе с двумя разбойниками; проходящие мимо издевались над ним, говоря: «Если ты Сын Божий, сойди с креста».

крови его!

Среди голосов и рук Бен сидел, глядел, как в забытьи, васильковым взором. Рядом Дилси сидела вся прямая и немо, строго плакала над пресуществлением и кровью воспомянутого страстотерпца.

В ярком полдне подымались они в город по песчаной дороге среди расходящихся по домам прихожан, что снова уже беззаботно перекидывались словом, но Дилси по-прежнему плакала, отрешенная от всего.

— Вот это я понимаю проповедник! Спервоначала — сморчок сморчком, а после — держись только!

— Уж он-то видел всю силу и славу.[61]

— Еще бы не видел. Лицом к лицу видел.

Дилси плакала беззвучно, не искажая лица, слезы ползли извилистыми руслами морщин, а она шла с поднятою головой и не утирала их даже.

— Вы бы перестали, мэмми, — сказала Фрони. — Народ кругом смотрит. А скоро мимо белых пойдем.

— Ты на меня уж не гляди, — сказала Дилси. — Я

---

[61] КОММЕНТАРИИ: 61

…видел всю силу и славу. — Библейская цитата.

видела первые и вижу последние.[62]

— Какие первые — последние? — спросила Фрони.

— Да уж такие, — сказала Дилси. — Видела начало и вижу конец.

Когда вошли в город, она остановилась, однако, отвернула платье и вытерла глаза подолом верхней из юбок. Затем пошли дальше. Бен косолапо ступал рядом с Дилси, а Ластер с зонтиком в руке резвился впереди, лихо сдвинув набекрень свою блестящую на солнце шляпу, — и Бен глядел на него, как смотрит большой и глупый пес на проделки смышленого песика. Пришли к воротам, вошли во двор. И тотчас Бен захныкал снова, и с минуту все они стояли и смотрели в глубину аллеи, на облупленный квадрат фасада с трухлявыми колоннами.

— Что там сегодня у них? — спросила Фрони. — Не иначе случилось что-то.

— Ничего не случилось, — сказала Дилси. — Тебе своих дел хватает, а уж белых дела пусть тебя не касаются.

— Ну да, не случилось, — сказала Фрони. — Он

---

[62] КОММЕНТАРИИ: 62

первые... и... последние. — Библейская формула, относящаяся обычно к деяниям царя или героя. Ср.: например: «деяния Соломоновы, первые и последние».

с утра пораньше разорялся, я слыхала. Ну, да это дело не мое.

— Ага, а я знаю что, — сказал Ластер.

— Больно много знаешь, как бы не завредило тебе, — сказала Дилси. — Слыхал, что Фрони говорит — что дело это не твое. Ступай-ка лучше с Бенджи на задний двор да гляди, чтоб он не шумел там, пока обед на стол подам.

— А я знаю, где мис Квентина, — сказал Ластер.

— Ты знай помалкивай, — сказала Дилси. — Как потребуется твой совет, я тебе сообщу. Ступайте-ка с Бенджи, погуляйте там.

— Как будто вы не знаете, какой вой будет, как только на лугу начнут гонять мячики, — сказал Ластер.

— Пока они там начнут, так Ти-Пи уже придет и повезет его кататься. Постой, дай-ка мне эту новую шляпу.

Ластер отдал ей шляпу и отправился с Беном на задний двор. Бен хотя негромко, но похныкивал по-прежнему, Дилси с Фрони ушли к себе в хибару. Немного погодя Дилси показалась оттуда — снова уже в ситцевом линялом платье — и пошла на кухню. Огонь в плите давно погас. В доме ни звука. Дилси надела передник и поднялась наверх. Ни звука ниоткуда. В Квентининой комнате

все так и осталось с утра. Дилси вошла, подняла сорочку с пола, сунула чулок в комод, задвинула ящик. Дверь в спальню миссис Компсон притворена плотно. Дилси постояла, послушала. Затем открыла дверь — и вступила в густой, разящий запах камфары. Шторы опущены, комната и кровать в полумраке, и, решив, что миссис Компсон спит, Дилси хотела уже было закрыть дверь, но тут миссис Компсон подала голос.

— Ну? — сказала она. — Что?

— Это я, — сказала Дилси. — Вам не надо ли чего?

Миссис Компсон не ответила. Помолчав, она спросила, не поворачивая головы:

— Где Джейсон?

— Еще не вернулся, — сказала Дилси. — Так ничего вам не надо?

Миссис Компсон молчала. Подобно многим черствым, слабым людям, она — припертая к стене неоспоримым уже бедствием — всякий раз откапывала в себе некую твердость, силу духа. Сейчас ей служила поддержкой неколебимая уверенность в роковом значении того, что обнаружилось утром.

— Ну, — сказала она, помолчав. — Нашла уже?

— Что нашла? Вы об чем это?

— Записку. Хоть на записку-то, надеюсь, у нее хватило уважения. Даже Квентин, и тот оставил после себя записку.

— Что вы такое говорите? — сказала Дилси. — Как будто с ней может что случиться. Вот увидите, еще до вечера войдет прямо вот в эту дверь.

— Нет уж, — сказала миссис Компсон. — Это в крови у нее. Каков дядя, такова и племянница. Или какова мать… Не знаю, какой исход хуже. Не все ли равно.

— Для чего вы говорите такое? — сказала Дилси. — Да зачем она станет это делать?

— Не знаю. А Квентин, а он зачем сделал? Зачем, ответь ты мне ради всего святого. Ведь не может же быть, чтобы с единственной только целью поступить назло и в пику мне. Кто б ни был бог, — а уж такого надругательства над благородной дамой он не допустил бы. А я ведь благородная. Хотя, глядя на моих детей, и не подумаешь.

— Вот подождите и увидите, — сказала Дилси. — Прямо в постельку к себе и воротится к ночи. — Миссис Компсон не ответила. На лбу у нее лежал пропитанный камфарой платок. Черный халат брошен был в ногах, поперек кровати. Дилси стояла, держась за ручку двери.

— Ну, — сказала миссис Компсон. — Что тебе

нужно?

Может быть, ты намерена оставить вовсе без обеда Джейсона и Бенджамина?

— Джейсона нету еще, — сказала Дилси. — Сейчас пойду, займусь обедом. Так, может, вам надо чего? Грелка еще не выстыла?

— Ты могла бы подать мне мою Библию.

— Я утром до ухода дала ее вам.

— Ты положила в изножье постели. Сколько ей прикажешь там еще лежать?

Дилси подошла к кровати, порылась с краю, среди складок и теней, нашла горбом валявшуюся Библию. Разгладила смятые листы, положила опять книгу на постель. Глаза миссис Компсон были закрыты. Волосы ее цветом не отличались от подушки, лоб покрыт белым, и она походила на молящуюся старуху-монашенку в белом апостольнике.

— Снова кладешь туда, — произнесла миссис Компсон, не открывая глаз. — Она и прежде там лежала. Я, по-твоему, должна подняться, чтобы взять ее?

Дилси нагнулась над хозяйкой, положила книгу рядом, сбоку.

— Все равно вам читать невидно будет, — сказала она. — Разве штору чуть поднять?

— Нет. Не трогай ничего. Иди займись обедом для Джейсона.

Дилси вышла. Затворила дверь за собой и вернулась на кухню. Постояла у плиты, почти остывшей. Часы над буфетом пробили десять раз.

— Час дня, — сказала Дилси вслух. — А Джейсона нету. Видела первые, вижу последние, — сказала она, глядя на потухшую плиту. — Видела первые и вижу последние. — Достала из духовки холодную еду, накрыла на стол. На ходу она напевала спиричуэл. Она пела, повторяя вновь и вновь первые две строчки, заполняя ими весь мотив. Затем подошла к дверям, позвала Ластера, и немного спустя Ластер с Беном явились. Бен все еще помыкивал, про себя как бы.

— Так все время и ноет, — сказал Ластер.

— Садитесь кушать, — сказала Дилси. — Будем обедать без Джейсона. — Они сели за стол. С твердой пищей Бен справлялся довольно сносно сам, но, хотя обедали без первого, Дилси все же повязала ему слюнявчик. Бен с Ластером сидели ели, а Дилси хозяйничала, напевая все те же две строчки, — дальше слов она не помнила.

— Кушайте все, — сказала она. — Джейсон не сейчас вернется.

Джейсон в это время был в двух десятках миль от дома. Со двора он на полной скорости направился в город, обгоняя праздничные неспешные группы горожан и властные колокола в облачном, плывущем небе. Проехав по пустынной площади, он повернул в узкую улочку и разом окунулся в глушь задворков; затормозил у дощатого дома и пошел к веранде по обсаженной цветами дорожке.

Из-за сетчатой внутренней двери доносился говор. Он поднял руку постучать, но услышал шаги, подождал, и ему открыл рослый человек в черных суконных брюках и в белой, с крахмальной манишкой, рубашке без воротничка. У него была буйная седая со стальным отливом шевелюра, серые глаза круглились и блестели, как у мальчика. Приветственно тряся и не выпуская руку Джейсона, он потащил его в дом.

— Прошу, — приговаривал он. — Прошу.

— Ехать надо. Вы готовы? — сказал Джейсон.

— Входите, входите, — говорил тот, за локоть увлекая его в комнату, где сидели двое, мужчина и женщина. — Вы знакомы с мужем моей Мэртл? Нет? Джейсон Компсон — Вернон.

— Да, — сказал Джейсон. Он и не взглянул на Вернона, и тот произнес:

— Мы выйдем, не будем мешать. Идем, Мэртл.

— Нет, нет, — сказал шериф, неся через комнату стул. — Вы, друзья, сидите, как сидели. Не настолько уж это серьезно — а, Джейсон? Садитесь.

— Расскажу дорогой, — сказал Джейсон. — Надевайте пиджак и шляпу.

— Мы выйдем, — сказал Вернон, вставая с места.

— Вы сидите, — сказал шериф. — А мы с Джейсоном потолкуем на веранде.

— Наденьте пиджак и шляпу, — сказал Джейсон. — У них уже и так двенадцать часов форы. — Шериф вышел на веранду, за ним и Джейсон. Мимо дома прошли двое, поздоровались с шерифом. Ответный жест шерифа был размашист и сердечен. Колокола по-прежнему слышны были — из Низины, из негритянского поселка. — Идите за шляпой, шериф, — сказал Джейсон. Шериф пододвинул два стула.

— Присаживайтесь и рассказывайте, что у вас стряслось.

— Я вам говорил уже — по телефону, — сказал Джейсон, не садясь. — Думал время этим сэкономить. Но, видно, придется мне обратиться к властям, чтобы заставить вас выполнить долг и присягу.

— Да вы сядьте расскажите, как и что, — сказал шериф. — А о дальнейшем уже моя забота.

— Хороша забота, — сказал Джейсон. — Вот эту мешкотню вы называете заботой?

— Вы сами же нас задерживаете, — сказал шериф. — Садитесь и рассказывайте.

Джейсон принялся рассказывать, каждым новым словом так распаляя свое чувство обиды и бессилия, что скоро и спешка была позабыта в этом яростном громожденье праведных и гневных жалоб. Шериф не сводил с него блестящих холодных глаз.

— Но вы же не знаете наверняка, что это их рук дело, — сказал он. — У вас одни предположения.

— Предположения? — сказал Джейсон. — Это когда я, заботясь о ней, битых два дня гонялся за ними по всем закоулкам, причем предупредил, что я с ней сделаю, если увижу с ним, и после всего я еще, по-вашему, не знаю, что эта малолетняя б…

— Ну, хватит, — сказал шериф. — Довольно. Предостаточно. — Он сунул руки в карманы, перевел взгляд на ту сторону улицы.

— А теперь прихожу к вам, должностному лицу, поставленному охранять закон, — сказал Джейсон.

— Эту неделю они в Моттсоне[63] гастролируют, — сказал шериф.

— Да, — сказал Джейсон. — И если бы мне найти такое должностное лицо, чтоб хоть мало-мальски позаботилось насчет защиты тех, кто его избрал на должность, то я бы тоже уже в Моттсоне сейчас был. — Он опять принялся излагать, едко подытоживать, как бы смакуя свое посрамление и бессилие. Шериф его уже не слушал.

— Джейсон, — сказал он. — На что вам было прятать в доме три тысячи долларов?

— На что? — сказал Джейсон. — Это мое дело, где я держу свои деньги. А ваше дело-помочь мне вернуть их.

— А матушке вашей известно было, что вы храните дома столько денег?

— Послушайте, — сказал Джейсон. — Мой дом ограбили. Я знаю кто и знаю, куда скрылись. Я прихожу к вам, поставленному на стражу закона, и я вас опять спрашиваю: намерены вы принять какие-то меры к возвращению моей собственности или нет?

— Допустим, вы поймали их, что вы сделаете с этой девочкой?

---

[63] КОММЕНТАРИИ: 63

Моттсон — в некоторых других произведениях йокнапатофского цикла этот городок назван Моттстауном.

— Ничего, — сказал Джейсон. — Ровно ничего. Я до нее пальцем не дотронусь. Дряни, которая стоила мне моей должности и тем лишила меня единственного шанса на успех в жизни, которая свела в могилу моего отца и день за днем сводит в могилу мою мать, а мое имя обратила в посмешище в городе, — я ей ничего не сделаю, — сказал он. — Ровным счетом ничего.

— Вы сами ее довели до побега, Джейсон, — сказал шериф.

— Как я веду мои семейные дела, вас не касается, — сказал Джейсон. — Намерены вы мне помочь или нет?

— Вы сами ее довели, — сказал шериф. — А насчет того, чьи это деньги, у меня есть кой-какие подозрения, только вряд ли мне дознаться полной правды.

Джейсон стоял, медленно обминая в пальцах поля шляпы. Он сказал тихо:

— Так вы не окажете мне никакого содействия в их поимке?

— Это не входит в мои обязанности, Джейсон. Будь у вас фактическое доказательство, тогда я обязан был бы действовать. А так — думаю, что это не мое дело.

— И это ваш окончательный ответ? — сказал

Джейсон. — Советую прежде подумать.

— Окончательный, Джейсон.

— Что ж, хорошо, — сказал Джейсон. Надел шляпу. — Вы об этом еще пожалеете. Я найду защиту. Тут не Россия, где нацепил бляху — и на него уже управы нет. — Он сошел с крыльца, сел в машину, завел мотор. Шериф смотрел, как он тронул с места, развернулся и рванул мимо дома — обратно к площади.

Высоко в солнечной ряби опять плыл благовест яркой кутерьмою звуковых лоскутьев. Джейсон остановился у бензоколонки, велел проверить шины и заправить бак.

— За город, верно, собрались? — спросил заправщик-негр. Джейсон не ответил. — Вроде все ж таки распогоживается, — сказал негр.

— Черта с два тебе распогодится, — сказал Джейсон. — К двенадцати как из ведра захлещет. — Он поглядел на небо, представляя себе дождь, склизкую глину дорог, свою машину, застрявшую где-нибудь за много миль от города. С каким-то злорадным торжеством подумал он об этом и о том, что в Моттсон поедет сейчас же и к полудню из-за этой неотложности очутится как раз в равноудалении от обоих городов, притом голодный. Во всем этом ему увиделся некий про-

мах, послабленье со стороны давнишнего врага, имя коему Обстоятельства, — некий шанс, и он накинулся на негра:

— Ты сколько еще будешь там копаться? Уплатили тебе, что ли, чтоб задержал меня здесь подольше?

— Тут у вас скат спустил, — сказал негр.

— Отойди к дьяволу, дай подступиться, — сказал Джейсон.

— Да я накачал уже, — сказал негр, подымаясь с карточек. — Можете ехать.

Джейсон сел за руль, тронул с места, включил вторую передачу. Двигатель фырчал, захлебывался, а он, выжав до отказа педаль дросселя и яростно действуя кнопкой заслонки, гнал обороты. «Дождь будет, и обложной, — подумал он вслух. — Как раз на полдороге и захватит». Оставив позади город и колокола, он ехал, рисуя себе, как машина застряла и он пешком месит грязь в поисках упряжки мулов. «А на фермах никого, вахлачье все по церквам». Как, наконец, церковь разыскана, мулы отвязаны, а хозяин их, подскочивший было с криком, свален ударом кулака. «Я — Джейсон Компсон. Посмотрим, как это вы мне воспрепятствуете. Навыбирали шерифов — досмотрим, как шериф мне воспрепятству-

ет», — сказал он вслух, воображая, как с двумя солдатами входит в здание суда и выволакивает оттуда шерифа. «Я тут должность теряю, а он будет себе сидеть ручки в брючки и смотреть. Я ему покажу должность». Не о своей племяннице он думал и не о деньгах, трех или скольких-то тысячах. Ни то, ни другое для него вот уже десяток лет не существовало раздельно, само по себе, а лишь олицетворяло в совокупности своей ту банковскую должность, которой он лишился, не успев и занять ее.

Облачные бегущие тени редели, свету прибывало, день разгуливался, и ему чудилась в этом очередная Вражья каверза и неминуемость новой битвы после стольких прежних стычек и ран. Время от времени навстречу попадались церкви, деревянные некрашеные зданьица с крытыми жестью колокольнями, с привязанными мулами вокруг и обшарпанными автомашинами, — и ему казалось, что это мелькают арьергардные посты, следят из укрытий за ним дозоры Обстоятельств. «И Тебя к чертям собачьим тоже. Твоя персона, думаешь, мне воспрепятствует»; он представил себе, как пойдет — а поодаль за ним, свитой, те два солдата и шериф в наручниках — и стащит с трона самого Всевышнего, если потребуется;

как прорвется сквозь построенные к бою легионы преисподней и небес и схватит наконец беглянку.

Ветер дул с юго-востока. Дул упорно в щеку Джейсону. Он словно ощущал, как этот протяженный ветровой удар пронизывает ему череп, и вдруг — со знакомым предчувствием боли — он резко выжал тормоз, остановил машину, посидел не двигаясь. Затем поднял руку к шее и принялся ругаться — сидел и чертыхался сиплым шепотом. В сколько-нибудь длительные поездки он брал с собой накамфаренный носовой платок, сразу же за городом повязывал его на шею и дышал этим запахом. Он вышел из машины, поднял подушку сиденья — не завалялся ли там платок. Проверил под обоими сиденьями, постоял, опять ругаясь, видя, что оставлен в дураках собственной злорадной спешкой. Прислонился к дверце, закрыл глаза. Либо возвращаться за платком, либо ехать дальше. И так и этак голова расколется дорогой, но дома камфара всегда есть, а вот достанет ли он ее в чужом городе, в праздник. Но возвратиться — значит прибыть в Моттсон с полуторачасовой задержкой. «Может, если ехать медленно, — произнес он. — Ехать медленно и думать о другом…»

Он сел за руль, поехал дальше. «О другом буду

думать», — сказал он и стал думать о Лорейн. Представил, как лежит с ней, но ничего, кроме лежанья рядом и своих жалоб, просьб о помощи, не смог представить; затем вспомнил о деньгах, о том, что баба, соплячка, взяла над ним верх. Ограбь его тот галстучек — и то б не так обидно. Но лишиться денег, накопленных с таким трудом и риском, предназначенных возместить ему утрату должности, — и кто же похититель? Девчонка, живой символ той утраты и, к довершению всего, шлюха малолетняя. Он ехал, отворотом пиджака защищая лицо от упорного ветра.

Ему зримо увиделось, как две противоборствующие силы — его судьба и его воля — теперь быстро идут на сближение, на схлест, откуда возврата не будет; он стал напряженно и остро соображать. «Промашку я себе позволить не могу», — предостерег он себя. Верный ход здесь возможен лишь один, и он обязан его сделать. Оба они, полагал он, со взгляда узнают его, у него же надежда на то, что Квентина мелькнет ему первая, разве что на пижоне по-прежнему тот галстук. И в том, что на галстучек полагаться приходится, была вся соль и суть нависшей впереди беды, — а беду эту он чуял, ощущал почти физически сквозь молотки, стучащие в мозгу.

Он поднялся на последнее перед Моттсоном взгорье. Дым лежал в долине, крыши и один-два шпиля над деревьями. Он спустился, въехал в город, сбавляя скорость, вновь твердя себе об осмотрительности, о необходимости сперва узнать, где расположились гастролеры. Перед глазами у него мутилось, но надо терпеть — ибо это не кто иной, как враг, беда нашептывает ехать прямо за лекарством. У бензоколонки ему сказали, что шатер еще не установлен, а вагоны их — в тупичке, на станции. Он поехал туда.

Два пестро раскрашенных пульмана стояли на боковой ветке. Он скрытно обозрел их из машины, стараясь дышать неглубоко, чтобы в голове не стучало так. Вылез из машины и пошел вдоль станционной ограды, щупая взглядом вагоны. Несколько мятых одежек свисало из окон — досушивались, очевидно. У одного вагона, у подножки, стояли три парусиновых стула. Ни души, однако, не видать; но вот показался в дверях человек в грязном поварском фартуке, широко плеснул мутной водой из тазика, сверкнув на солнце выпуклым металлом, и ушел в вагон.

«Надо взять его с нахрапу, а то успеет их предупредить», — подумал Джейсон. Ему и в голову не приходило, что в вагонах может и не оказаться

их. Чтобы их там и не было, чтобы исход дела не зависел всецело от того, он ли их, они ли его первыми увидят, — такое было бы совершенно противоестественно, шло бы вразрез со всем ритмом событий. Нет уж — именно он должен увидать их первый и отобрать свои деньги, а там пусть себе делают что хотят, его не касается; иначе же весь мир узнает, что его обобрала Квентина, племянница, шлюха.

Он снова обозрел, проверил обстановку. Затем направился к вагону, проворно и без шума взбежал по ступенькам и приостановился в дверях. Внутри было темно, затхло попахивало кухней. В глубине смутно белел фартук, напевал что-то надтреснутый, дрожащий тенорок. «Старик, — подумал он, — и пощуплей меня». Двинулся вперед — тот поднял голову, оборвал пение, произнес:

— А?

— Где они? — сказал Джейсон. — Только быстро. Там, в спальном вагоне?

— Кого надо? — сказал повар.

— Только не лгать мне, — сказал Джейсон, идя к нему и спотыкаясь в загроможденном сумраке.

— Что-о? — сказал тот. — Меня обзывать лгуном? — Джейсон схватил его за плечо, повар

возвысил голос: — Ох, нарвешься!

— Только не лгать, — сказал Джейсон. — Где они?

— Ах ты гад, — сказал повар. Плечо его дернулось, хрупкое, тощее, под пальцами Джейсона. Безуспешно повырывавшись, старик обернулся к заставленному посудой столу и стал возить рукой, нашаривая что-то.

— Отвечайте, — сказал Джейсон. — Где они?

— Сейчас ты у меня узнаешь, где они, — визгнул старик. — Дай только секач найду.

— Послушайте, — сказал Джейсон, вцепляясь покрепче. — Вам что, вопрос нельзя задать?

— Гад несчастный, — возопил тот, шаря, скребясь по столу. Джейсон обхватил его обеими руками, силясь сковать эту тщедушную ярость. Тельце противника было такое старое и хилое, но такая смертоносная устремленность ощущалась в нем, что тут уж Джейсон узрел пред собой четко и незатененно ту беду, к которой несся сломя голову.

— Прекратите! — сказал он. — Хорошо? Хорошо! Я ухожу! Но дайте же мне уйти.

— Обзывать меня лгуном! — вопил тот. — Пусти!

Пусти руку только на одну минуту! Я тебе по-

кажу!

Джейсон дико озирался по сторонам, не ослабляя хватки. На дворе было теперь светло и солнечно-быстролетно, светло и пустынно, — и он подумал о том, что вскоре праздничный народ степенно потянется по домам, к воскресному столу, а он тут вцепился в этого неистового, гибельного старичишку и не смеет выпустить даже на ту секунду, чтобы повернуться и броситься в бегство.

— Уймешься ты, дашь мне уйти? — сказал он. — Уймешься? — Но тот продолжал рваться, и Джейсон, освободив одну руку, нанес ему удар по голове. Удар поспешный, неловкий, несильный к тому же, но старик обмяк моментально и, грохоча кастрюлями и ведрами, сполз на пол. Джейсон постоял над ним, задыхаясь, прислушиваясь. Затем кинулся к выходу. У ступенек он сдержал свой бег, сошел на землю, опять постоял, шумно дыша: «Хах, хах, хах». Он стоял, стараясь отдышаться, кидая взгляды на все стороны; вдруг за спиной шаркнуло, он обернулся, и вовремя: из тамбура неуклюже и яростно прыгнул на него старик, высоко замахиваясь ржавым резаком.

Джейсон взметнул руку, чтобы поймать резак, чувствуя, что падает, хотя не ощутив удара, поду-

мал: «Так вот оно чем кончится», приготовился к смерти, об затылок что-то грянуло, мелькнула мысль: «Как он сумел по затылку меня? Но это он, наверно, раньше, а я только сейчас почувствовал», и он подумал: «Скорей же. Скорее. Кончайся», но тут исступленное желание жить охватило его, и он забарахтался, слыша, как вопит и ругается надтреснутый старческий голос.

Его уже ставили на ноги, а он все барахтался и отбивался, по его придержали, и он перестал.

— Что, сильно кровь идет? — спросил он. — Из головы. Течет кровь? — Кто-то его между тем торопливо за локоть вел прочь, яростный тенорок старика глох где-то позади. — Как там затылок у меня? — сказал он. — Постойте, я…

— Ну, нет, стоять не будем, — сказал человек, ведший его. — Эта язва старикан вас укокошит. Шагайте дальше. Все у вас в порядке.

— Он меня рубанул, — сказал Джейсон. — Течет кровь?

— Шагайте, говорю, — сказал провожатый. Он увел Джейсона за вокзал, на безлюдную платформу, где стоял грузовик, где жестко топорщился травкой газон с жесткими цветами по краям и с надписью из электролампочек: "Проезжающий! Глаза на Моттсон! — причем после слова «Проез-

жающий» был нарисован глаз с электрическим зрачком. Здесь провожатый выпустил локоть Джейсона.

— Ну вот, — сказал он. — Двигайте отсюда и держитесь подальше от нас. Вы зачем к нему лезли? Что вам — жизнь надоела?

— Я искал там двоих, — сказал Джейсон. — Просто спросил его, где они.

— Кого именно искали?

— Девушку одну, — сказал Джейсон. — И парня. На нем красный галстук был в Джефферсоне вчера. Он из ваших. Они ограбили меня.

— А-а. Вы тот самый, значит. Так вот, здесь их нет.

— Само собой, — сказал Джейсон. Прислонился к стене, поднес руку к затылку, отнял, на ладонь посмотрел. — Я думал, кровь идет, — сказал он. — Думал, он меня резаком тем.

— Вы об рельс ударились, — сказал провожатый. — Советую не задерживаться. Их здесь нету.

— Да. Он тоже сказал нету. Я думал, врет.

— Я лгу, по-вашему.

— Нет, — сказал Джейсон. — Я знаю, здесь их нет.

— Я ему велел убираться к чертям вместе с ней. У меня тут не притон. У меня честное предприя-

тие, и труппа вся порядочные люди.

— Да, — сказал Джейсон. — Вы не знаете, куда они направились?

— Нет. И не интересуюсь. В моей труппе таким не место. Вы ей… брат?

— Нет, — сказал Джейсон. — Это неважно. Просто хотел их видеть. Значит, он меня не ранил? То есть крови нет?

— Кровь была бы, если б я не подоспел. Вы лучше держитесь подальше. Этот кухаришка вас убьет. Что за машина там — ваша?

— Да.

— Вот и садитесь в нее и езжайте обратно в Джефферсон. Может, вы их и найдете где, но только не у меня в труппе. У меня не притон. Так, говорите, ограбили вас?

— Нет, — сказал Джейсон. — Это не суть важно. — Он пошел, сел в машину. "Что это мне нужно еще сделать? — подумал он. Вспомнил. Завел мотор и ехал медленно вдоль улицы, пока не увидел аптечную вывеску. Дверь оказалась заперта. Он постоял, держась за ручку и потупив голову, потом отвернулся. Дождался прохожего, спросил, все ли здешние аптеки сегодня закрыты, услыхал в ответ, что все. Еще спросил, в котором часу проходит северный поезд, и ему ответили

— в два тридцать. Сошел на мостовую, сел опять в машину. Через некоторое время мимо прошли два паренька-негра. Он окликнул их.

— Автомобиль водить умеет кто-нибудь из вас?

— Да, сэр.

— Сколько возьмете, чтоб довезти меня сейчас до Джефферсона?

Переглянулись, зашептались.

— Заплачу доллар, — сказал Джейсон.

Пошептались.

— За доллар не с руки нам, — сказал один.

— А за сколько?

— Ты разве поедешь? — спросил один.

— Мне-то нельзя, — сказал другой. — А тебе почему бы не отвезти его? Все равно делать нечего.

— Нет, есть чего.

— А ну, какие у тебя дела? Опять пошептались, посмеиваясь.

— Два доллара дам, — сказал Джейсон. — Тому, кто повезет.

— Да мне тоже нельзя, — сказал первый.

— Ладно, — сказал Джейсон. — Ступайте.

Время шло, он сидел. Услышал, как пробило полчаса, затем показались горожане, одетые по-воскресному, по-пасхальному. Иные, проходя,

бросали взгляд на человека за рулем небольшой машины, — а он сидел, и невидимая пряжа его жизни была растереблена, спутана, висела рваными махрами. Немного погодя подошел негр в спецовке.

— Это вас надо в Джефферсон? — спросил он.

— Да, — сказал Джейсон. — Сколько возьмешь с меня?

— Четыре доллара.

— Два дам.

— Меньше чем за четыре не могу. — Человек в машине сидел не шевелясь, не глядя даже на негра. Негр сказал: — Так хотите или нет?

— Ладно, — сказал Джейсон. — Садись.

Он подвинулся, негр взялся за баранку. Джейсон закрыл глаза. «До Джефферсона дотерпеть, там лекарство — сказал он себе, расслабляясь, приноравливаясь к тряске. — Там-то найдется». Они выехали из города — улицами, где люди мирно входили в свои калитки, к праздничным обедам. О лекарстве, об отдыхе думалось Джейсону. Не о доме джефферсонском, где Бен с Ластером ели холодный обед за кухонным столом. Что-то — отсутствие ль прямой и гибельной беды, угрозы в привычном, повседневном зле — позволило ему погасить в памяти реальный Джефферсон,

где должна будет возобновиться его жизнь.

Когда Бен и Ластер поели, Дилси велела им идти во двор.

— Чтоб гулял с ним тихо-мирно, до четырех. Пока не вернется Ти-Пи.

— Да, мэм, — сказал Ластер. Увел Бена. Дилси пообедала, убрала в кухне. Затем подошла к лестнице, послушала, но наверху стояла тишина. Дилси вернулась, прошла через кухню, остановилась на крыльце. Бена с Ластером не было видно, но вот от погреба донеслось краткое «дзинь», она подошла к двери погреба и увидела повторение утренней сценки с пилой.

— Он точка в точку так делал, — говорил Ластер, с унылой надеждой глядя на недвижную пилу. — Только биту бы найти подходящую.

— В погребе она тебе найдется, видно, — сказала Дилси. — Веди его оттуда скорей на солнышко, пока оба не схватили воспаление легких на этом сыром полу.

Под бдительным оком Дилси они пошли через двор туда, где кучно росли у забора можжевеловые деревья. Затем Дилси ушла в хибару.

— Только без воя, — сказал Ластер. — Достаточно уже с тобой сегодня навозился. — Между деревьями привешен был гамак из бочарных кле-

пок, скрепленных, перевитых проволокой. Ластер лег в гамак, а Бен наугад побрел дальше. Он опять начал поскуливать. — Цыц, — сказал Ластер, привставая. — А то отлуплю. — Снова улегся в гамак. Шаги Бена затихли, но помыкивание продолжалось. — Замолчишь ты или нет? — сказал Ластер. Встал, направился следом, подошел к Бену, присевшему на пятки у земляного холмика. С краев его воткнуты были две склянки синего стекла, в каких хранятся яды. Из горлышка одной торчал завялый стебель дурмана. Бен глядел на склянки и помыкивал, постанывал протяжно. Неопределенно поводив рукой вокруг себя, он нашел веточку, вставил во вторую склянку. — Ты чего развылся? — сказал Ластер. — Тебе ж не с чего. Или хочешь, чтоб была причина? Это я могу. — Присев, он вдруг выхватил склянку из земли и спрятал за спину. Мык оборвался. Бен застыл на корточках, глядя на оставшуюся ямку, набрал в легкие воздуху — но тут Ластер вернул бутылочку на место. — Тш-ш! — шикнул Ластер. — Не смей! Поори только мне. Вот он, твой пузырек. Видишь? Вот он. Да нет, здесь от тебя тишины не жди. Пошли посмотрим, как они там — мячик гоняют уже? — Потянул Бена за руку, поднял с корточек, подвел к забору, и они встали рядышком, глядя

в просветы сквозь сплетенье жимолости, еще не зацветшей.

— Вот они, — сказал Ластер. — Вон там, подходят. Видишь?

Они смотрели, как четверо играющих, загнав мячи в лунку, послали их дальше от стартовой точки. Бен глядел, поскуливая и пуская слюни. Рванулся за проходящими, мотая головой, мыча. Один из игроков подозвал к себе мальчика с клюшками:

— Эй, кэдди. Подай клюшки!

— Тихо, Бенджи, — сказал Ластер, но Бен уходил вдоль забора своей косолапой рысцой, хватаясь за планки и хрипло, безнадежно голося. Игрок ударил, пошел дальше, а Бен бежал с ним вровень до оконечного угла забора и прижался там, не сводя глаз с уходящих.

— Замолчишь ты? — сказал Ластер. — Замолчишь ты? — Потряс Бена за локоть. Бен вцепился в забор, плача хрипло, упорно. — Кончишь ты шуметь? — сказал Ластер. — Или так и не кончишь? — Бен глядел через забор не отрываясь. — Ладно же, — сказал Ластер. — Орешь сам не знаешь с чего. Так сейчас тебе будет причина. — Через плечо оглянулся на дом. Затем зашептал: — Кэдди! Ну, ори же. Кэдди! Кэдди! Кэдди!

Минуту спустя, в промежутки между протяжными воплями, слышен стал зовущий голос Дилси. Ластер взял Бена за руку, и они пошли к ней через двор.

— Я говорил же, развоется, — сказал Ластер.

— Ты, мерзавец! — сказала Дилси. — Говори, чем ты его обидел?

— Да не трогал я его. Я же говорил, что заревет, как только там игра начнется.

— Подведи его ко мне, — сказала Дилси. — Тш-ш, Бенджи. Не плачь. — Но Бен плакал. Они торопливо прошли двором к хибаре, вошли туда. — Беги за туфелькой, — сказала Дилси. — Только не растревожь мне Кэдайн. Если она чего скажет, успокой ее, что он со мной. Иди же-уж это-то, я думаю, ты можешь сделать. — Ластер ушел. Дилси подвела Бена к кровати, усадила рядом и, обняв, забаюкала, закачалась с ним взад-вперед, утирая подолом ему слюнявый рот. — Ну, не плачь, — приговаривала она, гладя его по голове. — Тш-ш. Дилси с тобой ведь. — Но он голосил — медленно, убого и бесслезно, и в сумрачном и безнадежном звуке этом звучала вся безгласная горесть вселенной. Вернулся Ластер с атласной белой туфелькой — пожелтелой, треснутой, замызганной. Вложили ее Бену в руку, и он притих.

Но вскоре похныкивание опять перешло в громкий плач.

— Может, ты Ти-Пи разыскал бы, — сказала Дилси.

— Он вчера говорил, уйдет за город. А к четырем вернется.

Дилси раскачивалась взад-вперед, гладя Бена по голове.

— Долго ждать, о господи, — сказала она. — Ох, долго.

— Я же умею править, мэмми, — сказал Ластер.

— Ты шарабан перевернешь, — сказала Дилси. — Заозоруешь, и оба расшибетесь насмерть. Ты сумел бы, я знаю. Но тебе нельзя доверить. Ну, не плачь, — сказала она. — Тш-ш. Ш-ш-ш-ш.

— Что вы, мэм, — сказал Ластер. — Мне же Ти-Пи дает править. — Дилси покачивалась, обняв Бена. — Мис Кэлайн сказала, если не можете утихомирить, то придется ей самой встать и сойти к нему.

— Не плачь же, голубок, — сказала Дилси, гладя Бена по голове. — Ластер, голубчик, сказала она. — Будешь помнить про старую мэмми, не будешь озоровать?

— Да, мэм, — сказал Ластер. — Я буду точка в точку как Ти-Пи.

Дилси гладила волосы Бену, баюкая.

— Я делаю все, что могу, — сказала она. — Господь мне свидетель. Что ж, запрягай иди, — сказала она, вставая. Ластер так и брызнул из хибары вон. Бен плакал с туфелькой в руках. — Ну, не плачь. Сейчас Ластер тебя на кладбище прокатит в шарабане. За шапкой в дом ходить, тревожить матушку не станем, — сказала она. Пошла в угол комнаты, закрытый ситцевой занавеской, взяла там войлочную шляпу, в которой была утром. — Одежки — что, одежки — полгоря, а знали бы люди все наше горе… — сказала она. — Для божьего дитя в одежках нет зазору. А скоро и меня бог к себе приберет, и то пора. Вот так. — Надела ему шляпу, застегнула куртку. Он мерно плакал. Дилси вынула у него из рук туфельку, спрятала, и они вышли. Подъехал Ластер в побитом кривобоком шарабане, запряженном белой лошадью преклонных лет.

— Обещаешь, Ластер, не озоровать? — сказала Дилси.

— Да, мэм, — сказал Ластер. Она помогла Бену взобраться на заднее сиденье. Он было замолчал, потом захныкал снова.

— Ему цветок нужно, — сказал Ластер. — Я сейчас принесу.

— Сиди на месте, — сказала Дилси. Подошла, взялась за ремень уздечки. — Теперь беги, срывай. — Ластер сбегал за дом, в огород. Вернулся с цветком нарцисса.

— Принес поломанный, — сказала Дилси. — Не мог хороший выбрать.

— А там больше нет никаких, — сказал Ластер. — В пятницу все дочиста повырвали — церковь украшать. Да я сейчас поправлю. — И, приложив к сломанному стеблю прутик, Ластер закрепил лубок двумя бечевочками и подал нарцисс Бену. Затем влез на козлы, взял вожжи. Но Дилси не спешила отпускать уздечку.

— А дорогу ты знаешь? — сказала она. — Улицей на площадь, оттуда до кладбища и обратно домой.

— Да, мэм, — сказал Ластер. — Н-но, Квини.

— Так обещаешь не озоровать?

— Да, мэм.

Дисли отпустила наконец уздечку.

— Н-но, Квини, — сказал Ластер.

— Стой, — сказала Дилси. — Дай-ка сюда кнут.

— Ой, мэмми, — сказал Ластер.

— Давай сюда кнут, — сказала Дилси, подходя к передку шарабана. Ластер с великой неохотой отдал ей кнут.

— Теперь Квини и с места не стронешь, — оказал он.

— Об этом не печалься, — сказала Дилси. — Квини лучше тебя знает, что ей делать. Ты знай сиди там и вожжи держи. Так не забыл дорогу?

— Нет, мэм. Которой Ти-Пи каждое воскресенье ездит.

— Вот тою самою дорогой и езжай.

— Ясное дело. Я ж двести раз ездил с Ти-Пи.

— Вот и езжай двести первый, — сказала Дилси. — Ну, трогай. Но если, парень, расшибешь мне Бенджи, то не знаю, что я тебе сделаю. Кандальной команды тебе так и так не миновать, но ты у меня раньше всякого срока туда угодишь.

— Да, мэм, — сказал Ластер. — Н-но, Квини.

Он шлепнул вожжой по широкой спине Квини, шарабан качнулся, двинулся.

— Ох, Ластер, — сказала Дилси.

— Н-но, пошевеливайся, — сказал Ластер. Опять шлепнул вожжами. Екая утробно селезенкой, Квини потрусила нога за ногу по аллее на улицу, и там Ластер перевел ее в аллюр, смахивающий на затяжное, нескончаемое паданье вперед.

Бен смолк. Трясясь на средине сиденья, торчмя держал в кулаке перевязанный цветок, глядел взором светлым и изреченным. Прямо перед

ним вертел ядрообразной головою Ластер — все оглядывался, пока дом не скрылся из виду; тогда Ластер свернул к обочине, спрыгнул с козел, сломил лозинку с живой изгороди. Бен глядел на него, Квини же опустила голову и принялась щипать траву. Ластер вернулся на козлы, вздернул вожжами ей морду, понудил к прежнему аллюру, а сам высоко расставил локти — в одной руке лозинка, в другой вожжи — и принял молодецкую осанку, никак не вяжущуюся со степенным постукиваньем Квининых копыт и органным аккомпанементом селезенки. Автомобили проезжали, шли мимо пешеходы; попалось навстречу несколько подростков-негров.

— Глядите — Ластер. Куда путь держишь, Ластер? На свалку?

— Наше вам, — откликнулся Ластер. — Ага, на ту самую, куда и вас свалят. Шевелись, слониха!

При въезде на площадь, где из-под мраморной руки незрячими очами вглядывался в облака и ветер солдат Конфедерации, Ластер еще удалей приосанился, стегнул непрошибаемую Квини, осмотрелся вокруг.

— Вон мистера Джейсона машина, — сказал он и тут заметил еще кучку негров. — А ну, покажем им, как люди в экипажах ездиют, а, Бенджи? —

сказал он. — Одобряешь? — Оглянулся на Бена. Тот сидел с цветком в кулаке, глядел безмятежно и пусто. Ластер опять стегнул Квини и повернул ее от памятника павшим влево.

На момент Бен замер ошарашенно. Затем взревел. Затем опять, опять; рев креп и рос почти без передышек. В нем звучало мало сказать изумление — ужас в нем был, потрясенье, мука безглазая и безъязыкая, шум и ничего иного.

— Ты что? — ахнул Ластер, оборотясь, блеснув белками на яркий миг. — Тихо! Тихо! — Он волчком крутнулся к лошади, стегнул с размаху. Хлыст переломился, он кинул его прочь (а голос Бена восходил к неимоверному крещендо), перехватил вожжи, нагнулся вперед — и в это время Джейсон, метнувшийся прыжками через площадь, вскочил на подножку шарабана.

Косой отмашкой отшвырнул он Ластера, схватил вожжи, рывком завернул назад Квини и, сложив концы вожжей, захлестал ими по лошадиному крупу. Квини ринулась валящимся галопом — под хриплые раскаты муки Беновой, — и Джейсон повернул шарабан вправо от памятника. Кулаком по голове ударил Ластера.

— Очумел ты, что ли, влево поворачивать, — выговорил; перегнулся назад, ударил Бена, заново

сломав у цветка ножку. — Молчать! Молчать! — Осадил Квини, спрыгнул наземь. — Вези его домой сию минуту. И если еще раз сунешься с ним за ворота, я тебя убью!

— Слушаю, сэр, — сказал Ластер. Взял вожжи, хлестнул ими Квини. — Н-но! Н-но же! Бенджи, имей совесть!

Голос Бена гремел и раскатывался. Квини тронула с места, мерный перестук копыт возобновился, и тут же Бен замолк. Ластер оглянулся быстро на него и снова задергал вожжами. Над цветком, сломанно поникшим из руки, взгляд Бена был опять пуст и синь и светел, а фасады и карнизы уже вновь плыли слева направо; столбы и деревья, окна, двери и вывески — все на своих назначенных местах.

ПОСЛЕСЛОВИЕ. «ХОЗЯИН И ВЛАДЕЛЕЦ ЙОКНАПАТОФ»

Перед нами два лучших романа крупнейшего американского писателя двадцатого века Уильяма Фолкнера. «Хозяином и владельцем Йокнапатофы» называл себя сам писатель, создавший на страницах своих многочисленных книг замечательный край, в очертаниях которого просматривалась его родина: округ Лафайет, штат Миссисипи.

Современные читатели или безоговорочно принимают или так же безоговорочно отвергают Фолкнера, но чем дальше во времени отодвигается от нас его творчество, тем яснее становится уникальность его положения классика современной литературы, положения, которое Фолкнер занял по праву после долгих лет непризнания со стороны критики и читателей.

Уильям Фолкнер родился и вырос на американском Юге. По происхождению он, судя по всему, шотландец, фамилия его означает «сокольничий»: возможно, что далекий предок Фолкнера смотрел за соколами британской короны. Начи-

ная с конца восемнадцатого века фолкнеровская семейная история как бы символически повторила путь всей американской нации: от восточного побережья на запад, к неосвоенным землям, в глубь страны. Самый знаменитый предок — прадед будущего писателя, в фолкнеровских романах он фигурирует под именем полковника Сарториса. На примере его судьбы хорошо видно, какого рода человеческий материал суждено было литературно осмыслить Фолкнеру. Подростком прадед его уходит из дома и в четырнадцать лет уже работает в городской тюрьме. Он участвовал в Мексиканской войне, был юристом, плантатором, во время Гражданской войны командовал кавалерийским полком, после войны построил первую в штате железную дорогу, он писал стихи, а позднее и прозу: роман прадеда Фолкнера «Белая роза Мемфиса» выдержал множество изданий. Закончилась бурная жизнь полковника трагически: его убил деловой конкурент.

Фолкнер провел классическое детство мальчишки, знакомое нам по книгам Марка Твена: недалеко от провинциального городка с громким названием Оксфорд, где он жил, был овраг и лес, там водились лисы, совсем рядом проходила построенная прадедом, «своя» железная дорога.

Но были в этом детстве и совсем недетские впечатления. Когда Фолкнеру исполнилось 11 лет, в Оксфорде совершился суд Линча, в котором приняли участие две тысячи жителей города. Обезглавленный и изувеченный труп повесили на площади. Еще более чудовищный суд состоялся шесть лет спустя. Кровавую расовую проблему Фолкнер всю жизнь наблюдал в ее чудовищной обыденности. Он так и представил ее в своих рассказах и романах «Свет в августе» (1932) и «Осквернитель праха» (1948). Но Фолкнер писал о своих черных соотечественниках почти в каждом большом произведении. Он просто не мог не писать о расовой проблеме, об этом проклятье Америки.

Писатель оставался верен своему краю и творчески, и человечески. Недолгая учеба в университете, а потом в Летном корпусе в Канаде, литературное паломничество в Европу и короткая литературная жизнь в Новом Орлеане — все это было в молодости. С 1930 года Фолкнер прочно обосновывается в Оксфорде.

Лишь раз в жизни он попытался служить — заведующим почтовым отделением университета Миссисипи, — но по своему характеру он не мог заставить себя выполнять эти обязанности: на

почте Фолкнер сидел запершись и писал стихи. Постепенно посетители перестали обращаться к нему и в поисках корреспонденции рылись в корзине, куда Фолкнер отправлял все письма.

Фолкнера уволили. Так закончилась его первая и последняя попытка регламентировать жизнь.

Все образование Фолкнера — в обширном и беспорядочном чтении. Фолкнер не закончил средней школы, он регулярно посещал все занятия только первые шесть лет, и поступить в университет штата Миссисипи ему удалось, лишь воспользовавшись привилегиями, которые полагались демобилизованным солдатам. Но в университете Фолкнер проучился, а вернее, просуществовал, всего полтора года, и потом уже навсегда забросил мысль о том, чтобы получить какое бы то ни было систематическое образование. В молодости случайная работа давала ему возможность писать, что было для него главным. А писать он начал в тринадцать лет…

Для своих соотечественников, жителей провинциального городка «где-то на Юге» («они хорошие люди, но не читают книг», — сказал о них Фолкнер), он был неудачник, у которого никогда нет денег и который тем не менее ни на кого не обращает внимания. Пока Фолкнер был

жив, о нем мало что знали не только жители его родного города, но и издатели, и критики, и даже близкие друзья. Он яростно сопротивлялся попыткам превратить его частную жизнь в объект праздного или бесцеремонного разглядывания. Из всех очерков, которые написал Фолкнер, самый страстный, самый резкий — «О частной жизни», где он вспоминает о своей безуспешной попытке остановить публикацию материала о нем, Уильяме Фолкнере, но не как о писателе, а как о частном лице.

После смерти Фолкнера (он умер в 1962 году от сердечного приступа, последовавшего за падением с лошади) стали выходить книги о нем. Постепенно из воспоминаний и свидетельств родственников, друзей и знакомых сложился облик человека, который всю жизнь чувствовал свое одиночество и всеми силами оберегал его; человека, для которого писать было непреодолимой потребностью.

Он любил придумывать разные истории о себе, при этом отличить в них правду от вымысла было чрезвычайно трудно.

«Писатель — прирожденный лгун, — говорил он, — и если человек не умеет „сочинять“, он никогда не станет писателем». Удивительные

истории, которые придумывал Фолкнер о себе, просачивались в печать, на суперобложки книг и заменяли недостающую точную информацию. Так возникли и начали кочевать из книги в книгу (включая и наши издания) фантастические сведения о том, как Фолкнер, будучи курсантом летного училища, посадил самолет на крышу ангара (да еще вверх колесами и притом сумел тут же выпить виски, хотя и висел вниз головой), как он был сбит над Францией, как он профессионально и умело занимался изготовлением и сбытом самогона, и так далее, и тому подобное. Даже известный американский писатель Шервуд Андерсон не смог не поверить Фолкнеру, когда тот очень убедительно рассказал ему о своем тяжелом ранении в голову: врачи якобы вынуждены были поставить ему серебряную пластинку, и потому относиться к нему надо с особой осторожностью…

Для Фолкнера фантазирование, мифотворчество о себе являлось как бы продолжением книг, то была его творческая мастерская, где он, проверяя очередной сюжет, разыгрывал его в лицах. В то же время писатель и защищался таким образом от непрошеных знакомств. Когда он не хотел отвечать на какой-то вопрос о себе, он

просто говорил: «Я ведь, в общем-то, фермер, а не литератор». Родственникам и близким друзьям было очень нелегко с Фолкнером, так же, как и ему с ними. Он любил повторять слова из своего романа «Дикие пальмы»: «Выбирая между горем и ничем, я приму горе». В них, можно сказать, и формула жизни крупнейшего писателя Америки, многие годы не имевшего литературного имени и вынужденного сотрудничать с Голливудом, обремененного долгами, детьми, семьей.

Чувство ответственности и выдержку — свойства, которые Фолкнер ставил выше всего в людях, друзья видели прежде всего в самом писателе.

Но здесь придется коснуться темы, о которой писать непросто. Нужно ли нам знать, что у Фолкнера были периоды «чудовищного забытья», которые могли продолжаться иногда по месяцу и дольше? Некоторые американские исследователи доходят до крайностей, утверждая, что в знаменитых фолкнеровских предложениях, к концу которых забываешь то, что было в начале (самое длинное такое предложение занимает сорок девять страниц), — чувствуется всего лишь «алкогольная вязкость мысли». В пристрастии к алкоголю сказалась, возможно, печальная

дань традиции охотников и трапперов с американского Юга, — а Фолкнер общался с ними с четырнадцати лет, — и желание «забыться» после всепоглощающей работы над очередной книгой, и реакция на неудачную личную жизнь. Объяснить все причины трудно, даже когда знаешь факты биографии.

Фолкнер женился поздно, на женщине, которую любил в юности. Нервный и тяжелый характер жены вряд ли мог способствовать семейному счастью. Супруги быстро отдалились друг от друга, так что то одиночество, к которому Фолкнер привык с детства, с годами лишь углубилось. Кроме того, и финансовое положение семьи было сложным. Литературный труд не приносил дохода, на который можно было бы содержать семью. Гонорар от «Шума и ярости», например, был просто мизерным: за шестнадцать лет продали всего лишь три тысячи экземпляров. В течение многих лет единственной книгой, которая пользовалась популярностью, оставался сенсационный роман «Святилище», написанный в 1931 году, как искренно и прямо признавался Фолкнер, ради денег.

В поисках средств к существованию Фолкнер обращается в Голливуд. В Голливуде он наездами

работал долгие годы. Он ненавидел студию, ненавидел систему работы двух авторов над одним сценарием: один пишет диалоги — это делал Фолкнер, — другой ремарки. Сама необходимость пробивать на карточке время прихода и ухода тяготила его.

За время работы в Голливуде Фолкнер написал много диалогов, но не создал ничего значительного. «Мое дело писать книги, а не ваши сценарии», — повторял он. И все же были в этой жизни и некоторые удачи: создавая уже во время второй мировой войны сценарий по роману Хемингуэя «Иметь и не иметь», Фолкнер меняет место действия, переносит его во Францию, превращает фильм в антифашистский. Были и поражения. В один из моментов судьба свела его с будущим президентом, а тогда исполнителем ролей ковбоев — Рональдом Рейганом. Фолкнер написал сценарий по книге Стивена Лонгстрита «Конская тропа». Сначала заглавную роль должен был играть известный актер Хамфри Богарт, потом его заменили на Р. Рейгана. Фильм не оправдал ожиданий ни авторов, ни зрителей, и один нью-йоркский критик написал, что понравиться он может разве что лошадям. Прочитав эту статью, Фолкнер послал Р. Рейгану телеграм-

му: «Моей лошади фильм не понравился».

Фолкнеровская скрытая неприязнь к Голливуду, о которой он говорил порой открыто, а кроме того, нарушение им принятых в Голливуде жестких норм, определяющих стиль работы авторов, привели наконец к молчаливому заговору режиссеров и продюсеров против Фолкнера: ему перестали предлагать работу, и именно в то время, когда финансовое положение писателя было особенно затруднительным: книги его не переиздавались. Но как изменилось отношение Голливуда после того, как в 1950 году Фолкнер стал звездой литературной сцены, лауреатом Нобелевской премии! Теперь уже Голливуд готов был заплатить любые деньги, чтобы заполучить знаменитость.

Признания пришлось ждать долго, очень долго. Его первый рассказ был опубликован в 1919 году, но известность, а вслед за ней и материальное благополучие пришли лишь к концу жизни.

В Европе, прежде всего во Франции, открытие Фолкнера состоялось гораздо раньше, но соотечественники долго не признавали его. В пятидесятые годы интерес, вызванный присуждением Фолкнеру Нобелевской премии, был подкреплен многочисленными критическими работами о

нем. Число их быстро росло и к настоящему времени обозначается уже почти астрономической цифрой. Ни об одном американском писателе не пишут так много, как о Фолкнере.

Вернемся к молодым годам писателя, к тому времени, когда создавались «Шум и ярость» 1929) и «Свет в августе» (1932). Это не первые его крупные произведения. До них было написано много стихов, рассказов и два романа. Но «Шум и ярость» — первый очень фолкнеровский роман, поначалу оцененный лишь узким кругом знатоков, а затем принесший ему мировую славу. Фолкнер писал его одновременно с другим романом, «Сарторис». Именно в эти годы состоялось открытие Фолкнером самого себя. После попыток сочинять любовную лирику, романы про вернувшегося с фронта солдата («Солдатская награда», 1926) и праздную интеллигенцию («Москиты», 1927) он понял свое предназначение — писать о родном крае.

Большую роль в судьбе Фолкнера сыграл Шервуд Андерсон.

В 1925 году Фолкнер, следуя примеру многих молодых американских писателей, едет в Европу. Перед поездкой он проводит полгода в Новом Орлеане. Здесь он близко сходится с Шервудом

Андерсоном — замечательным американским писателем старшего поколения, написавшим в 1919 году книгу, которая, как показало время, осталась одним из лучших произведений современной американской литературы, — «Уайнсбург, Огайо». Это сборник связанных между собой рассказов из жизни провинциального городка, история американского мечтателя. Одухотворенность простоты, которая нам знакома, например, по рассказам Андрея Платонова, делает «Уайнсбург, Огайо» произведением совершенно особым. Достоверность и точность в описаниях движений души — без всякой сентиментальности — эти достоинства прозы Андерсона сближают его с гениальными произведениями классики, в частности русской.

Фолкнер провел с Андерсоном множество часов за разговорами о литературе и вообще о жизни. Несмотря на большую разницу лет, они стали друзьями. Они даже сочиняли вместе фантастические истории, которые, правда, никогда так и не были опубликованы. Андерсон помог Фолкнеру издать его первый роман, «Солдатская награда», но, главное, дал совет, который помог начинающему писателю освободиться от мучивших его сомнений. «Вы простой парень,

Фолкнер, — сказал Андерсон. — Все, что вы знаете, — это небольшой клочок земли где-то там у вас, на Юге, но этого достаточно».

Клочок родной земли, то есть семейная история, история его округа и штата на фоне американской истории, стал для Фолкнера неиссякаемым источником творчества. Ему не нужно было ничего придумывать — множество фактов и событий, творчески преображенных, хлынули со страниц его книг. Фолкнер назвал свою страну «Йокнапатофа». На языке племени индейцев чикасо слово означает «тихо течет река по равнине». Знакомая мысль о необратимом течении реки жизни зазвучала у Фолкнера трагически: страшна и жестока эта жизнь и обманчива гладь реки. Позднее Фолкнер указал точное население округа — шесть тысяч двести девяносто два белых и девять тысяч триста тринадцать негров, площадь округа — две тысячи четыреста квадратных миль, то есть квадрат со стороной примерно в восемьдесят километров. Мир Йокнапатофы хоть и велик, но провинциален и тесен: все люди здесь как будто знают друг друга или хотя бы друг о друге.

Если расположить истории, рассказанные Фолкнером, в хронологическом порядке, то по-

лучится внушительная многотомная эпопея, охватывающая примерно полтора столетия — со времени появления в Миссисипи первых белых поселенцев. Борьба человека с дикой природой, отступление природы и гибель ее, Гражданская война и крушение рабовладельческой аристократии, судьба бедных арендаторов, наступление на американскую глубинку «новых людей», жестокие расовые отношения — вот о чем пишет Фолкнер.

Особенность всех книг Фолкнера — романы «Шум и ярость» и «Свет в августе» в этом смысле, конечно, не исключение — в том, что их собственное содержание и смысл, тесно связанные с содержанием и смыслом других романов и всей эпопеи в целом, как будто выходят за рамки отдельного произведения, не умещаются в них.

В 1946 году, почти через двадцать лет после того, как писатель открыл Йокнапатофу, он нарисовал подробную карту округа. В отличие от многих карт, которые уже существовали в литературе, она как будто и не придала большей достоверности описываемым событиям, которые, казалось, сама жизнь поместила на страницы и которые и не требуют дополнительных подтверждений. Для понимания Фолкнера нужна не столько эта кар-

та, сколько прояснение запутанных отношений героев, а иногда и самих описываемых событий.

Население Йокнапатофы — более пятнадцати тысяч человек. Из них примерно шестьсот персонажей названы по именам, и это очень много, если учесть, что герои, переходя из романа в роман, оказываются связаны сложными узами и разобраться, кто есть кто, непросто.

Американский книжный мир, полностью ориентированный на спрос, быстро отозвался на эту потребность читателя, и появилось несколько справочников к Фолкнеру. В этих книгах, а также приложениях к некоторым романам («Шум и ярость» входит в их число) — последовательное изложение сюжета, перечень персонажей и их сложных родственных связей, разъяснение темных и путаных мест. Изданы «Читательский путеводитель по Фолкнеру», «Фолкнеровский глоссарий» и множество других справочников и указателей, призванных помочь читателю ориентироваться в мире Уильяма Фолкнера. Факт этот удивительный: для того, чтобы понять современное художественное произведение, требуется огромный дополнительный аппарат — так, как если б это была древняя рукопись. Писатель заставляет не развлекаться, а скорее

мучиться вместе с ним над загадкой жизни: что делает человека таким, какой он есть, что толкает его на убийство, жестокость и, наоборот, — почему человек может быть самоотверженным и благородным, а значит, используя любимые фолкнеровские слова, «выдержать, выстоять».

По отношению к своему творчеству Фолкнер был беспощаден. Трудно найти другого писателя, который отзывался бы столь резко о самом себе. Все свои книги он называл «неудачами», а «Шум и ярость» — «самой блестящей неудачей». «Не удалось», «не вышло», «не получилось» — Фолкнер так настойчиво повторял эти слова, будто ждал опровержения.

Писатель экспериментировал всю жизнь. Казалось, он испробовал все приемы, которые когда-либо изобретала литература, и, наверно, поэтому так легко «растащить» Фолкнера по разным влияниям. С кем только не сравнивали его! Если составить полный список литературных имен, прямо или косвенно, по мнению критиков, повлиявших на Фолкнера, то получится длиннейший перечень английских, американских, французских и русских писателей. Конечно, Фолкнер сумел создать свой мир, свой стиль не из литературных источников, но и литературная ат-

мосфера того времени — двадцатых — тридцатых годов, оказала на него во многом формирующее влияние.

В молодости, в своих поэтических опытах, испытывая на себе влияние французских символистов, он откровенно подражал им, потом пришло увлечение литературой экспериментальной и, что называется, модернистской — Дж. Джойсом, Т. С. Элиотом. Фолкнер отрицал сам факт знакомства с романом Джойса «Улисс» (1922) до того, как он принялся писать свой «Шум и ярость», но из более поздних многочисленных свидетельств стало известно, что он довольно рано прочел произведение, с которого в англо-американском литературном мире принято отсчитывать начало новейшей литературы XX века.

Это была литература, отражавшая современное сознание человека: одного, без бога, без веры, лицом к лицу с миром, который представляется ему, как сказал Т. С. Элиот, «гигантской панорамой тщеты и анархии». В этом мире из-под человека выбита основа существования — вера в осмысленность его пребывания на земле, и единственно, во что остается верить, так это в относительность всех истин. Писатель в новой роли уже не претендует на роль нравственного

судьи героев — он всего лишь рассказчик или даже один из рассказчиков, который может быть так же озадачен жизнью, как и сам читатель. Представить как можно больше разных точек зрения, осветить один и тот же предмет с разных сторон — может, таким путем «составится» истинная картина? В «Шуме и ярости» четыре рассказчика, четыре взгляда на жизнь, в романе «Когда я умирала» (1930) их уже пятнадцать. Однако Фолкнеру и этого казалось мало, слишком мало, чтобы охватить сложность жизни, и потому в каждом отдельном мгновении жизни героя он хочет выразить не только сиюминутность, но и прошлое, и даже будущее героя.

О фолкнеровских скачках во времени, которые особенно заметны в «Шуме и ярости», написано множество работ. Сам Фолкнер не раз объяснял эту особенность своей прозы. Главное для него было вот в чем:

«… у каждого человека есть предчувствие своей смерти: зная, что на работу отведено мало времени, пытаешься поместить всю историю человеческой души на булавочной головке. Ну и потом, для меня, во всяком случае, человек не существует сам по себе, он — порождение собственного прошлого. Прошлое фактически

не существует как некое „было“, оно перешло в „есть“. Прошлое — в каждом мужчине, в каждой женщине, в каждом моменте. Все предки человека, все его окружение присутствуют в нем в каждый отдельный момент. И потому человек, характер в повествовании в любой момент действия являет собой все то, что сделало его именно таким, и длинное предложение — попытка включить все прошлое, а по возможности и будущее, в тот единичный момент, когда герой совершает какой-то поступок…»

Заглавие романа «Шум и ярость» взято Фолкнером из знаменитого монолога шекспировского Макбета — монолога о бессмысленности бытия. У Шекспира дословно произнесены следующие слова: «Жизнь — это история, рассказанная идиотом, наполненная шумом и яростью и не значащая ничего» («Макбет», акт V, сцена 5). Название «Шум и ярость» скорее можно отнести к первой части, рассказанной слабоумным Бенджи, однако писатель не случайно оставляет его для всего романа.

Вспоминая о том, как был написан «Шум и ярость», Фолкнер говорил, что сначала он написал только первую часть — рассказ идиота, который ощущает предметы, но ничего понять не может. Потом, почувствовав, что чего-то не

хватает, предоставил права рассказчика второму брату, полубезумному студенту накануне его самоубийства — снова неудача, потом третьему брату — беспринципному дельцу Джейсону — опять не то. И тогда в последней части автор сам выходит на сцену, пытаясь собрать историю воедино, — лишь для того, мол, чтобы потерпеть окончательную неудачу. При всей стройности фолкнеровского «воспоминания», судя по всему, это очередная легенда. Роман тщательно выстроен, в нем продумано каждое слово, каждая запятая, а четыре рассказчика необходимы Фолкнеру для «максимального приближения к правде».

"Шум и ярость — любимая книга Фолкнера. «Мое отношение к этой книге похоже на чувство, которое, должно быть, испытывает мать к своему самому несчастному ребенку, — рассказывал Фолкнер. Другие книги было легче написать, и в каком-то отношении они лучше, но ни к одной из них я не испытываю чувств, какие я испытываю к этой книге».

Почему до сих пор так современны романы «Шум и ярость» и «Свет в августе» — книга о падении старинного рода южной аристократии и роман о душе, задавленной духовной атмосферой

американского Юга?

Наверное, потому, что есть в них всеохватывающая, всепроникающая мысль о сложности и даже необъяснимости происходящего, и отсюда — о трудностях отличать правого от виноватого, объяснять мотивы человеческих поступков. В то же время у Фолкнера предельно отчетливо представление о людях, несущих в себе зло, несущих его неистребимо, непоправимо, о людях, подобных фашиствующему Перси Гримму из «Света в августе» или Джейсону из «Шума и ярости».

При желании из Фолкнера можно вычитать что угодно. Но главное, наверное, в том, что Фолкнер, как писатель, всю жизнь пытался рассказать фактически одну и ту же повесть борьбы человека с обстоятельствами, с собой, с окружением.

Именно борьба, сопротивление неизбежному, самой судьбе составляют центр личности у Фолкнера, определяют меру ее достоинства, То была философия стойкости, выдержки, яростного неприятия поражения и в жизни, и в творчестве. Много написано о том, что герои Фолкнера обречены, что над ними нависло вечное проклятие расы, всех обстоятельств их жизни. (В романе «Свет в августе» есть длинное рассуждение на этот счет и самого Фолкнера.) Но «обреченность»

фолкнеровского героя, кто бы он ни был, состоит все-таки в том, чтобы сопротивляться до конца, и именно так ведет себя главный герой «Света в августе», затравленный убийца Джо Кристмас.

После «Шума и ярости» и «Света в августе» Фолкнер написал еще множество книг, большинство из них было об йокнапатофе, крае, о котором Фолкнер сказал «я люблю его и ненавижу». В конце своей жизни в речах и выступлениях он высказал много горьких слов в адрес своей родины. И все-таки Фолкнер верил, что человек в борьбе с собственным саморазрушением «выстоит, выдержит». В знаменитой, ставшей уже хрестоматийной Нобелевской речи, он сказал: «Я отвергаю мысль о гибели человека. Человек не просто выстоит, он восторжествует. Человек бессмертен не потому, что никогда не иссякнет голос человеческий, но потому, что по своему характеру, душе человек способен на сострадание, жертвы и непреклонность».

Когда озадаченные студенты спросили его, неужели именно эту мысль писатель выразил в романе «Шум и ярость», Фолкнер ответил: «Да, это именно то, о чем я писал во всех своих книгах и что мне так и не удалось выразить. Я согласен с вами, не удалось, но я все время пытался ска-

зать, что человек выстоит, выдержит...» Что ж, читатель, прочтя «Шум и ярость», сможет сам ответить на вопрос, насколько Фолкнеру действительно удалось выразить веру в человека, ту веру, о которой Фолкнер с такой убежденностью говорил в поздние годы. По Фолкнеру, негритянка Дилси из «Шума и ярости» и Лина Гроув из «Света в августе» — это люди, которые выстояли, сохранили человечность и достоинство в современном мире.

В последние годы жизни, разъясняя в беседах с журналистами и студентами свои книги, Фолкнер спорит, доказывает: нет, он не пытался убедить читателя в том, что люди нравственно безнадежны. Он дает замечательные советы молодежи, которые звучат современно и сегодня: «Никогда не бойтесь возвысить голос в защиту честности, правды и сострадания, против несправедливости, лжи, алчности. И тогда все наполеоны, гитлеры, цезари, муссолини, все тираны, которые жаждут власти и поклонения, и просто политики и приспособленцы, растерянные, темные или испуганные, которые пользовались, пользуются и рассчитывают воспользоваться страхом и алчностью человека, чтобы поработить его, — все они за одно поколение исчезнут с лица земли».

Лучшие книги Уильяма Фолкнера, заставляющие читателя взглянуть жизненной правде в глаза, отвечают этим высоким нравственным принципам.

Ю. Палиевская